

# ОКЛЯБРЬ

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ  
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ  
Ж У Р Н А Л

№  
175177

7

---

---

1942

# ОКтябрь

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ  
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ  
Ж У Р Н А Л

ОРГАН СОЮЗА  
СОВЕТСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ СССР

СЕДЬМАЯ  
КНИГА

ИЮЛЬ



ОГИЗ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО  
УДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  
ОСКВА

1942

## Содержание

	<i>Стр.</i>
В. ИЛЬЕНКОВ — Второе дыхание, Возвращение, <i>рассказы</i> . . . . .	3
ЕВГЕНИЙ ДОЛМАТОВСКИЙ — «Борис Петрович», О твоей семье, Пеленг, Музыка, Местечко Н., Соловей, <i>стихи</i> . . . . .	9
А. КАРАВАЕВА — Семья, <i>очерк</i> . . . . .	12
В. КОСТЫЛЕВ — Иван Грозный, <i>роман</i> (продолжение) . . . . .	35
ЛЕВ ДЛИГАЧ — Весна, Чай с пирожками, <i>стихи</i> . . . . .	94
А. КОНОНОВ — Карыш, <i>рассказ</i> . . . . .	95
<b>ПУБЛИЦИСТИКА</b>	
Подполковник Н. ДЕНИСОВ — Воздушные бои с немцами . . . . .	105
<b>ИЗ ИСТОРИИ АМЕРИКАНСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ</b>	
А. СТАРЦЕВ — Семьдесят пять лет тому назад . . . . .	117
<b>КРИТИКА и БИБЛИОГРАФИЯ</b>	
А. ШТЕЙН — С. Я. Маршак . . . . .	128
А. ОБОРИН — Герои отечественной войны . . . . .	134

---

Редколлегия: В. П. ИЛЬЕНКОВ, П. А. ПАВЛЕНКО, Ф. И. ПАНФЕРОВ,  
И. В. ШАМОРИКОВ, С. П. ЩИПАЧЕВ, М. М. ЮНОВИЧ (отв. секретарь.)

---

Адрес редакции: Москва, Б. Черкасский, 10/2. Телефон К 3-44-22

---

17-й год издания. Тираж 25 000 экз. Подписано к печати 10/VII 1942 г.  
А50299 Печ. листов 8<sup>1</sup>/<sub>4</sub> Авт. листов 13<sup>1</sup>/<sub>4</sub> В печ. листе 76 920 зн.  
Цена 5 руб. Зак. 354.

---

18-я типография треста «Полиграфкнига», Москва, Шубинский пер., дом 10

## 1. Второе дыхание

Они лежали рядом в кустарнике и наблюдали за деревней Ольгино, где спешно оканчивались немцы, выбитые утром из своих блиндажей.

Ершов лежал, вытянувшись во весь свой огромный рост, положив голову на руки, и, видимо, чувствовал себя великолепно под весенним ласковым солнцем. Крупные руки его, сжатые в кулаки, прикасались к прогретой земле, к жестким вечнозеленым листьям брусники, блестящим, как бы покрытым лаком. Широкое, давно небритое лицо его, тронутое первым загаром, было спокойно, как у человека, который ко всему привык и знает наперед, что все у него выйдет хорошо. Он был доволен тем, что земля под ним сухая, теплая, что кусты хорошо укрывают его, что видит он из кустов все, что нужно видеть разведчику.

Иногда руки его разжимались и ощущивали нежную траву, пробивавшуюся из-под рыжей прошлогодней листвы, ворошили ее, и тогда карие глаза его щурились от удовольствия, а ноздри расширялись, вбирая приятный запах весенней земли. И по тому, как осторожно прикасались его толстые пальцы к траве, по тому, как доверчиво прижался он к земле всем своим тяжелым телом, Перепелкин понял, как дорого для этого человека все, что в этот полдневный час оживало под солнцем, — и эта тоненькая, светлозеленая, почти прозрачная травинка, и какой-то красный жучок, переползавший с великим трудом через ложе винтовки, и бледногубой подснежник, пряматый сталью штыка.

«Землю любит и ему легко», — с завистью подумал Перепелкин. Он был человек городской, природу видел в парках и скверах, в короткие часы прогулок, и подснежники он покупал уже вялые, сорванные чужой рукой. Сегодня он впервые увидел множество этих бледногубых цветов, и они казались ему необыкновенно прекрасным в своем свободном цветении. Они покачивались от ветра

возле самого лица и, прикасаясь к винтовке, оставляли на стволе ее желтую пыльцу.

Что-то зашуршало в кустах. Перепелкин затаял дыхание. Вдруг он увидел, что к нему движется кочка, одна из тех кочек, каких было много вокруг, круглых, поросших мхом. Кочка медленно приближалась, шурша и пофыркивая. Перепелкин инстинктивно отодвинулся, и кочка замерла, затихла.

— Ах, ты шут этаким! Еж! — сказал Ершов и штыком пригнулся к седым иглам животного, на которых были нависаны сухие листья. — Домой несет, в гнездо, — он добродушно улыбнулся и тихо сказал: — Ну, ползи, что ль.

Но еж лежал, свернувшись клубком, и седые иглы его торчали, как крохотные штыки. И опять Перепелкин подумал, что рядом с ним лежит не воин, убивший немало немцев, а человек с мягким и добрым сердцем, льнущим ко всему живому, и что такому человеку должно быть легко даже перед лицом смерти.

Перепелкин пришел на фронт недавно, из тесной комнатки, где он под треск арифмометра спокойно записывал в книги прибыли и убытки промысловой артели «Итруска». Очутившись на войне, Перепелкин растерялся; он испытывал непреодолимое чувство подавленности и страха: кругом гремело, рвалось, горело, рушилось. Земля черными столбами поднималась к небу. Дома, стоявшие прочно на земле, превращались в пыль в одно мгновение, и там, где они стояли, оставалось лишь легкое облачко, а потом и оно исчезало бесследно. Там, где еще вчера был лес, сегодня торчали одни обугленные пни, как остатки гнилых зубов.

Но больше всего потрясло Перепелкина то, что происходило с людьми. Он никогда не видел такого множества трупов. Он закрывал глаза, чтобы их не видеть. Он замирал на одном месте, заслышав приближающийся шестест снаряда. Он падал, когда с тонким

визгом пролетала пуля. Руки его слабели и становились влажными.

Ходил он спотыкаясь, горбясь под тяжестью снаряжения. Он был похож на черепаху, когда полз по земле, и шинель на нем была пзмятая, вся в морщинах, как кожа у черепахи.

Перепелкину с первого взгляда понравился Ершов. Рядом с этим сильным, спокойным человеком было легче лежать в грязи под тошнотный вой мин и треск пулеметов, напоминавший Перепелкину треск гигантского арифмометра, — ему казалось, что кто-то торопливо подсчитывает число людей, обреченных на смерть. И, страдая от мучительного ожидания, от ощущения своей слабости, Перепелкин все больше привязывался к Ершову, цеплялся за него, — так цепляется хмель за высокое дерево, тянется по стволу его вверх от земли, где его могла бы растоптать даже детская ножка.

И в этот полуденный час, глядя на красного жучка, растерянного поводящего своими усиками, чувствуя подступающую тоску, Перепелкин рассказывал Ершову о том, что наполняло его душу смятением.

— Вчера я подошел к тому месту, где лежал убитый пулеметчик Синицын... За десять минут до смерти он попросил у меня закурить. И палироса валялась рядом недокуренная... Я смотрел на него и думал: сейчас только этот человек жил, говорил со мной, и вот... нет его. Нужно было двадцать лет, чтобы растить его, учить грамоте, уберегать от болезней, кормить, одевать... заботиться о нем — и в секунду все исчезло. Нет человека... Я не могу этого понять, товарищ Ершов. Хочу понять и... не могу.

Перепелкин умолок и взволнованно посмотрел на разведчика. Ершов лежал все так же, положив голову на руки, и смотрел сквозь кусты на деревню. Еж пошевелился, показал свой черненький носик и снова свернулся, увидев возле себя штык, похожий на вытянутую змею. Змей он не боялся, смело бросался на них и всегда побеждал, но такую змею он видел впервые и решил взглянуть, когда она уползет.

— Я вот тоже мальчонком был несмышленым, — Ершов усмехнулся, как бы вспомнив что-то смешное, но глаза его что-то заметили там, в деревне, лицо стало строгим и красивым, он умолок и пристально уставился в одну точку. — Видишь, баню, что возле ручья? — спросил он, приподнимаясь на руках. — Пушка противотанковая. А рядом сарай, и там пушка. Примечай.

Перепелкин удивился, что ведь и он долго смотрел на баню и сарай, но ничего не за-

метил. Теперь он ясно видел немецкие пушки.

— Ну, остался я раз дома один, все на покос ушли, — продолжал Ершов с прежней улыбкой. — Я и давай хозяйничать. Так рассудил: придут родители с покоса, пить захотят, поставлю-ка я самовар... Налил воды, положил углей, разжег лучинку, наставил трубу. Смотрю, закипел самовар, а родителей нету. Я опять углей подложил, снизу возле окошка подождал, а сам радуюсь: похвалят, вот молодец, мол, самовар приготовил! А родителей все нет и нет... Я опять угольков подкинул. Кипит и кипит самовар, весело так шумит, и мне весело. Я все не давал ему застынуть, сыпал и сыпал угли, все жжег, а родителей все нет и нет. Поздно пришла первая мать. Глянула на самовар да как закричит не своим голосом «Батюшки, распаял!» А тут и отец на пороге. Спрашивает, наливал я воду в самовар? Наливал, говорю, целое ведро. Открыли крышку, а там ни капли, и труба торчит боком. Отец ее вынул, повертел в руке да и бросил к порогу. А я смотрю в пустой самовар и никак не могу понять: куда же моя вода девалась. Целый день ходил и все удивлялся: куда пропала вода? Отец высек меня, а потом пояснил: паром, мол, испарил вода, улетела. А я так и не понял ничего. Потом в школе учитель пояснил, что вода-то не пропадает вовсе, а переходит в воздух, становится облаком, а потом опять с неба падает дождем... Любопытная штука! Я все, бывало, смотрю на тучу и думаю: это моя вода из самовара летает... А как, бывало, польется дождь, я кричу, прыгаю от радости: «Вернулась! вернулась!» — Ершов помолчал, опять внимательно посмотрел в сторону деревни и тихо добавил: — Вот ведь какой глупый был!

Перепелкин изумленно глядел на него, и на худощавом лице его было то выражение радости, когда человеку открывается что-то давно искомое, всегда ускользавшее, сложное, но вдруг оказавшееся таким простым и обычным, как воздух.

— Так, верно, и смерть, — тихо проговорил он и, потрясенный, умолок.

Ершов удивленно взглянул на него: что может быть общего между водой, выкипевшей в самоваре, и смертью? Но размышлять об этом сейчас было некогда: от деревни к кустам, где лежали они, шли немецкие солдаты.

Облнув в последний раз взглядом деревню и запомнив все, что было важно с его точки зрения, Ершов сказал:

— Теперь давай уходить.

Он вынул из кармана платок, разостлал на земле и ногой накатил на него ежа, потом

завязал платок узелком, взял его и, пригнувшись, быстро пошел. Перепелкин еле успевал за ним.

«Вот чудак, зачем ему этот еж?»—думал он все с тем же чувством радостного удивления.

Ершов шел быстро, широким шагом, держа в правой руке винтовку, а в левой узелок с ежом, и этот узелок, такой домашний, довершал впечатление, что этот человек идет куда-то по своему обычному делу,— может быть, в гости, а может быть, на покос.

Уже темнело, когда они вышли из кустов, чтобы пересечь небольшую полянку, за которой начинался густой хвойный лес. Перед тем как выйти из кустов, Ершов внимательно осмотрелся, но ничего подозрительного не заметил. Они поползли, приближаясь к земле, и серые шинели их почти сливались с рыжевато-серым покровом прошлогодней травы, сквозь которую еще не пробилась свежая зелень. Они почти достигли опушки леса,— оставалось шагов двадцать до ближайших крупных сосен.

Ершов вскопчил и побежал, и в тот же момент раздался треск автомата. Ершов покачнулся и медленно опустился на землю. Перепелкин подумал, что разведчик сделал это нарочно, чтобы затанцевать возле земли, и торопливо пополз вслед за ним. Но Ершов лежал неподвижно. Рядом с ним белел узелок.

Треск автомата не прекращался, и вокруг шелкали пули, и Перепелкин думал о том, что Ершову нужно бы скорей ползти в лес, а он лежит... Может быть, он поджидает, чтобы вместе двинуться дальше?

— Товарищ Ершов, в лес надо... Скорей!— задыхаясь от волнения, проговорил Перепелкин, подползая.

— Не могу... в ноги,— хрипло ответил Ершов, протягивая ему винтовку.— Уходи...

Перепелкин лег рядом и каким-то чужим голосом приказал:

— Ложись на меня! Цепляйся руками за шею!

Раненый обхватил его шею, подтянулся всем своим тяжелым телом придавливая Перепелкина к земле. Только теперь Перепелкин почувствовал, как слабы его силы.

Надев на правую руку ремень винтовки, он уперся ладонями в землю и пополз, а пули визжали справа и слева над головой, шлепались об сосну, к которой Перепелкин тащил раненого. Он видел, как валялись сверху мохнатые ветки, срезанные пулями, как дымилась кора дерева,— пули срывали кору, и, как дымок, разлеталась древесная пыль, точечная червем-древоточцем. Дерево засыхало, умирало, но за его толстым могучим стволом была жизнь, и туда спешил Перепелкин.

Он с трудом отрывал от земли свои руки, давленные непосильной ношей. Ему казалось, что колени его врезаются в землю, как заостренные колья, и не было сил вытащить их; но он все-таки полз, одержимый одним лишь желанием поскорей добраться до сосны. Он полз на четвереньках, кровь пульсировала в висках, каждая жила на его лице напрягалась и проступала под кожей рельефно, точно проволочный каркас на матерчатом абажуре.

«Раненый человек тяжелей»,— подумал он; его угнетало ощущение тяжести, давившей его, прижимавшей к земле, хотелось вытянуться и полежать хоть минуту.

«Девушки, и те таскают раненых»,— подбадривал он себя и удивлялся, что ни одна из девушек-санитарок никогда не пожаловалась ему, что трудно выносить раненых с поля боя. «Трудно, но молчат»,— подумал Перепелкин.

Острая боль в правой руке возле локтя на какой-то миг заставила его замедлить движение. «Но молчат»,— как бы внушая себе что-то, повторил про себя Перепелкин и пополз дальше. Сосна была уже совсем близко, но тут винтовка, которую он волочил за собой на ремне, зацепилась за пеньек, дернула Перепелкина назад, руки и колени его подломились, и он лег на землю плашмя в пяти шагах от сосны.

«Мертвая точка»,— вспомнилось ему. Так спортсмены называют тот критический момент, когда во время бега кажется, что иссякли последние силы, и бегун уже не может увеличить скорость своего бега ни на один метр. Но это только кажется человеку. Нужно усилием воли вызвать запас сил, таящийся в организме,— обрести «второе дыхание», и тогда решающая доля секунды будет на верстану.

«Вернулась! Вернулась!»— вдрух вспыхнуло в мозгу то, что час назад потрясло все его существо, и будто кто-то прокричал эти слова радостно и громко. Да... да, так кричал маленький Ершов, увидев в потоках дождя воду, улетающую из самовара.

Перепелкин рывком приподнял свое тело. Он уперся руками в землю, оттолкнулся правым коленом и пополз к сосне. Тяжесть Ершова слилась с тяжестью его собственного тела,— и потому, что ощущение посторонней давящей ноши исчезло, стало вдруг легче дышать, легче переставлять руки, отталкиваться ногами. И эти два тела, слившиеся в одно, прикрыла сосна, принимая на себя поток пуль.

— Как себя чувствуешь?— спросил Перепелкин, когда выстрелы затихли.

Ершов не ответил, но руки его, цепко обнимавшие шею, были горячи, и Перепелкин

условно вздохнул. Полежав несколько минут, он вспомнил, что нужно перевязать раненого. Он опустил его на землю и начал ощупывать ноги. Было так темно, что не видно было даже бинта, который вслепую разматывал Перепелкин. Он забинтовал ноги разведчика в тех местах, где брюки были мокры от крови.

«Ну и вспотел же я!» — подумал Перепелкин, чувствуя, как остывает промокшая спина; теперь, когда Ершов лежал на земле, было приятное ощущение легкости во всем теле и казалось, что можно прожить всю ночь напролет с любой ношей.

И Перепелкин пополз, взвалив на себя раненого разведчика. Так полз он всю ночь, время от времени отдыхая, чувствуя прикосновение горячих рук на своей шее.

На рассвете Перепелкин решил отдохнуть последний раз. Он опустил раненого на землю и только теперь увидел, что шинель Ершова на груди пропитана кровью. В крови была и шинель Перепелкина на спине. Он стал перевязывать рану, но, прикоснувшись к груди Ершова, ощутил холод, сковавший тело навеки.

Лицо Ершова было спокойно, а глаза

полуоткрыты, и казалось, что он пристально смотрит на плывущие над ним облака.

И впервые смерть не утратила Перепелкина, не вызвала ни тоски, ни смутнения. Он спокойно смотрел в лицо человека, открывшего ему простую мудрость жизни.

И будто впервые он увидел землю, на которой прожил двадцать пять лет. Близкой и понятной была ему травинка, зеленевшая между застывшими пальцами Ершова, и лес, шумевший по-весеннему птичьим криком и свистом, и облака, насыщенные дождем, и вся земля, озаренная зеленоватым утренним светом.

Он накрыл Ершова сосновыми пахучими ветками, повесил на плечо его винтовку, взял свою и пошел. Он пытался вспомнить, когда же вошло в него это новое? Может быть, тогда, когда Ершов обучал его видеть то, что нужно видеть разведчику. Может быть, в эту ночь оно вошло в него вместе с кровью Ершова, пропитавшей шинель. А может быть, в тот миг, когда тяжесть раненого слилась с тяжестью его собственного тела...

Перепелкин шел согнувшись, но твердо ступая по траве, которая за эту ночь стала гуще и выше.

## 2. Возвращение

Поезд подходил к Москве. В вагоне стоял веселый шум. В одном из купе допивали последнюю бутылку друзья, отсюда доносился мужской хохот. Иные стояли у окон в коридоре и перечитывали мелькавшие названия станций. Девушка в зеленом берете удивленно и радостно пропела:

— Ра-а-мен-ское!

Для многих эти названия звучали, как приветствие, — люди возвращались в Москву, в родной дом, после долгой разлуки с родными и близкими. Поезд шел с востока.

Дремов сидел у окна и, болезненно сощурив глаза, смотрел на разноцветные кубики дач, на березовые рощи, над которыми кружились грачи. Он с волнением узнавал окрестности Москвы, и ему казалось, что уже много-много лет он не видел этих уютных дачных домиков, похожих на улыбки, хотя прошел только год с тех пор, как он покинул эти места.

Дремова раздражали чересчур громкие голоса, неестественно продолжительный хохот в соседнем купе, шумная толча в коридорах. Ему хотелось тишины, чтобы обдумать то, что владело им давно, но оставалось неясным и тревожило, как незаживающая рана. Он курил папиросу за папиросой, нервно втап-

тывая их в пепельницу, и снова вынимал портсигар, хотя седая женщина, сидевшая рядом, кашляла, задыхаясь от дыма, и жалобно говорила сама себе:

— Это невозможно! Это ужасно!

Дремов слышал это негодование, но вкладывал в него свою боль и смутнение, которые все нарастали и давили его тем сильнее, чем ближе становилась Москва.

— Вы тоже в Москву? — спросила девушка с большими серыми грустными глазами, взглянув на пустой рукав гимнастерки, направленный за брезентовый пояс.

Дремов, не отрываясь от окна, сердито ответил:

— Да.

— Домой едете, значит? — смущенная резким тоном, спросила девушка.

— Да, — отрубил Дремов.

Он знал, что она говорит с ним не по тому, что ей хочется поделиться чем-то важным, а просто из любопытства и чувства сострадания к его увечью. И эта жалость, прозвучавшая в голосе девушки, еще более усиливала то томительное ощущение своей обособленности, с которым он вышел из госпиталя.

Там, среди таких же раненых, он не чув-

ствовал себя одиноким. Боль и страдания сближали людей,— там все были равные, и Дремов жил вместе со всеми общими радостями выздоравливающих. Но как только он вышел из ворот госпиталя и очутился на улице, среди незнакомых людей, он тотчас же почувствовал на себе молчаливые взгляды и ему стало не по себе. Когда он входил в вагон, проводник крикнул кому-то:

— Дайте пройти сперва инвалиду.

И Дремов вздрогнул, побледнел впервые с того дня, когда мина раздробила руку и отбросила его автомат в кусты. Всю дорогу он молчал, пришибленный этим словом, а люди думали, что ему нездоровится, и наперебой старались оказать ему услугу — уступили нижнее место, угощали и, проходя мимо, подчёркнуто осторожно прижимались к стенке, чтобы не потревожить его руку, то есть то место, где была рука.

— У вас и жена есть? — жалостливо спросила седая женщина, уже примирившись с табачным дымом.

Есть, и очень даже красивая, — с прежней резкостью ответил Дремов, чтобы оборвать разговор.

— Ох, уж эти красивые!.. осуждающе сказала седая женщина и вздохнула.

Дремов уловил в ее тоне сочувствие к нему и оскорбленно умолк. Он не хотел обнажать перед случайными людьми сокровенное и чистое чувство свое к Наде. Это имя шептал он в бою и на операционном столе. Это имя послала мать его Ниночки. И он знал, что Надя отдала бы ему свою руку, если бы это было возможно.

— Я слышала недавно, что один раненый, с обезображенным лицом, страшно боялся встречи со своей красивой женой, — вмешалась в разговор девушка с большими глазами. — Ему казалось, что она отвернется от него... Все обошлось хорошо. Но такое сомнение могло возникнуть только у мелкого человека, который и сам привязан к своей жене только красотой ее лица. А если нос и скривился, то и все летит к чорту. Настоящая, большая любовь — это горение души... Это — на всю жизнь... что бы ни случилось... Дремов благодарно взглянул на нее. «Да, да... На всю жизнь... Так и у нас с Надей...»

Девушка раскраснелась и похорошела, а грустные ее глаза вдруг засмеялись.

— Подумаешь, проблема шоса! — весело фыркнула она, и так это получилось у нее забавно, что и Дремов невольно улыбнулся, подумав:

— И чего я рычал на нее? Она хорошая и все хорошие, а все идет от меня, от моего самочувствия. Ему стало легче.

Поезд замедлял ход. Все столпились в ко-

ридоре, загромоздив его вещами. А Дремов все смотрел в окно, и когда недалеко проплыла высокая заводская труба, и он узнал ее, хотя она была вся в пятнах камуфляжа, снова тоскливо сжалось сердце.

Он увидел издали заводский двор и каких-то людей в четырехугольные высокого забора, — все было так, как в тот день, когда Дремов уходил с этого двора с повесткой военкомата. Не видно было лишь железнодорожных платформ с готовыми к отправке деталями сельскохозяйственных машин.

«Что-нибудь другое делают», — подумал Дремов, и то, что на заводе изменилось главное для него, с чем сжился он за несколько лет, снова разбудило тревожное ощущение своей ненужности, и он, сторбившись, взял свой чемодан и вышел вслед за всеми из душевного вагона.

Через полчаса он уже входил в подъезд своего дома. В этот утренний час на лестнице было тихо, как всегда. Он постучался в дверь и тотчас же услышал шагринно-стройный детский голос: «Бто там?»

Так обыкновенно спрашивала Ниночка, когда оставалась одна.

«Значит, Нади нет дома», — с грустью подумал Дремов; и притворно грубым басом сказал:

— А это я, серый волк! Козлятушки-дедушки отворите, ваша мать пришла, молочка принесла...

— Па-апа-а! — восторженно завизжала Ниночка, дверь бурно распахнулась, и на грудь Дремова бросилось что-то розовое, вихрастое, упругое и липкое.

— А это я повидло ела, — объяснила Ниночка, снимая пальчиком кусочек повидло со щеки отца.

— А где мама? — спросил Дремов, оглядывая комнату и вдыхая волнующий запах родного жилья.

— Мама работает... Где ты работал. Только там знаешь теперь что делают? — Шопотом сказала Ниночка. Она нахмурила брови и таинственно прошептала: — Автоматы.

«Что же она ничего не спрашивает о руке?» — боязливо подумал Дремов, потому что ждал этого вопроса с мучительным напряжением.

— Ты теперь, папа, будешь вместо мамы дома. Тебе нельзя работать, — серьезно, взрослому проговорила Ниночка. — Я тоже скоро буду большая и я буду с мамой работать на заводе, а ты будешь дома... Отдыхать... Ты же очень-очень заморился... А мы все отдыхали и отдыхали...

Ниночка говорила все быстрее и быстрее. И Дремов понял, что она хочет сразу выложить все, о чем они говорили с мамой, ожидая его приезда. Он растроганно глядел во-



лосы дочери, благодарный за то, что она не обмолвилась ни одним словом о постигшем его несчастье, и еще острее ощущая тревогу при мысли, что хрупкая Надя стоит за станком, а он должен теперь жить какой-то домашней, бездеятельной жизнью.

Ниночка убежала во двор, и оттуда доносились ее звонкий голос:

— Мой папа приехал! Папа приехал!

Дремов огляделся. Вот тот мир, куда стремилась его душа, куда уносился он мыслями, лежа с автоматом в снегу... Он жаждал тишины и вот она — тишина. Он мечтал о покое — вот постель, накрытая пушистым одеялом...

И вдруг Дремов почувствовал, что ему тесно в этой маленькой комнате, где все было так, как и год назад. Он посмотрел на портрет жены и с той же прежней тревогой вышел из дому.

Он шел быстро по знакомым улицам и переулкам, — туда, где дымила труба, измазанная камуфляжем. Вот и проходная... Знакомые истертые половицы. Так же скрипит дверь и громко хлопает за спиной.

Дремов позвонил директору завода.

— Кто?! Дремов?! — раздался в трубке голос, который Дремов выделил бы из тысячи голосов. — Тот самый? Золотые руки?

— Я, Василий Иванович! — взволнованно крикнул Дремов, и вдруг голос его сорвался на визгливой ноте.

— Пять минут спустя он входил в кабинет директора. Из-за стола выпшел усатый тучный человек, обнял Дремова и усадил в кресло.

С минуту они помолчали. Директор протянул папиросу.

— А мы, брат, теперь вон какие штучки откалываем! — сказал он, косясь на пустой рукав Дремова. — Не чета, брат, прежним сквородкам.

— А я вот и сквородку бы рад сделать, да куда я кожусь теперь? — утрировано проговорил Дремов.

— То есть как это не годишься? — удивленно переспросил Василий Иванович.

— На изживание жены поступаю... Инвалид. — горько улыбувшись, сказал Дремов.

— Да чорт ты этакий! — сердито воскликнул директор. Да я же тебя день и ночь жал. Думаю: эх, Дремова бы мне! Да у тебя же золотые ру... — директор поперхнулся, поблелел. — Золотая голова у тебя, Дремов! Когда можешь приступить к работе?

— Хоть сейчас, — ответил Дремов, все еще не веря, что его зовут работать.

— Цем! Люблю таких ребят, ей-богу!

В сопровождении директора Дремов вошел в цех, где год назад он стоял за станком.

Веселый гул и звон металла, шелест приводных ремней и человеческие голоса — все это звучало, как оркестр, и Дремов стоял, выпрямившись по-военному, словно этот оркестр играл ему встречу.

Директор подвел его к начальнику цеха.

— Вы требовали себе начальника пролета. Вон он. Золотой человек! Оформляйте. — Директор быстро пошел между двумя шеренгами станков.

Пока начальник цеха разговаривал с Дремовым, Василий Иванович успел на кого-то накричать, кого-то похвалить, с кем-то пошутить. Он остановился возле станка, за которым стояла хрупкая, тоненькая женщина с густыми каштановыми волосами.

— Как дела, Надя? — спросил директор, хитро подмигивая.

— Да вот задерживают подачу деталей. С полчаса уже стою, — сказала она, вытирая руки тряпкой. — Вы бы хоть, Василий Иванович, поднажали. Порядка у нас нет в пролете...

— А вот мы все сейчас наладим. Позовите сюда нового начальника пролета! — весело крикнул Василий Иванович.

Надя выжидательно смотрела в сторону стеклянной будки, откуда должен был появиться новый начальник пролета. Лицо ее выражало нетерпение и досаду, — она отставала сегодня от товарищей и ей было обидно.

Она увидела вдали в синеватой дымке незнакомую фигуру в военном костюме. Человек шел, заложив руку за пояс, — но рука эта была какая-то странная, тонкая, и рукав обвисал широкими складками. И что-то такое было во всей фигуре, что заставило Надю вздрогнуть в предчувствии чего-то недоброго, — вот такой рукав ей снился в прошлую ночь после письма, в котором муж сообщал, что произошло непоправимое.

Надя увидела приближавшегося родного человека и, слабая от боли и радости, бросилась навстречу. Когда Дремов обнял ее, она едва не расплакалась, но кругом были люди, и Надя торопливо вернулась к станку.

Все работавшие за десятками станков смотрели на них, и Дремов впервые за много дней вдруг почувствовал, как расправляется его душа, примятая напрасной тревогой.

Он нетерпеливо расспрашивал Надю, кто срывает ей работу, кто подносит детали, в каком пролете их готовят. Надя протянула ему блестящий стальной стержень, обточенный ею. — Это была знакомая крохотная частичка автомата, сообщающая оружию грозную силу.

Сжав в руке этот металлический стержень, Дремов побежал куда-то, и в повеселевших глазах его заиграл тот огонек задора, с каким он ходил в атаку.

## „Борис Петрович“

Над холодной равниной голой  
Воздух рвется, как полотно.  
Пролетает снаряд тяжелый,  
В хате вздрагивает окно.

И комбат говорит спокойно,  
На стекле оцарапав лед —  
— По фашистам из дальнобойной  
Не «Борис-ли Петрович» бьет?

И в ответ на слова комбата,  
Очень тих и совсем далек,  
В небе утреннем синеватом  
Паровозный поет гудок.

Селянинович и Попович  
Звались русские богатыри.  
Богатырь наш «Борис Петрович»  
Грозно встал на краю зари.

Дали это людское имя  
Бронепоезду. В трудный час

Он орудиями своими  
Защитит и поддержит нас.

Поезд строили в смену ночную  
Паровозники-старички.  
Обратились в броню стальную  
Пионерские пятачки

И рубли хозяек домашних,  
Что собрал горошек вдаль,  
Развернулись в стальные башни,  
И как все, на врага, пошли.

Вот он бьет изо всех орудий,  
И в лоцинах меж зимних сел,  
Узнают, улыбаясь люди,  
Что «Борис Петрович» пришел.

Пусть когда-нибудь в славную повесть  
Про геройский советский век,  
Громыхая, войдет бронепоезд,  
Называющийся, как человек.

## О твоей семье

Вдали от фронтовых дорог  
Есть светлоглазый городок.  
Не затемняют там огней,  
И ночью — света хоровод;  
Я там провел лишь пару дней,  
Пока прошел апрельский лед.  
Я заходил к твоей семье,  
Послушай о ее житье:  
Жены твоей я не застал —  
Ты знаешь — там теперь завод.  
Я с мальчиком твоим играл  
И ждал, когда она придет.  
Эн теребил мои ремни —  
Ему понравились они.  
Он снеглаз и белобрыс,  
Высокотоб, совсем как ты.  
В черны его лица влились  
Твои знакомые черты.  
Родившийся вблизи Карпат,  
Меня он спрашивал не раз,  
Когда поедем мы назад,  
И я ответил — близок час!  
А к вечеру пришла она,  
Твоя любовь, твоя жена.

Она, усталая, вошла,  
Сняла платок, подарок твой,  
Кивнула гордой головой,  
И стала комната светла.  
Апрельский день за речкой гас,  
Твой мальчишка спал и видел сны,  
И твой портрет смотрел на нас,  
Во Львове снятый до войны.  
Я рассказал, как минный вал  
Тебя в укрытии миновал,  
Как между двух горящих сел  
Ты батальон в атаку вел.  
Я умолчал, как ты просил,  
Что ты два раза ранен был.  
В углу с клубком сидела мать,  
И я тебе не стану врать —  
Немного сторбилась она,  
В ее глазах — туман тоски,  
И поздним снегом седина  
Пробилась на ее виски.  
Я видел — все в дому твоём  
Полно дыханьем твоим,  
И я не спрашивал о том,  
Попрежнему ли ты любим.

# Пеленг

Певица по радио пела,  
И голос летел далеко,  
Сперва осторожно, несмело,  
А после, как птица, легко.

Был город в тугие объятия  
Тревожного сна погружен,  
Была она в бархатном платье,  
Стоял перед ней микрофон.

А где-то в небесном молчании,  
Стараясь держаться прямой,  
С далекого бомбометанья  
Летят самолеты домой.

Несут они много пробоин,  
Идут тяжело в облаках,  
Сидит за приборами воин  
В своих марсианских очках.

Певица о юности шела,  
О лебеде и о тоске.

Анодная лампа горела  
На аспидно-черной доске.

Из Гамбурга яростный зуммер  
Свистел и гремел и урчал,  
То голос певицы не умер,  
Он только сильнее звучал.

Два мира в эфире боролись,  
Сквозь бурю, сквозь прохот и свист  
Услышал серебряный голос  
В наушниках юный радист.

Узнав позывной Украины,  
Над крышами горестных сел,  
Целот утомленный машину  
По песне как лебедя вел.

Пришли самолеты на базу,  
Родные найдя берега,  
И песня, пожалуй, ни разу  
Им не была так дорога.

---

# Музыка

В тесной хате с разбитою дверью,  
Где таится в углах суеверье,

Слышу музыку. Что это значит?  
То-ли скрипка далекая плачет?

То-ли сон, то-ли жалоба ветра  
От противника в двух километрах?

Ночью темною, ночью туманной  
Мне не спится от музыки странной.

Ничего я в окопце не вижу,  
Только музыка ближе и ближе.

Едут пушки, рубяж свой меняя,  
В двух шагах от переднего края.

Скрип колес по завьюженным кручам  
Показался, как скрипка, певучим.

Будто в сказке рожки и фаготы  
Откликнулись на зов непогоды.

...Видно музыки хочется очень,  
Если пушки шлют среди ночи!

# Местечко Н.

В местечке Н. противник был разбит  
Стремительным ударом в час рассвета,  
И радио об этом говорит.  
И шипит так московская газета.  
Жена и мать бойца вдали прочтут  
Скупой рассказ о подвигах суровых  
Им не узнать, что это было тут,  
Среди садов украинских вишневых.  
Но сколько женщин в тишине ночной  
Прочтут, склонившись, над строкой газетной;

В местечко Н. сейчас воюет мой,  
Мой муж, мой сын, мой воин беззаветный.  
Местечко Н. сейчас назвать нельзя,  
Штабные карты спрятаны в планшеты,  
Но разве позабудем мы, друзья,  
Поля войны, скупые грозы лета?  
Иди в сраженья сквозь огонь и дым,  
Чтоб пела родина о славном сыне,  
И чтоб назвали именем твоим  
Местечко Н. — зеленое в долине.

---

## Соловей

Ночи и дня покачнулись весы,  
В рощу пехота сходилась во мраке.  
Были колени мокры от росы,  
Мчались ракет разноцветные знаки.  
И, ожидая начала атаки,  
Юный комбат посмотрел на часы.  
Начал атаку гвардейский артополк  
Был он и ухал снарядной лавиной.  
Грохот огня на мгновение смолк,  
И над зеленою луной долиной  
Вдруг мы услышали щелк-перещелк,  
Чистый и радостный свист соловьиный.  
Был соловей или бесстрашен или глух,  
Что не заметил военного лиха.  
Только он шел и щелкал во весь дух,  
То угрожая, то ласково, тихо,

Словно пуская серебряный пух...  
И отвечала ему соловыха.  
С пеньем смешалась огня крутоверть  
И улыбнулся танкист над турелью.  
Дрожью весеннею вздрогнула твердь,  
В жилах людей пробежало веселье.  
Видно, любовь посильнее, чем смерть,  
Жизнь говорит соловьиною трелью.  
Вот уже стал горизонт лиловой,  
Солнце встало как темное пламя.  
Нел соловей, соловей, соловей —  
Это отчизна садов лепестками,  
Первой любовью, воспетой веками,  
Чуть зеленеющих веток руками  
В бой провожала своих сыновей.

## Семья<sup>1</sup>

Хуторок стоял за селом, немудрое крестьянское хозяйство, которое служило нескольким поколениям семьи Олейниковых. Вокруг хуторка расстилались золотые просторы Харьковщины, но жить Олейниковым становилось все теснее и теснее. Просторы были панские, а узкие ленточки полосок крестьянские.

— Боже мой, все панское: и пашины, и выгон, и леса...— жаловалась Марфа Никитишна Олейникова и муж ее, Лука Трифонович, хмуро соглашался и добавлял:

И просо, и сады, и рыбная ловля, и охота — все панское! А вот на чем наши ребята будут жить да сеять, про то один бог знает. Как жить им в тесноте да в вечной обиде?

— Один Родермунд чего стоит, проклята помещика кость! — и горячие глаза женщины вспыхивали ненавистью и обидой. Немец-помещик Родермунд был особенно беспощаден, — и горе тому, кто попадал в его руки! Разговор у него был короткий: работай пять дней для барина, а два дня так и быть — для себя.

— Вот и выкручивайся как знаешь! — с унылой злобой говорили люди, и Олейниковы согласно вздыхали.

Вечерами, когда солнце, оранжевое как тыква на бахче, падало в золотые разливы чуждой пшеницы, Олейниковы выходили на крылечко своей старой хаты, садились на ступеньки и песочничая думали вслух об одном и том же. Потирая натруженные за долгий день колени, они озирали привычную картину чужого приволья и думали о своей безвыходной тесноте.

— Надо на новые места подаваться! — наконец решил Лука Трифонович. — Надо менять долю!

Эта мысль все чаще посещала его.

Однажды пришло письмо от родственников-новоселов из Акмолинской области. Новосе-

лы писали, что в акмолинских степях земли много, «а панами и не пахнет».

— Надо менять долю! — твердо решил Олейников.

В феврале 1908 года Олейниковы выехали за околицу родного села. Когда последняя хата скрылась из глаз, Лука Трифонович не приметно от жены вздохнул и нахлобучил шапку по самые брови. Жена смотрела вокруг мутным невидящим взглядом — глаза ее наполнились слезами, которые катились по ее щекам, прозрачные и твердые как градины. Олейников снял шапку и молча сбросил ею слезы с этих румяных смуглых щек, а потом гильнул на коняку и щелкнул языком:

— Э-эй, не ленись!

«Самому впору хоть плачь», хмуро подумал он и все будто видел перед собой оставленную в мягких супрубах хату — такова то будет хатка там, на новых привольных землях?

Мороз был легкий, февральский. Ветлы вдоль дороги стояли черные, чистые, и воробы хлопотливо перелетали с ветки на ветку — весна была недалеко.

«Сеять скоро!» вздохнул про себя Олейников, но представив себе, как он будет сеять среди приволья акмолинских степей, сразу приободрился. Он вспомнил, что оба они с женой еще молоды — тридцати лет нет еще. Для таких сила в работе не меряна.

— Проживем! — сказал он, подмигивая жене. Она глянула в его повеселевшие голубые глаза и тоже улыбнулась.

Ехали до акмолинских степей полмесяца — сильно буранило, на железной дороге были заносы, поезда не ходили. Лука Олейников с женой и ребятишками истомились за дорогу: время-то, время уходит, не опоздать бы с севом!

Посеять на новом месте все же успели. Действительно, земли здесь было много, панщиной не пахло, пшеничка, просо, огороды, бахчи — все родилось очень хорошее. Но воль-

<sup>1</sup> Из книги «Сталинские мастера».

ной жизни, как представляли ее себе Олейниковы, не было.

Вольных земель, от которых каждый нуждающийся, как мечтал Лука Олейников, мог отрезать себе хороший кусок, — здесь не водилось. Хорошие участки уже давно были расхвачены богатыми мужиками, у которых всюду были свои люди. Пришлось новоселам взять то, что дают. Детей у Олейниковых семеро, и все они были больше едоки, чем помощники. Жить приходилось всегда, что называется, с краю, без запасов про черный день. Как и водится, многосемейные люди залезали в долги. Богатые мужики давали — и даже охотно: «бери, бери, потом сочтемся!» А счет выходил крутой: натурой, отработкой до семи потов, и все, как нарочно, шло к тому, чтобы, расквитавшись со старым долгом, вновь залезть в долги... и так без конца.

Грянула Великая социалистическая революция и раскаты ее грома скоро докатились до глухого степного села. Пришел день и вымело из деревни всю старую власть: земского, урядника, волостного старшину. Лука Трифонович быстро понял: «советская власть — за бедноту». Он стал замечать, что у него, как и у других сельчан, подобных ему, появилась смелость, какой не бывало раньше. Лука Олейников понемногу привык подавать голос на собраниях, и уж не так торопился здороваться с богатеями. Они заметно помирели, но он был уверен, что они только и думают как бы «навредить народу». Прибавляли ему смелости и солдаты, вернувшись домой с германского фронта. Они вернулись неизвестное, худые, обросшие бородами, черные от горючей окошной муки и заряженные самыми свежими новостями. Благодаря им Лука Трифонович узнавал, что делается на белом свете, но до многого ему приходилось доходить своим чутьем и разумением.

В голодный 1921 год Урюпин, этот ловкий сельский заимодавец, так хитро воспользовался затруднениями семьи Олейниковых, что не только детям, но и родителям приходилось батрачить на него.

— Панцины здесь нет, так этот русявый подлец на нашей спине паразитом сидит! — утром раздумывал Лука Трифонович. «Русявый подлец» дреусеивал на глазах всего села. Урюпинские закрома ломились от зерна, сытые гладкие кони, породистые коровы стояли у полных кормушек, отары овец паслись в степи.

— Сколько овец-то у тебя, Филипп Константинович? — спрашивали у него.

— Сколько? Хо, хо... А я и сам толком не помню, не считал! — отвечал он и дурашливо ломал шалку. — У меня пастухи овец ведут — для того их, чертей, и кормлю!

Пастухи, двое босоногих мальчишек — Дмитрий и Тимофей Олейниковы, с утра до ночи, шеклись в степи и только и знали одну заботу — считать, все ли овцы целы, а было этих овец более тысячи голов.

— Сыночков то надо бы в школу! — напоминала мать. Отец сердито отмахивался. Он сам об этом помнил, но положение было безвыходное: эти два мальчика все же старшие из всего выводка, да и девочек в степь не пошлешь. Хоть и тяжек пастуший хлеб, а все же мальчишки сыты.

— Так то оно так... — говорила мать, и оба замолчали.

...В степи пастухам ни днем, ни ночью нет покоя. Овцы лежали, борбались промышленными спинами, как грязножелтые земляные бутры, а дальние ряды отары, казалось, совсем сливались с выжженной голой степью... Жара, тишина, сонная дурь. Солнце печет беспощадно, и головы пастухов неволью падают на грудь, будто шалитые свинцом. В ушах назойливо звенит стрекотание кузнечиков так, что слух не в состоянии воспринимать никаких других звуков. Пастухи отупело смотрят на пыльные бутры урюпинской отары и устало жмурятся. Собаки, тяжело дыша, лежат на солнышке, и их худые бока сводит дрожью. Высунув длинные языки, швы жалобно моргают слезящимися глазами.

Но вдруг забрехали собаки, и пастухи, как встрепанные, в страхе вскочили на ноги: — батюшки, не волки ли опять?

Волки в тех местах водились, но страшны были даже не сами волки, а тот шеролох, который они вызывали своим появлением. Овцы, ошалев от страха, разбегались во все стороны и неслись, вздымая тучи горчично-бурой пыли. Она лезла в глотку, в глаза, в ноздри, не давала дышать, окутывала все желтым туманом. Собаки с отчаянным лаем носились по степи, а пастухи, чихая и кашля, махали герлыгами, бегали, кричали до хрипоты, сбивая в вучу рассыпавшуюся отару.

Иногда мать, соскучившись о сыновьях, приходила к ним, и ей, во время шеролоха доводилось бегать по степи, собирая кулачками овец. Набегавшись, измученные, потные, еле дыша, мать и сыновья валялись на пыльные травы. Горько пахло чебрецом и полынью и, казалось, — так пахнет их жизнь.

Как ни хотелось Олейниковым, не могли они выволить своего старшего сына Тимофея из батраков.

— Вот это парень, так парень! — хвалил Тимофея под веселую рубку Урюпин. Люблю таких ребят, шарень — золото!

И хозяин похлопывал батрака по худой сильной спине. Лука Трифонович, слыша эти

похвалы, угрюмо побрякивал: еще бы не хватить — парнишка работает как проклятый, даром, что сила молодая в нем играет, девать некуда.

Тимофей примечал, что отец злобиться на Урюпина и объяснял это по своему: конечно, отцу обидно, что сыну приходится жить в рабочих. Обидно было и матери — особенно в те минуты, когда она видела, как хозяин орал на ее сына. Тимофей кидал сено на воз, а хозяин сидел в бричке и прозил ему:

— Я т-тебя, пес! Что тихо робишь, дурак? Все вы только и горады, что хлеб жрать, корми вас ни за что, дармоеды!

Марфа Никитишна при этих грубых словах даже за грудь хваталась. Но осадить наглого человека она не умела. Характер у ней был кроткий и незлобивый.

...Однажды на урюпинский двор нагрянули с обыском.

— Показывай излишки!

Хозяин клялся и божился, а потом стал огрызаться: нечего его срамить, потому что ему нечего и прятать — у него все на виду. Пришедшие хладнокровно осматривали и обстучивали стены и полы кондовых урюпинских служб и, наконец, нашли... две с половиной тысячи пудов отборной пшеницы. В тот же день пшеницу вывезли со двора.

Хозяин стоял у ворот и молча глядел вслед подводам. Его широкие скулы сводило бешеной дрожью, яростно скалился рот. Люди, глянув на это лицо, обходили его стороной и перешептывались: «Ох, злобен Урюпин на советскую власть, так бы и съел с косточками, да зубов таких нет!»

И Тимофей, робко наблюдая за хозяином, думал, что человек с таким лицом, пожалуй, и убить может. Он никак не предполагал, что у него столько хлеба. «Две тысячи пятьсот пудов!» — вздыхал Тимофей, да ведь этим всю деревню накормить можно!

В 1927 году Тимофею исполнилось пятнадцать лет. Отцовское хозяйство все же поправлялось и парнишка попрежнему жил в рабочих. Не раз он удивлялся, как быстро выиграл опять Урюпин и как опять вьюном вертелся, сбывая на базарах своих овец, и опять пшеница потекла в его закрома, и опять он хвастливо ломал пашку, шутил со всеми и с дурашно-простоватым видом лез к каждому в друзья.

— Ну, как хозяин-то у тебя? — спрашивал у Тимофея отец. — Видно уж оправился после двух тысяченок?

— Да ничего, нанял маляра — новый дом хочет украшать.

— Ишь ты, еще жить хочет! — недобро усмехнулся Лука Олейников. До него доходили смутные слухи, что кулаков «скоро

порешат» — хватит, поцарствовали. Он верил, что «и до русявого подлеца очередь дойдет», что «будет всем богатеем конец».

Здрав голову и горделиво поглядывая на прохожих, Урюпин похаживал перед своим новым домом и учил маляра:

— Еще вот тут помалой, да ты ладом, ладом, а не как-нибудь, чай, я тебе хорошие деньги плачу. Старайся, братец, уж больно мне охота скорей мой дом в полном порядке видеть!... Торонись, брат, торонись!

Тут маляр — Тимофею надолго врезались в память эти слова — ответил:

— Поторопиться можно, да не долго придется тебе, Филипп Константинович, в этом доме жить!

— Что ты мелешь, дурак? — захохотился было Урюпин — и вдруг вспомнил, что ведь маляр-то коммунист — эх, утوراдило же кого нанять!

В 1929 году, когда Урюпина раскулачили, семнадцатилетний Тимофей вспомнил слова маляра. Как ни увертлив, как ни хитер был Урюпин, а вышло не по его. Говорил хозяин много, а все оказалось ложью, коммунист сказал мало — и все сбылось.

Тимофей гордо входил в бывший урюпинский дом, куда ему, батраку, еще совсем недавно путь был заказан. В доме теперь помещался сельсовет и кооперация. Тимофею нравилось, что в сельсовете хорошие крашенные полы и блестят после мытья. Ему было приятно чувствовать себя в этих комнатах равным всем, кто находился здесь, и никто не имел права спросить его по-урюпински: «ты что тут трешься, зачем пришел?» Ему казалось, что его жизнь стала яснее и просторнее, хотя работы, пожалуй, было не меньше.

В селе организовался совхоз. Тимофей стал работать в совхозе: готовил базы для скота, возил лес. Скоро он привык говорить: «наше, совхозное», «у нас, в совхозе». Он сразу почувствовал разницу своего положения по сравнению с недавним прошлым. Заработанные деньги он получал не как милость, а как должное. За хозяином падо было ходить и кланяться: «деньжонок бы, Филипп Константинович, а?» В совхозе деньги выдавал кассир, и тогда говорили: «товарищи, идите получать зарплату». Новые слова: «зарплата», «заведующий», «задание», «рабочий класс» и другие, — быстро стали для Тимофея своими, будто давно обдуманными словами.

По воскресеньям он уже начал поглядывать на хороводы, полюбил слушать эвонкие высокие девичьи голоса и уже подсаживался к девушкам для разговоров. Особенно заприметилась ему одна — русенькая, сероглазая

Шура. Все в ней ему нравилось: задумчивый взгляд ее светлых глаз, чуть грустноватая улыбка, неспешные движения, легкая походка. И в хороводах она держалась как-то по-особому: не голосила, как многие деревенские певички, а подтягивала песню тихим голосом, который был хорошо слышен Тимофеем. Если он не видел ее на гулянье на своей Нижней улице, он шел на дальнюю, где жила Шура, и старался подсесть к ней поближе, а однажды осмелел и взял ее за руку. Она не отняла своей руки, и с тех пор молодые люди стали гулять вместе.

Осенью 1930 года, в гости к сыну, приехал один из жителей села, несколько лет назад уехавший на Урал искать счастья. Оказалось, что приехал он неспроста, а как вербовщик с Уралмаша.

— Вербовщик? — дивились на селе. — Это как же понимать?

— Это значит, он приехал людей на работу приглашать — разъяснил Тимофей, который уже успел разузнать все новости. — На Урале, рассказывают, завод строится, вот и разошлись во все стороны этих самых вербовщиков — приглашать людей скорей завод строить.

— Чудеса! На работу — словно на свадьбу зовут! — смеялась Шура.

— Вот это-то и здорово! — шумно восторгался Тимофей. — Без рабочего народа всюду разрез, за какое дело ни возьмись!

Вербовщик возбуждал его воображение рассказами о том, какое множество рабочих профессий требуется этому огромному заводу: кузнецы, слесари, токари, электросварщики, формовщики и т. д. О многих специальностях Тимофей впервые слышал, а когда узнал, что заводу понадобятся тысячи рабочих, поразился:

— Откуда ж их, мастеров, столько взять? Без сноровки и лопатой ничего не сделаешь, ведь людей учить надо.

Вербовщик ответил, что многие будут обучаться на заводе. Завод сам будет готовить рабочих для своих цехов.

— Значит, если я, к примеру, захочу быть первостатейным кузнецом, так меня тому научат? — с зампранием сердца спросил Тимофей и сразу загорелся интересом к этому далекому уральскому заводу, где из чернорабочих делают мастеров.

Еще будучи подростком, он чувствовал силу и ловкость своих рук, зоркость и памятьливость глаза, способность быстро разбираться в каждом новом деле. И в совхозе каждое дело ему давалось, он работал добросовестно, а похвала была ему дороже денег, потому что он держался, что он умеет работать. Но

иногда, везя бревна из лесу и копаясь на совхозном дворе, Тимофей ощущал в себе смутную, но настойчивую тоску, смысл которой открылся ему только теперь: он мечтал о труде, которого еще не знал, он чувствовал себя способным на большие дела. Как широк, оказывается, мир труда, куда шире степного простора! И как богато может показать себя в труде человек!...

Тимофей задумчиво рассматривал свои крепкие, костистые ловкие пальцы — в них, казалось ему, тоскует какое-то неразбуженное уменье. Разбудить его и он, Тимофей Олейников, будет повелевать им как хозяин. Да, вот чего он хотел, но что найдешь в степи?... Мастеров всякого дела создают на заводе и только на заводе.

Весной 1931 года семья Олейниковых приехала на строительную площадку Уралмаша. Отец еще выгружал наземь сундучки, узлы и кошелки, а Тимофей уже оглядывался во все стороны. Неоглядная площадь кишела людьми. Казалось удивительным, как они все не перепутаются в этом живом клокочущем месиве и как вообще можно работать среди этого шума, грохота, свистков, тарактенья грузовиков, визга неугомонных пил, стука топоров и зычного перекатка человеческих голосов. В одном месте выжигали кусок леса, в другом — рубили молодые сосенки, а в третьем, чуть подальше, — звенели пилы, и старые сосны одна за другой, падали с глухим шумом, ломая ветки своих обреченных соседей. Мертвые деревья промоздились мохнатыми зелеными горами. Выкорчеванные пни торчали корнями вверх. Земля была взорвана, изрыта канавами и ямами — на ней словно ни одного живого места не осталось.

— И ступить-то некуда — жалобно сказала жена и добавила совсем упавшим голосом: — Уж и приехали... господа...

Тимофей виновато пожал ее холодную руку и сказал:

— А вон там завод будет, гляди!

Высоко над растревоженной землей поднимались леса будущих заводских корпусов.

— Эх, и громадины же дома здесь встанут! — попытался было оживить приунывших женщин Тимофей, но они молча озирались вокруг утомленными и недовольными глазами. Мужчины ввалили себе на плечи нехитрое имущество и пошли искать место для ночлега.

Тимофей довольно быстро освоился в этом кипучем потоке труда и вместе с Шурой устроился работать на укладке железнодорожной ветки, что шла на болота и к Пышме. Жена возила на вагонетке балласт для шпал. Скоро оба стали ударниками, неплохо зарабатывали, но полноты жизни, ка-



кой ждал Тимофей от заводского строительства, он не чувствовал. Шуре не нравились уральские леса, она тосковала по привычным степным просторам. Тимофеем леса тоже казались угрюмыми, а люди неприветливыми, но еще не в этом было главное. Можно переносить неудобства барачного житья-бытья, но очень трудно было сдерживать собственное нетерпение, — когда же, когда, наконец, начнет он учиться «настоящему мастерству?»

Однажды Тимофей понес в подсобную кузницу отремонтировать свой простенький инвентарь — и на несколько часов застрял там, очарованный согласной работой кузнецов. До сих пор он видел только свою деревенскую кузницу среди степной пыли — навес на четырех столбах, к которым привязывали коней. А здесь была большая заводская кузница, где работали с горячим металлом. Он с завистью смотрел на озаренные медными отсветами горнов потные лица кузнецов, на их могучие ловкие руки, покоряющие железо и вдруг страстно затосковал об этой горячей работе с огнем и металлом, словно именно для нее он был рожден на земле.

Он попросился в кузницу. Его приняли — «парень здоровый — что надо».

— Будешь молотобойцем, присматривайся, сказали ему. Он подковыбал лошадей, ковал подковы, колеса, путевые прокладки, строительные скаты и бесконечно радовался, когда старшие кузнецы хвалили его, молодого молотобойца.

Так прошел год. Однажды в кузницу принесли заказ из заводской конторы — сделать шила для шпильки канцелярских бумаг.

— Тут эскиз для вас дали, — сказал посланец.

— Эс-ки-зик? — удивились кузнецы. — Это что ж такое?

— Это рисунок, по которому надо сделать заказ.

Эскизик заходил по рукам. Бумажка замуслилась и почернела, но никто ничего не мог понять, да и рисуночек почти совсем стёрся, так что даже трудно было его разглядеть.

— Дьявол его разберет? — Наконец рассердился бригадир, и кузнецы дружно поддержали его.

Па-ко, изволь с бумажки железо ковать — выдумают же люди такую ерунду?

И Тимофей вертел в руках бумажку, недоумевая, как подступиться к этому заказу.

Может быть, и долго бы еще мудровали кузнецы над бумажкой, да зашел какой-то хозяйственный и поднял их на смех.

— Что вы, ребята, это ж на глазок можно — пустяковое дело!

Он пояснил на словах, каков размер этого

пресловутого шила, а когда заказ был тут же выполнен, насмешник опять не упустил случая кольнуть кузнецов.

— Ну и чудак же вы, товарищи — мышь за гору приняли!

Кузнецам было смешно и совестно. Посмеялся, было, с ними Тимофей, да скоро остыл: собственно говоря, веселиться было нечему. «Видно, не очень-то мы важные мастера, если такое шило сразу осилить не могли!» думал он. — Хотя, правда, этот... как его... эскизик нас смутил, да это не оправдание. Для настоящего мастера невозможного нет!... Да, он преждевременно порадовался, что здесь он чему-то может научиться!

Товарищи говорили ему:

— Погоди, то ли еще будет! Кузнечный цех построится здесь такой, что, может, весь Союз ему будет удивиться. Мало терпенья у тебя, Олейников.

Он соглашался с тем, что нетерпелив, но что он мог поделаться с самим собой, если его стремление летело вперед быстрее всех темпов стройки.

В отпуск молодые Олейниковы поехали в Башкирию — к родным жены. Брат Александры Олейниковой работал на металлургическом заводе, в доменном цехе и любил говорить «мы — доменщики». Тимофей раздражался про себя и сердито поджимал губы. Сказать про себя так же гордо: «мы — кузнецы» он не мог, потому что не чувствовал за этим словом того бесспорного права и силы, какая была у доменщика.

Однажды шурин повел его посмотреть завод. Побывали у домен, у мартен, а в кузнечном цехе Тимофей прямо пристыл к месту, восхищенный и подавленный: ничего подобного он в жизни не видывал!.. У себя на заводе он знал, оказывается, жалкую подсобную кузницу, которая годна была только на то, чтобы под горячую руку отремонтировать, подковать и заклепать. И какая же в этой кузнице были теснота и убожество! И как это он, чудачина, еще мог хоть на минуту поверить, что там он может чему-то научиться?

— Ну, как? — спрашивал его шурин.

— Вот это красота! Вот это кузница, так кузница! — горячо повторял Олейников.

В увлечении своем он совершенно забыл, как год назад также восторгался подсобной кузницей на площадке Уралмаша. Здесь был перед ним «настоящий» большой цех, где работали тяжелые молоты, ходили краны, клали печи.

Мастер пролета Прокоп Васильич, пожилой человек, в рабочей повадке которого Тимофей с завистью отметил особую ловкость и четкость («Только настоящие кузнецы так

работают!») — спокойно выслушал излияния Тимофея и сказал:

— Я свой завод, конечно, люблю, но, по справедливости надо признать, что теперь у нас есть заводы и получше.

Тимофей только усмехнулся в ответ — что-то хитрит старик, завод этот великолепный, могучий завод, именно о таком заводе он и мечтал!

Понравился ему и Прокоп Васильич, который согласился взять его к себе подручным.

— У него-то уж я научусь делу! радовался Тимофей. — Настоящий мастер, целым пролетом зарочивает, коммунист, душевный человек... Ух, мне такой и во сне не снился!

— Об этой подобной кузнице я и думать не хочу! — взволнованно шумел Тимофей, — возьму я там расчет, обязательно возьму! Как сказал, так и сделал.

— Работать с Прокопом Васильичем просто одно удовольствие! Сам работает прекрасно и другому умеет все показать, — чурбан и тот должен понять! — рассказывал после работы Тимофей. Его самолюбиво кроме того лестило, что Прокоп Васильич явно отличал его среди других кузнецов своего пролета. Если речь шла о какой-нибудь срочной работе, мастер уверенно предлагал поручить ее своему подручному: «этот выполнит, временем считаться не станет и сделает все в лучшем виде».

— Как вы это обо мне наперед знаете, Прокоп Васильич? — спрашивал растроганный Тимофей.

— Чего тут не знать? Ведешь ты себя по всем статьям, как рабочий, а те люди, на которых я не надеюсь — не настоящие рабочие, а так себе, ерунда, — и спокойное лицо мастера принимало презрительное выражение. — Эти кузнецы на завод смотрят как на кошлыку, для приработка к своей коровке, к своему огороду... Весна пришла — им завод уже не нужен, им охота в земле копать, картошку, капустку сажать, а не у молотов стоять. А истинный рабочий на завод смотрит как на главное в жизни, завод ему может быть дороже дома родного. У тебя, гляжу я, думы на сторону нету, а есть твои рабочие руки, да желание научиться мастерству.

— А в жизни, как я считаю, Прокоп Васильич, самое главное и есть — мастерство, убежденно говорил Тимофей. — Мастерами вся жизнь держится.

Назонец Прокоп Васильич предложил Тимофею работать самостоятельно.

— Я тебя, товарищ дорогой, уж не мало учил, распоряджайся-ка молотом сам по себе.

И Тимофей Олейников стал кузнецом. Он же сразу привык к новым своим ощущениям

во время работы. Это было особое, легкое, пронзительное чувство внутреннего подъема, чудесное чувство, которое ни с чем нельзя сравнить. Вдохновенное ощущение власти человека над металлом, покорным его воле. Он командовал: «давай», а иногда просто повелительно кивал — и страшная машина молота тяжело падала на раскаленную болванку, высекая огненный фонтан искр.

Когда Тимофею впервые поручили работать по чертежу, ему вспомнилась смешная история с канцелярским шилом и показалось, что это было с кем-то другим, а не с ним. В чертеже он разобрался довольно быстро, а некоторое время спустя привык и даже полюбил работать по чертежу. В каждом чертеже было что-то свое, новое и увлекательное.

— Перевести с бумаги на металл — замечательное это дело, Шурка! — радовался кузнец. Он часто брал чертежи домой, чтобы заранее ознакомиться с ними и прийти на работу с уже готовым планом.

Он развертывал чертеж кузнечной детали и любовно прикреплял его к столу гвоздиками. Потом, откинувшись длинным телом немного назад, с довольным видом озирает тонкий чертеж, и рука его уже нетерпеливо сжимала карандаш: кажется, он что-то уже придумал!

Домашние с уваженным смотрели на его сосредоточенно-нахмуренное лицо и старались не шуметь. А он уверенно отчеркивал и штриховал, и его зеленовато-карие глаза все веселее всматривались в скрещивающиеся линии будущей детали.

Но раз от разу к этой привычной уверенности стало примешиваться что-то стесняющее его, глаза словно теряли свою зоркость, выдумка вдруг истощалась и кузнец иногда просто не узнавал себя:

— Что за притча, не выходит у меня что-то... словно я, Шурка, в стену уперся — ни туда, и ни сюда!

Но так как он привык всегда быть правдивым с самим собой, то вскоре понял:

— Понимаешь, Шурка, грамота у меня совсем плоха, нигдедушная грамота у меня!

— Да когда же тебе и учиться было... — пробовала его утешить жена, но он уже загорелся новой мыслью, которая была сильнее его огорчения.

— Понимаешь, Шура, чертеж-то ведь рассчитан на крепко грамотного человека, а не лично, скажем, на меня. В чертежах бывают такие заковылки, что их одной сметкой никак не возьмешь — тут настоящая грамота нужна!

И так как он любил все «настоящее», он до тех пор не успокоился, пока не пошел учиться в ликбез.

— Да разве же ты малограмотный? — удивлялись товарищи по пролету.

— Значит так, коли за книжку, как мальчишка сажусь, с досадой отвечал он. Но в либбесте не было ученика старательней его. Вечерами, придя домой из школы, он присаживался к лампе и подолгу читал вслух.

— Надоел ты мне гудением своим, — шуточно ворчала жена. — Школьник в двадцать два года!

Чтение вслух с каждым днем становилось все более оживленным и, казалось, доставляло Тимофееву неиспытанное удовольствие. А однажды он вдруг среди чтения начал громко смеяться.

— Что ты это? — даже испугалась жена.

— Да, понимаешь, какая интересная штука получается! Прежде, когда я читал, буквы будто впереди меня скакали. Только, бывало, хочу я ее, букву, поймать, а она уж и обскакала меня, как коза!... А сейчас только я гляну — и буквы ко мне лицом так и несутся навстречу!.. Да что — целые слова прямо как в гости ко мне бегут... вот слушай, я еле успеваю их ловить!

И он прочел скороговоркой:

— «Рабочий класс взял власть в свои руки 25 октября 1917 года». Ах, ты, чорт побори!... «Рабочий класс взял власть в свои руки»... — И Тимофей залился счастливым хохотом, весело ероша темнорусый бобрник на голове. — До чего же все просто и ясно выходит, когда выучишься!

Когда Олейникову пришло время идти в Красную Армию, он на вопрос комиссии о грамотности ответил:

— Читайте газеты и книги.

Дома он, торжествуя, говорил жене:

— Понимаешь, какая штука — культура! И в армии мои занятия мне хорошую службу сослужат!

— Только ты не вздумай там во весь голос читать, да как маленький хохотать, как всегда, слегка посмеиваясь над горячностью мужа, сказала Шура. — Там, в армии, смотри, дисциплина строгая!

— Не пугай, не пугай! — отшучивался Тимофей. — В батраках я достаточно пожил, всего навиделся, так армейской дисциплины мне бояться нечего!

Оба, как всегда, подшучивали друг над другом, скрывая каждый свое беспокойство и заботу. Тимофей впервые расставался с женой и знал, что будет скучать без нее.

— Ты уж там учись, старайся... — говорила Шура на вокзале и ее розовые мягкие губы чуть вздрагивали.

— Ничего, ничего, — бормотал он, нежно сжимая ее плечи, — ты, Шурка, ... не скучай, слышишь? Время незаметно пройдет...

— А я на завод пошла, — тихо и решительно сказала, Шура.

Такой вот, тихой и решительной представлялась она Тимофееву в часы, когда он был один в комнате, или когда сидел за отдельным столиком в светлом и уютном читальном зале полковой библиотеки.

«Шурка не сдас!» любовно думал он, вспоминая ее серые глаза, тонкие, чуть прихмуренные брови. Ее письма были немногословны, но он безошибочно угадывал, что на заводе она работает добросовестно и был уверен в ней, как в самом себе.

После того как Олейников сдал экзамен на младшего командира, его оставили при школе — заниматься с новым пополнением 1913 года.

— Ну, товарищ, Олейников, вашими учениками будут молодые инженеры, агрономы, учителя, — предупредил его командир Юразов. Советую вам держать ухо востро!

Задание было не из легких. Правда, Тимофееву Олейников, уже не тот неуклюжий степнячок, который оторопело оглядывался по сторонам на уралмашевской площадке. Уже с прошлого года, втянувшись в заводскую жизнь, он заметно осмелел и выравнялся, а теперь Красная Армия многое переделала в нем. Он притянул к военной дисциплине, полюбил военную точность и собранность в каждом деле. Военная форма ловко сидела на его сухощавой фигуре, воротничек ярко белел из-под гимнастерки; на свежесвыбритом, скуластом лице горел ровный, здоровый румянец. Его недавняя неуклюжесть уступила место непринужденной простоте и спокойному достоинству. Это достоинство и авторитет, конечно, нельзя было ронять.

— Придут ребята молодые, требовательные и более образованные, чем я, с ними надо тонко линию вести, — делился с товарищами своими размышлениями младший командир Олейников.

— Таким как мы, бывшие либбестники, конечно, трудно внятно влиять на людей с высшим образованием, — озабоченно продолжал он. — Культура у нас не та, что у инженера, агронома или учителя. Однако, я все таки командир и должен сохранять свой авторитет, чтобы военная дисциплина не подрывалась.

Сначала он присматривался к группе молодых людей, которых ему предстояло учить военному делу и держался с хитрецей: больше слушал, чем сам высказывался. Да, народ пришел требовательный как он и предполагал, «книжный народ», но все они были молодые люди — между ним и его учениками был всего год с небольшим возрастной разницы. Значит не следует докучать этим

молодым красноармейцам мелочной опекой, а стремиться как можно лучше организовать их учебные занятия, не стесняя их самостоятельности там, где это не нарушает военной дисциплины.

Такой тактики он и стал держаться — и она вполне себя оправдывала. У младшего командира с новыми бойцами установились прекрасные отношения. В 1935 году Олейников вступил в комсомол. Комсомол дал Тимофею подлинно почувствовать силу и здоровье молодости: бывший акмолинский степнячок научился военной гимнастике, стал ходить на лыжах и на армейских состязаниях даже занял третье место. Родной кузнечный цех часто вспоминался Тимофею, руки его тосковали о любимой работе. Он придумал усовершенствовать трамплин для лыжников и вызвался выковать скобы, которыми скрепляют стойки. Пользовое кузнечное оборудование, конечно, нельзя было сравнить с заводским цехом, но это не помешало младшему командиру каждый раз ковать с огромным удовольствием. А молодые красноармейцы записали в актив своего начальника его кузнечные занятия. Скобы для стоек, к слову сказать, выкованы были отлично и ни разу не сдали.

Однажды он получил письмо от отца, которое очень взволновало его.

Лука Трифонович с женой, все работали на Уралмаше. Сначала он был десятником на прокладке железнодорожного пути, потом вел земляные работы, потом его перебросили на постройку цехов, он видел рождение завода от цеха к цеху. Когда в парткоме завода зашла речь о том, что Луке Олейникову следовало бы подумать о вступлении в партию, старик долго размышлять не стал: в самом деле, что мешает ему вступить в партию? Напротив, все окружающее благоприятствует этому решению!

— Партия меня человеком сделала! — повторял он, вспоминая свою работу и все события своей жизни за эти годы. Конечно, бывали у него неудачи и промахи, но ничего такого, за что ему пришлось бы краснеть и стыдиться людей, с ним не случалось. Кто его учил поступать правильно? Партия, советская власть учили, заводской коллектив воспитывал. И он, Лука Олейников, благодаря партии и советской власти, нашел свою настоящую долю.

Когда сын и невестка уехали в Башкирию, Лука Олейников сказал со своей неторопливой усмешкой: «пусть молодые скачут, где им кажется лучше, а мы посидим, да поглядим». Вообще торопиться ему было некуда. От крестьянской работы — Лука это безоши-

бочно чувствовал — он и семья его оторвались навсегда, они переменили долю и утвердились в ней до конца жизни. Его маленькие голубые глаза внимательно наблюдали за людьми и за ходом работ на строительстве. Аккуратно читая газеты, он знал какое огромное значение придают партия и правительство этой стройке среди уральских лесов, и давно привык думать, что строить здесь надо обязательно быстро. Он привык также думать, что будущее его детей полностью зависит от успехов уральского гиганта, а значит, в какой то мере, и от его личного участия в этой работе, его личного старания. Это убеждение всегда помогало ему «держаться правильного курса». Суть этого «курса» была всегда ясна и для тех, с кем ему приходилось иметь дело. Лодырей и вообще недобросовестных людей он узнавал быстро и принимал свои меры: требовал, нажимал, докладывал по начальству, а уж если попадался «тип очень злостный», поступал с ним еще круче. О человеке он судил, прежде всего, по его отношению к заводу, к строительству и редко ошибался: оценка «хороший работник» уже наверняка совпадала с оценкой «хороший человек».

О Тимофее старики вспоминали каждый день: он рос веселый, бойкий и ласковый, и о нем они особенно теперь скучали. Лука Трифонович находил, что Тимофей поторопился оставить завод. Гигант рос и креп у них на глазах.

Однажды Лука Трифонович написал сыну в его армейскую часть длинное, подробное письмо о том, как идет жизнь на уральском заводе тяжелого машиностроения. Старик знал — с какой стороны «взять» сына и особенно приналежит на описание кузнечного цеха.

— Не утерпит Тимоша, никак не утерпит — опять сюда захочет! — говорил жене старик, довольный потирая руки.

Он рассчитывал правильно. Тимофей, получив письмо, взволновался не на шутку. Желание увидеть завод, который, как уверял отец, теперь узнать нельзя, с такой силой овладело Тимофеем, что после окончания службы в армии, он, не заезжая в Башкирию, прямо поехал на Урал. Это было осенью 1936 года, перед октябрьскими праздниками.

Тимофей Олейников сошел с трамвая на Площади первой пятилетки и, как пять лет назад, оторопело огляделся вокруг. Действительно, все было неузнаваемо: земля, дома, люди, и даже самый воздух будто стал другим.

Но больше всего поразил Тимофея кузнечный цех.

— Ну и махина! — сказал он глухим от восторга голосом. У него даже стиснуло сердце, словно он что-то потерял и только теперь понял, чего лишился. Эти могучие железные конструкции, уходящие в черную гордую высоту потолка, были поставлены без него. Эти огнедышащие печи пропустили тысячи тонн металла — без него, кузнеца Олейникова. Эти мощные краны ходили без него и не ему подносили они тяжелые раскаленные болванки. Эти великолепные молоты бовали без него... Пятитонный молот особенно поразил Тимофея своей мощью — таких на старом металлургическом заводе Башкирии не водилось.

— Там ничего подобного и не видывали! — с горечью рассказывал он домашним. Нет, научиться мастерству можно только работая около такой чудесной промашины, как этот пятитонный молот. Тут есть на чем испробовать себя, есть что спросить, есть на чем свое умение показать.

Тимофея приняли в кузнечный цех — подручным.

«Так тебе и надо» — подумал он.

Вскоре на завод приехала Шура. Радость встречи омрачилась для Тимофея беспокойством — как-то посмотрит Шура на то, что сейчас он как бы попытился назад — он только подручный.

Но жена по этому поводу не выразила ни удивления, ни тревоги, как будто так и быть должно.

— Здесь же тебя внове должны узнать, — сказала она и начала расспрашивать, как теперь он работает, доволен ли?

Тимофей сразу зажегся и принялся рассказывать о своем цехе — и больше всего о своем пятитонном молоте.

— Шут с ним, что я пока здесь подручный, зато ведь у какого молота работаю!... Ты бы видела его — силаща, красота!

Он не мог удержаться от сравнений: ну куда старому металлургическому заводу до Уралмаша, куда его несчастному кузнечному цеху до этого красавца, созданного по последнему слову техники!

— А каких дел можно натворить с этим пятитонным молотом, об этом так даже и понятия не имеют! — горячо уверял Тимофей.

Шура вдруг тихонько рассмеялась.

— Ты что? — слегка обиделся кузнец.

— Я вспомнила, что ты прежде говорил. Помнишь, как ты сначала людскую кузницу ругал? — с такой же лукавой улыбкой спросила Шура. Тогда для тебя милее того старого завода и не было.

— Что ж — не смутился Тимофей, — человек ищет, где лучше.

Он подумал и добавил.

— А лучше для меня там, где техника выше, не уважаю я допотопных машин. Техника, понимаешь, растет, и мы с ней растем!.. Вот и я сейчас новой техникой овладеваю, а что я — только подручный!..

— Экой торопыга, прервала его жена, — дай срок, — и дальше пойдешь.

Действительно, Тимофея скоро перевели в старшие подручные, а в 1938 году он стал бригадиром. Его имя начало упоминаться в цеховых отчетах, многотиражке, на общих собраниях.

— Вроде как в козырях хожу, — довольное усмехался он жене.

— Ну и старайся, — серьезно говорила она.

В 1939 году Тимофей вступил кандидатом в члены ВКП(б).

Через год его приняли в партию.

\* \* \*

День 22 июня 1941 года врезался в память Тимофея Олейникова на всю жизнь.

С утра он поехал в город на областной пленум Осоавиахима. Пленум уже подходил к концу, когда в зале вдруг появился представитель Обкома и попросил слова. Заседание было прервано.

— Товарищи, сегодня фашистская Германия напала на нашу родину!..

Сдавленный вздох пронесся по залу и все лица посерели, поблекли, и все вокруг — небо, зеленые кроны деревьев, крыши домов, — все, все, как показалось Олейникову, вдруг, потеряло цвет и блеск.

Тимофей Олейников, возвращаясь домой, уже знал, что Вячеслав Михайлович Молотов выступал по радио, что фашистские орды, перейдя нашу границу, топчут сейчас родную советскую землю.

Олейников шел по знакомой Стахановской улице, по которой он всегда ходил на завод, и словно не узнавал ее. Казалось, опаляющий, грозный ветер несея над домами, деревьями, стирал улыбку и румянец на лицах людей, которых он привык встречать здесь изо дня в день.

— За тобой из парткома приходит, — встретила его жена, — как только вернешься, тут же велели прийти.

— Иду, иду — заторопился Олейников.

В парткоме было решено организовать охрану завода. Первыми стали дежурить коммунисты и беспартийные активисты. Как член партбюро, Тимофей Олейников попал в число первых часовых.

Сжимая в руке винтовку, он стоял под яркими июньскими звездами и чуть слышал

ночь. Кажется, никогда еще не был ему так дорог завод, как в эти сосредоточенные ночные часы, когда глаза прожигают тьму и ухо слушает бесповожно, разгадывая значение каждого звука. В эти минуты он знал, что по обширным дворам и площадям заводской территории дежурят сотни таких же часовых, хозяев уральского гиганта...

Для завода началась новая жизнь — он стал кузницей, могучим арсеналом фронта Великой отечественной войны.

— Теперь все пойдет по-иному, сказал своей бригаде Тимофей Олейников. Новая жизнь пришла и для нашего молота. Сегодня нам объявили, что мы будем отныне работать для фронта, и давайте, с сегодняшнего же дня работать по-фронтному. До войны у нас на заводе темпы были не плохие, но с теми темпами, какие теперь должны быть на заводе, — старые, мирные темпы сравнивать никак нельзя: таких темпов у нас на заводе еще не видали — и все они вот здесь у нас, и зависят от нас! — и бригадир, сверкнув глазами, вытянул вперед крепко сжатые кулаки. — Здесь они, наши темпы, товарищи!

Ответных высказываний он ждать не стал (для этого он слишком хорошо знал свою бригаду) и предложил с первого же военного заказа перевыполнить норму.

В передовице многотиражки от 25 июня 1941 года ставится в пример бригада Олейникова, которая дала 144% за смену.

— Пу, Шурка, мы на новом пути не ослышались, — сказал он жене.

— Ох, лучше бы вовсе не было этого нового, — печально вздохнула она.

— Уж тут ничего не попишешь, милая моя. Если волье на тебя пашкочит, бей его, коли, а то он из тебя сердце вырвет, — отвечал Тимофей, распахивая окно. Летняя ночь, теплая, синяя, плыла над землей. Где-то неподалеку звенел женский смех и веселой хрипотцой разливалась гармонь. Ветерок доносил из леса запах хвои, который сливался с приятной горечью заводских дымов и шлама. В первые дни войны еще приходилось делать над собой усилие, чтобы представить себе эту летнюю ночь — за две с лишним тысячи километров — русскую летнюю ночь, разрываемую пушечной и минометной стрельбой и грозно озаренную кровавым пожаром битв и разоренья. Олейников вышел на улицу.

— Хорошо, — тихо сказал он, вдыхая запахи ночи. Женский голос поюще сказал в темноте:

— Гармонька-то как заливается... Разыгрались, черти проклятые... В такое время

не песни петь, а горькими слезами плакать, волосы на себе рвать...

— Плохое занятие, гражданочка, — сердито и насмешливо сказал Тимофей. Он не мог узнать по голосу, кто скулил под его окном, и это тем более подзадоривало кузнеца «сразить» нытика.

— В такое время не плакать, а работать надо, гражданка, — еще резче продолжал Олейников. — А ко слезам работа идет туго, с песней — куда глаже...

— Ишь ты, притягый! — начала было опять женщина, но Тимофей уже швырнул:

— А ну, пошла спать!

Пожалуй, еще никогда дряблость человеческая не была ему так отвратительна, как в первые дни испытаний. Когда Тимофей слышал жалобные вздохи и вопросы: — «Время-то какое пришло, как жить, что делать будет?» — он отвечал со всей резкостью, на какую был способен, этот по натуре веселый и юбрый человек:

— Что делать, что делать? Работать. Из всех сил работать для фронта — вот тебе и весь сказ.

В многотиражке от 28 июня 1941 года появилась статья кузнеца Олейникова: «Всеми силами содействуем скорой победе!»

Он обещал от имени всей своей бригады работать лучше и быстрее и призывал все другие бригады к дружному оперативному труду для фронта. И он сдержал свое обещание. Его трудовое упорство с еще большей силой вспыхнуло в нем утром 3 июля, когда он услышал по радио речь Сталина.

— Это к вам он обращается, чтобы помогали ему, чтобы нам всем еще крепче работать, — повторял он дома и в цехе. Он до тех пор не мог успокоиться, пока не переговорил с самыми видными бригадирами своего полета: Белокрыловым, Будкиным, Швецовым.

— Надо, товарищи, нашему Сталину ответить: стараемся, мол, и будем давать для фронта все больше.

Когда разговор зашел о цифрах, Олейников сказал, что своей новой цифры, о которой мечтает, он пока во всеуслышание называть не будет, а объявит ее после того, как закрепит на деле.

9 июля в многотиражке появилась заметка:

#### «КУЗНЕЦЫ ОТВЕЧАЮТ ЛЮБИМОМУ СТАЛИНУ»

«В ответ на вероломное нападение фашистских бандитов на нашу родину, коллектив кузнецов обязался еще лучше и производительнее работать. Прекрасно рабо-

тают бригады рабочих: Белокрылова, Олейникова, Швецова...»

Ни к концу июля, ни в августе Олейников свою новую цифру все еще не опубликовал.

— Ну, как у вас дела в бригаде? — спрашивали его журналисты из многотиражки.

— Как растет процент выработки?

— Ничего, растет себе, — усмехался он.

— Богда в силу войдет, будьте спокойны, скажу.

10 сентября 1941 года в многотиражке появилась заметка:

#### «ВПЕРЕДИ БРИГАДА ОЛЕЙНИКОВА»

«В цехе, где начальником тов. Левандовский, продолжает быть впереди бригада коммуниста Олейникова. Эта бригада дала 8 сентября 306% нормы».

Не очень любил Тимофей «красоваться» перед фоторепортерами, а пришлось все-таки сниматься. Он принес домой № 91 заводской многотиражки и развернул его перед женой:

— Смотри, Александра, вот мы всей бригадой... вот здесь я...

— Что-то мало ты на себя похож вышел, — критически заметила жена.

— Ну, я что... а вот для бригады внимание газеты очень важно. Вот, смотри: это Попов, Гурина, Файзнев, Брюханов, Жилин...

Шура наперечет знала всю бригаду Олейникова, как и весь пролет — недаром она крановщица, но слушала мужа так, будто только впервые видела этих людей — уж очень сияло его лицо, и она не хотела ничем мешать его радости.

— Теперь смотри сюда: вот я тут статью написал. Видишь? «Втрое производительней» — правильно ведь названо? На трех нормах мы уже закрепились — значит, пойдем дальше.

1 ноября 1941 года в заметке «Даем продукцию сверх плана» о бригаде Олейникова было сказано, что она «работает в ровном, напряженном темпе».

Сказано это было совершенно точно, так именно и шла работа у пятигонного молота, в бригаде кузнеца Олейникова. — Именно так и можно было определить его стремление: работать напряженно и в то же время ровно, набирать скорость наверняка и взять подъем так, чтобы на высоте не приседать от натуги, держась за сердце, а спокойно, крепко стоять на ногах и дышать полной грудью.

В январе 1942 года заводская газета поместила портрет Тимофея Олейникова, бригада которого уже дала 364% нормы.

— Значит, можем давать более трех с половиной норм? Можем. Посмотрим, что будет

дальше, говорил Олейников своей бригаде. Он блеснул глазами, повелительно закричал: — Давай!

Багрово-розовая болванка уже приближалась к молоту. Кузнец глянул на нее, кивнул подручным — и раскаленным металл тут же перешел во власть молота, кузнечных клещей, топоров — и человеческого мастерства.

О бригаде Тимофея Олейникова уже знали не только на заводе, но и в городе и по области.

\* \* \*

В зимний морозный день я иду к дому, где живут Олейниковы, на улицу Уральских рабочих. Эта улица, третья по счету, пересекает широкую как бульвар Стахановскую. Зеленые насаждения вдоль улицы почти утонули в глубоких сутробах. Молодые кусты, густо опушены ивеем. Оранжево-сизые дымки поднимаются из труб, рассеиваясь где-то высоко в чистом небе. Почти каждая улица в этом молодом индустриальном городке — отражение истории его строительства. Вот эти двухэтажные деревянные оштукатуренные дома с неприятными узенькими верандочками, окрашенные в белорозовый цвет, выросли на улице после бараков. Потом и сюда докатилось увлечение домами-коробками, домами-квартирами. Вот они, эти длинные, толые, однообразно-глазастые дома со множеством подъездов. А дальше по Стахановской улице тянутся невысокие каменные дома, мягкого масляно-желтого цвета, с балконами и лепниной по фасаду — это штормцы третьей пятилетки, когда все быстрее и ярче стали хорошеть советские города.

Олейниковы дома. Оба сидят спиной к печи и греются. Сквозь белую кружевную занавеску голубеют морозные узоры на окне. Сегодня в этой светлой уютной комнате холоднее обычного, но младшему потомку семьи Олейниковых, даже очень тепло. Двухлетний Валерий расшалился. Отец стал надевать на него фланелевую курточку, а Валерий ее сбросил. Мать натянула было на его толстые ножки шерстяные чулки, он и их скинул — и хохочет. Его круглое беленькое личико с большими серыми глазами разгорелось, мелкие зубки сверкают как у белки, он вертится вьюном, ему невыносимо жарко.

Распахнулась дверь, и в комнату вошли две закутанные девочки — Нина, дочка Олейниковых и ее подружка. Широковатый чуть вздернутый носик Нины морщится совсем как у отца, ее зеленовато-карие глаза блестят тоже совсем по-отцовски.

— Как она похожа на вас, Тимофей. Лукьянович.

— Уж это — да. Мы с женой поделились: сынок — в нее, а дочка на меня похожа, каждый, кто ни взглянет, видит в ней мой портрет.

Олейников потер переносицу и усмехнулся:

— Да... на чем я остановился-то?.. За эти военные месяцы, ей-ей, столько пережил и передумал, что, когда вспоминать начнешь, кажется: по-прежнему, мирному положению, всего этого на целые годы хватало бы... Да, вот о чем мы говорили: как я добился своих результатов?.. Так вот, видите ли... Когда война грянула, ненависть меня охватила страшная, ненависть к врагу... Увидишь на плакате, как наш боец фашиста за горло хватает, сердце в тебе так и запылает: сам схватил бы этого гада и вонец уничтожил бы его, проклятого... Ну, думаю, живешь ты сейчас, Олейников, прежде всего для фронта, ты — фронтовой кузнец, в этом главный смысл твоей жизни.

Рассказывая, он временами плотно прижимает ладони к столу, будто ему хочется излить свою силу на все предметы, к которым он прикасается. На белоснежной скатерти его большие костистые руки с черными буторками старых седая и ожогов кажутся сейчас особенно тяжелыми и темными.

— Когда я вел в цехе разъяснительную работу в первые недели войны, мне пришлось одновременно погрузиться в самую, так сказать, гущу производственных вопросов. Не все наши рабочие сумели сразу настроиться, не все поняли, что теперь у нас на заводе, все иное будет, и темпы и характер работы будут иные, — некоторые даже так были настроены: все иное будет, так извольте мне подать и новые механизмы и вообще все организовать вновь, а я де потом работать начну.

Взять, например, моего сменщика Василия Степановича. Прекрасный мастер своего дела, человек пожилой, привык дорожить в своей рабочей профессии тем, что для него удобно, на чем он руку набил — а где это есть, там удача легче дается. «Требуют с нас темпов, а механизация где? Механизация все та же». С таким настроением у него все как-то неловко получалось. «Подай мне новые механизмы», ворчит он, а я, хоть и молодежь, без церемонии стал с ним спорить: механизация у нас абсолютно достаточная, надо только выжимать из машины все возможности, и те, каких мы в мирное время часто не учитывали.

Были у нас неверующие, посмеивались надо мной: — «пу, как ты будешь выжимать из молота?» Я отвечаю: — выжму, будьте спокойны». Самое первое, что я выжал из

молота: стал производить мелкий ремонт на ходу. Прежде, бывало, чуть где-нибудь болт ослаб, машину останавливали, и все замирало на нашем участке. «Как же так, говорю, товарищи, на фронте-то ведь работа никогда не замирает. Недопустимо и нам замирать».

Прежде, в мирное время этот мелкий ремонт производили слесаря-ремонтники, которых случалось долго ждать. Я предложил своей бригаде: мы наш молот знаем как душу свою, мы же сами можем и мелкий ремонт произвести.

Вспомнилось мне, как в 1936 году я на завод вернулся. Когда стали пятитонный молот ремонтировать, я добровольно ввязался в это дело и все три дня праздника Октябрьской революции просидел на ремонте нашего гиганта и великолепно ознакомился с ним... В конструкции нашего молота сердцевиной являются клапаны и золотники, которые требуют самого точного и нежного обращения. Молот наш — машина, правда? А не доследи за ним, закапризничает, и все из-за этих самых золотников! Вдруг начнет самопроизвольно подниматься и опускаться — значит, подработался, поистерся. Беру его моментально в работу, а то он задурут, воли моей слушаться не станет. Вот как они выглядят, эти самые золотники... — и кузнец своими твердыми темными пальцами с неожиданной гибкостью набрасывает на бумаге рисунок-схему, как действуют золотники в кузнечном молоте.

— Видите, форма их цилиндрическая... Вот этот золотник принимает пар, а этот выхлопной... Так вот их можно прекрасно ремонтировать на ходу. Или взять подтяжку болтов, да и мало ли какой еще мелкий ремонт может встретиться... и все это вполне возможно ремонтировать, не прерывая процесса, своей собственной рукой... Я сказал своей бригаде: «Мы, мастера, владеем машиной, мы ее силу умножаем». — и стал проводить в жизнь, что задумал. А некоторые товарищи (и Василий Степанович с ними) подылись на дыбы: «кто мы — кузнецы или ремонтные слесаря?»... «Пока, — смеюсь я, — вы будете философствовать на эту тему, время и работа от нас в бега ударятся». Мы себе ремонтируем, а наши неверующие смотрят, следят за нами — ведь рабочее сердце, им интересно. Потом, когда увидели, что наша дорога верная, за то же принялись и теперь сами работают когда надо за слесарей.

Олейников вдруг расхохотался; глаза его сузились в щелочки, но, вспомнив, что сын спит, сдержался.

— Если бы вы видели, как наши Василий Степанович и другие стали быстренько поворачиваться, просто любо-дорого смотреть...



«Да-да, говорят, штука это полезная, время выигрывается». Я скромно помалкивал: наша взяла, но зачем зря гусей дразнить?.. У Василия Степановича, как у некоторых пожилых рабочих, есть еще старомодные привычки, которые, когда поглубже взглянешь, так им же самым меньше всего выгодны. Основное богатство человека — его трудовой опыт, верно?.. А они, по старинке, любят его под замком держать — и сами же от этого теряют. А привычки свое в сторонке хранить, они и коллективным опытом мало интересуются, а коллективный опыт в наши дни — сила огромная... А они, чудакки...

Олейников неодобрительно пожал плечами.

— ...не интересуются коллективным опытом, пока их чувствительно не заденет что-нибудь. Новые детали на нас так и посыпались. Надо было на ходу учиться. И как до сада было, что почтенные отличные рабочие не понимали этого... Им бы остаться после смены, последить, как новую деталь будут осваивать, ведь и самим придется над новой деталью потом корпеть. Так — нет, они не могут остаться, им хочется скорей домой. В дни войны, — рассуждаю я, — цех мой главней дома моего. В цехе вся моя жизнь проходит... Можно быть отличным рабочим в мирное время, а сейчас в дни войны — сдать. Если смелости в тебе нет, опять будешь терять и государственный план нарушать.

Однажды дали нам троем: Василию Степановичу, Петру Малюю и мне освоить новую деталь. Деталь сложная, к сердцу машины относится. Василию Степановичу, как старшему поколению, дали ковать первому. Делал он медленно, и все-таки получились у него трещины на металле и деталь забраковали. Принял я смену, стал ковать. Испробовал его способ, не вышло и у меня — значит, способ плохой. — Правильное освоение с самого начала — это, прямо вам скажу, художественное дело: тут воображение должно играть и смелость... Увидел я, что в процессе работы два главных момента: надо хорошо вытянуть концы и учесть усадку металла. Но это еще не все — надо уметь инструмент подобрать. Это тоже художественное дело... На много горе-мастера тошно смотреть: то схватит, другое, третье... Да ведь ковка, товарищи дорогие, это тебе не щи варить в печи, да ухватками греметь, туда-сюда бросаться, это же — государственное дело... Так вот, я деталь освоил, нас с Петром Малеем похвалили, а я сказал: «не только в том суть, что — детали мы дали четыре, а в том, что их перделывать не пришлось, ведь сталь-то легированная, драгоценный металл.

— А что вам еще удалось выжать из нашего молота, Тимофей Лукьянович?

— Да... Вот что еще я выжал: нагрузку... Оказалось после проверки, что наша пятитонка — этот колоссальный механизм, в мирное время не была загружена так, как это требовалось по ее мощности. Наш молот иногда работал вхолостую.

— Как же так... ведь молот бил по металлу?

— Да ведь, как бить? Били, например, три-четыре раза, а нужно было ударить только один — разьединственный раз!.. Я взял под контроль удары молота — и какая интересная математика получилась... Уменьшили мы в три раза число ударов молота — и в три раза больше деталей делать стали! А было и такое: те самые детали, которых мы делали по 4 за смену, теперь обратились в 18 деталей, т. е. в четыре с половиной раза больше...

Ну, а затем я стал выжимать время из некоторых наших «мирных» привычек. До войны в обычае было: «пойдем, ребята, покурим?» Сосчитал я эти безгрешные минуты — а ведь их за смену порядочно наберется... «Товарищи, а как вы думаете: бойцам во время битвы есть время на перекурку?» Ага, нет. Ну так и нам — нет. Попряхтели да и согласились со мной... Так. Выжимать можно не только из самой машины, но и из того, что с ее работой связано.

Возьмите нагрев. Я уже писал в своей статье «Втрое производительней» — читали вы ее? — я писал, что металл перегревать не следует. И здесь я выжал лишний козырь для своего участка. Конечно, и тут без смелости никак нельзя обойтись. В начале января 1942 года двум бригадам — моей и Петра Малюю приказано было сделать по двадцать деталей за смену. Стали мы ковать, зашпела работа... и — вдруг...

Подвижное лицо Олейникова, словно вновь все переживая, вдруг выразило такую яростную досаду, большие его руки так бурно вскинулись над столом, готовые с грохотом обрушиться на него, что жена испуганно поднялась со стула:

— Шш... вот вояка. Ребенка разбудить.

Кузнец спохватился, лицо его приняло на миг смущенное и нежное выражение. Он прижал к груди своей большие непокорные руки, и ярость пережитого волнения опять задылала в его глазах.

— Да... и вдруг прекращается ток, электроэнергия выдохлась, чорт бы ее побрал — такая пакость иногда случается в нашем электрохозяйстве. На целых полчаса зарядила эта чертовщина — нет тока. Страшное волнение нас охватило; штука ли, полчаса по-

терять, когда до конца смены остается всего полтора часа. А ну, смелее. Давай, ребята, за один нагрев будем делать две штуки... Технологи нас этому не учили, мы сами дерзнули... И ведь сделали — не только двадцать, а даже тридцать штук за смену... Отсюда ясная мысль: если мы окончательно освоим две детали за один нагрев, то сможем давать... и сорок деталей за смену.

Он загадочно улыбнулся, и его быстрые глаза вдруг мечтательно «сощурились». — Н-да-а.. сорок. А впрочем еще посмотрим... Скоро вы еще услышите кое-какие новости.

Олейников прошелся по комнате, словно разминаясь перед разбером, и на его лице ясно было написано: «да-с, пока я больше ничего не скажу».

— Сейчас пусть пока моя Александра Александровна порасскажет, — и он ласково кивнул жене. — Семья-то мы семья, однако, у моей жены и своя трудовая биография есть.

\* \* \*

От малоземелья и беспощадных волжских суховеев родители Шуры, когда ей было два года, решили переселиться в Аermoлинскую область. Родными местами стали теперь степная деревня с низенькими саманными домиками и неоглядная степь. Весной степь покрывалась высокими травами, и светлая головенка Шуры пропадала в зеленом волнующемся море. Девочка шла, раздвигая рукой травы и вслушиваясь в их тихий шелест. Все кругом цвело. Красные и розовые маки, желтая полевая редька, малиновая гвоздичка, сиреневые и синие колокольчики пестрели и светлились в траве, а сладкий медвяный запах был так густ, что, казалось, пить его и все не можешь напиться. Жаворонки взвивались в небо, пронзая теплый голубой воздух своим шелканьем, свистом и певучими перекличками. И солнце, казалось, тоже пело, и весь мир вокруг Шуры пел и таял в сиянии степного весеннего дня. Да, лучше степи тогда ничего на свете не было.

Еще не успела наступить жара, а ребячьим лицам уж покрыло веселым шафранным загаром, который к концу лета становился дымно-коричневым. «Батюшки-светы, словно вас кто над огнем коптил!» — ворчали и смеялись матери. Летом степь желтела, и под палящим солнцем досыхали только мертвые ковыли.

Осенью степь становилась голой, рыжей, как и все впрочем рыжело вокруг: саманные дома, широкая дорога и пыль над ней, верблюжий стада и небо, низкое, тяжелое, к дождям. Овечьи стада, толпясь на дороге, поднимали рыжую пыль, которая закрывала и

без того кислое, бледное солнце. Но и в эту тоскливую пору Шура любила степь. Бескрайним привольем дышала рыжая степная земля; на десятки километров все было видно вокруг и человек, идущий по дороге, шел той легкой и свободной поступью, какая бывает только в степи. Темнорыжие верблюды лежали в пыли, подняв к небу бородастые надменные морды и, казалось, важно озирали этот голый простор, где ничего не было кроме пропыленных колючих метелок чебреца и полыни. В их терпком запахе будто все еще живут весенние ароматы и солнечное пламя.

И зимой для Шуры ничего не было на свете лучше степного простора: снега лежали ровным шатилом, празднично искрась на солнце и морозная тишина казалась особенно торжественной и величавой.

Наверное, эта привычка по-своему чувствовать степную тишину и приволье воспиталась в характере Шуры сосредоточенность, задумчивость, неторопливую мягкость движений. Она быстро научилась читать и сразу полюбила книгу. В радостной озабоченности безжала она утром в школу, боясь опоздать или пропустить что-нибудь интересное. Она всегда удивлялась старшей сестре, которая даже жаловалась, что ее «слишком гонят в школу» — ну, как это можно тяготиться ученьем?.. Сестра вышла замуж и недолгое ученье Шуры кончилось: теперь она должна была прятать в глухие зимние вечера.

Детская рука сучила нитку, а книга лежала рядом. Временами рука забывала о питье, неутомимые детские глаза впивались в четкие строки крупного шрифта, и каждая буква словно глядела по своему, как живая — «в некотором царстве, в некотором государстве»... Оно было где-то очень далеко и всегда представлялось Шуре бескрайним как степь.

— Ты что притихла? — прикрикнет бывало мать. — Ленишься вздумала? Пряди, пряди, девка, нечего там забавляться.

Домашнее сиденье — до поры, до времени. В степи жизнь вольнее и проще, песни звонче, хоромы веселее.

С дальнего конца Нижней улицы приходил на гулянье Тимофей Олейников, сухощавый, сильный веселый парень. Немного дней прошло, как он и Шура стали ходить рука об руку. Он был шумливый, смеялся раскатисто, любил пошутить, подразнить. Она тихая, немногословная, с застенчивым взглядом серых глаз и мягкой улыбкой.

Иногда Тимофей запаздывал на свиданье и Шура обижалась. Обиду как и радость она таила глубоко, замыкалась в себе и прекращала всякие разговоры с Тимофеем.

— Ах, вот как, — вспыхивал он. — И мы тоже можем форс показать.

Скоро он появлялся на улице, рука об руку с другой девицей.

— Ладно, коли так, — тихонько вспыхивала Шура, — и скоро вся улица видела ее тоже с другим парнем.

Но долго так Тимофей вынести не мог, винылся, казнился.

После размовки он говорил Шуре, сжимая ее теплую руку:

— Что это, право, ссоримся мы с тобой?

— Видно, прилаживаемся друг к дружке, — полусерьезно, полуплутиливо отвечала она.

Вновь провинившись перед ней и не желая сразу признаться в этом, Тимофей даже принимался грозить:

— Ужо, погоди, разладится у нас с тобой.

Но, решив жениться, он выбрал только ее. Сыграли свадьбу, и молодые зажили дружно.

Весной 1931 года Олейниковы приехали на Уралмаш. Они увидели огромное поле стройки, взорванные глыбы земли и камня, выкорчеванные деревья, горы песка и щебня, гигантские железные остовы будущих корпусов — и прохот, визг, гудки паровозов на узкоколейке и потому, как им показалось сразу, — полная и страшная неразбериха, в которой человек терялся как иголка в вазу сена.

Квалификации у супругов никакой не было. Они стали работать как чернорабочие по укладке железнодорожного пути, той самой ветки, что идет к торфяному болоту и Пышме. Ветка росла просто на глазах, да и все вокруг росло быстро, потому что все здесь спешило, все соревновались друг с другом, кто может сделать работу еще быстрее. И Олейниковы стали соревноваться.

— Чем мы хуже людей? — повторяла Шура и со строгим лицом тянулась увидеть свою фамилию в списке ударников, выполнивших и перевыполнивших норму. Если против ее фамилии цифра выработки была больше, чем вчера, губы женщины трогала удовлетворенная улыбка.

Но ей было здесь тяжело, она была недовольна, что приехала на Урал. Больше всего ей не доставало вольного степного простора. Лес пугал и тяготил ее. Она взглядывала на мохнатые навесы сосен и грустно отворачивалась:

— Мрак-то какой — неба не видать... Ох, не поживется нам здесь, Тимофей.

Когда родители Шуры переехали на житье в Башкирию, к брату, который работал доменщиком на большом заводе, Олейниковы тоже решили переехать туда.

— Не пожелось, — думала Шура, смот-

ря, как ей казалось тогда, в последний раз на острозубые стены уральских лесов. — Не по нас она, здешняя местность. Неба не видать, с тоски тут помрешь.

Когда Тимофей ушел в армию, Шура решила поступить на завод, хотя многие отговаривали ее от этого шага.

— Ты, Александра Александровна, полетче бы себе работку выбирала. Можно ведь в люди пойти, по хозяйству служить: пицца и квартира готовые.

Но Александра Александровна совсем не хотела идти в люди. Она знала какая жизнь была у ее мужа, когда он батрачил у кулака Урюпина: бедняга даже грамоте не выучился.

— Да ведь то кулаки — сравнивать нельзя, — возражали ей, — а ты ведь у советских людей будешь жить — инженеры или служащие, у хороших людей будешь жить.

— Ни в какие люди не пойду я, — отвечала молодая женщина. За эти дни раздумья она не раз вспоминала, как работала на строительной площадке Уралмаша, как изо дня в день видела железнодорожную ветку, которая становилась все длиннее и длиннее, — она, Шура Олейникова строила ее. Она вспоминала, как ее руки научились толкать вагонетку с балластом для укладки железнодорожных шпал, — и как она гордилась своими первыми успехами ударницы.

Олейникова поступила чернорабочей в прокатный цех.

Работа у нее была несложная, она быстро освоила ее, а сама все приглядывалась к производству. Ей нравилось следить, как раскаленная болванка идет сначала в обжим, а потом, все удлиняясь и утончаясь — из одного стана в другой, как огненной змеей выползает она на пол, а люди, ловкие, бойкие и еще более быстрые, чем эта огненная змея, схватывают ее в клещи — и вот, наконец, проволока выходит из мелкокалиберного стана, яркорыжая тонкая, как шелковый шнур и идет на металлургический завод.

Еще не успела катушка остыть после накала 1000—1100°, как тележка уже увозит тяжелый моток. Вес такой катушки от шести до восьми пудов, да к этому еще вес железной тележки, а везти надо ходко — жаром так и обдаёт лицо и руки.

— Ох, товарищ Олейников, трудно тебе — соль с тебя не сходит, — скажет ей кто-нибудь, взглянув на нее, разгоряченную, облившуюся потом. Она только чуть усмехнется — действительно, соль не сходила с нее, но ни разу не появилась у ней мысль бросить завод, Шура уже не могла жить без завода.

Иногда во сне ей снилась степь, то пестрая и пышная, в внешнем своем цветении,

то пыльная, рыжая, как верблюжья шерсть. Но степной простор уже не казался ей самым лучшим местом на свете. Александра Олейникова уже не могла себе представить, как она стала бы жить в низенькой кате, видеть изо дня в день одну и ту же равнину, которая теперь казалась ей слишком плоской и даже безрадостной.

Два года проработала Олейникова на моталке, а в 1936 году, против всякого ожидания, очутилась опять на Уралмаше.

Но, едва вступив на заводскую землю, Олейникова радостно изумилась. Да неужели они с Тимофеем работали пять лет назад на этой вот площадке, где среди всякого корчевья, канав и песка просто ступить было невозможно, где люди не ходили, а карабкались; да неужели это оно, неприветливое лесное место?

Олейникова радостно озидала обширную Площадь первой пятилетки, окруженную высокими каменными домами. Через пять лет она критически скажет о них: «однообразные коробки», но в 1936 году, в минуту своей новой встречи с заводом, она подумала с гордостью: — «все-таки и мы тут поработали». Ей только было очень жаль, что не довелось увидеть, как вырастал этот новый город.

За высокой стрельчатой оградой она увидела могучие заводские «коробки». Стекланые гребни их крыш будто плавилась на солнце. Трубы гордо глядели в небо, и янтарно-желтый дым поднимался к облакам.

Слушая глухой шум цехов, Олейникова долго глядела на заводские корпуса. Жмурясь на солнце из-под щитка ладони, она жадно оглядывала все и вокруг завода. «А железная-то дорога, что мы строили, ведь прямо к цехам прошла», радостно отметила она.

Ей доставляло невыразимое удовольствие смотреть на молодые деревья, опушенные мелкими глянцевыми листочками, ее умилял изумрудный бобрик газонов — оказывается, траву можно подстригать как волосы на детской головке.

С уважением смотрела Олейникова на темносерое железобетонное здание заводоуправления. Вечерами, освещенное множеством огней, оно казалось сквозным и легким.

На гулянье в Парке культуры и отдыха муж угощал Шуру чаем и пирогами. На танцевальной площадке кружились десятки пар, играла музыка. Все танцующие казались Шуру удивительно легкими и красивыми и ей хотелось так же легко и плавно двигаться в танце.

— Давай, спляшем, — предлагал Тимофей.

Но тут Шура заупрямилась: нет, ей, — матери семейства, уже поздновато учиться танцам, а вот одеваться надо, конечно, по-

лучше, чем она. — Для этого я еще молодая, — застенчиво объяснила она.

— Ого-го — выразительно согласился Тимофей.

Дома она придирчиво осмотрела все свои платья и — хватя — укоротила их чуть не на четверть метра.

— Замечаешь? — спросила она мужа, показывая ему открытые выше шиколоток ноги. — Теперь так носят, понял?

По сменить одежду — полдела. На этой, еще недавно такой грубой, изрытой ямами и канавами, теперь так неузнаваемо изменившейся земле, жизнь и люди тоже совершенно изменились. Люди, которые построили эти широкие улицы, взрастили эти деревья и, кажется, обновили даже и воздух, — прежде всего обновили самих себя.

Степная привычка во все пристально вглядываться здесь особенно помогала Шуру в ее наблюдениях над людьми: Как правило, это был народ уверенный в себе и своем значении для завода. И пожилые, и совсем молодые люди по-хозяйски говорили о заводе, о своем цехе, о своих бригадах, о технике и рационализаторстве.

И ее Тимофей в свободное время на таких беседах становился говорунуем, что ей только оставалось дивиться. Он уже не мог обходиться без газет и книг, полюбил посещать клуб, кино и театр и смело критиковал игру артистов:

— Этот перенпрывает и прямо-таки впечатление портит, а вот этот очень душевно изображает.

Или:

— Этот удал слишком, так в жизни не бывает.

Олейникова понимала, что муж оттого так разговорчив, что много узнал здесь нового для себя и потому осмелел. И Шуру хотелось рассуждать обо всем так же уверенно и научиться выражать свои мысли ясными и вескими словами. Ей к тому же всегда нравились серьезные разговоры о заводской жизни, о технике, о разных общественных событиях, но сама она робела вступать в них — чувствовала себя безоружной. Теперь она проклинала глухой заскорузлый быт степной деревни, нескончаемую пряжу, которая поменяла ей учиться.

— Жизнь стала светлая, а я все темная, — заявила она мужу и поступила на курсы при ликбезе. Закончила их на «отлично» по всем трем предметам: чтение, письмо, арифметика.

— А уж числа то мне особенно легко даются, — восторженно рассказывала она мужу. Она делила, множила, вычитала и с увлечением, которого ей почти не дали испытать

в детстве, следила за изменением чисел и их зависимость друг от друга.

— Раз тебе математика по душе, — не без важности говорил Тимофей, — значит у тебя есть способности к технике. Она, техника, всегда с математикой заодно.

Олейникова и сама считала, что у ней «есть глаз на технику» и теперь, подучившись, она все смелее смотрела на высокие крыши заводских цехов.

— Привыкла я к заводской жизни, тоскую без завода, — призналась она мужу. — Возьми меня к себе в кузнечный цех.

Скоро Тимофей Олейников предложил жене:

— Крановщицей пойдешь?

— Пойду.

Стоило молодой женщине только раз пройти по цехам, чтобы увидеть, насколько же крупнее и совершеннее был кузнечный цех здесь, по сравнению с тем, что она видела на старом металлургическом заводе в Башкирии. Таких мощных кранов и молотов она еще не знала. Поднявшись в будку крана, она с откровенным страхом оглядела крановой механизм.

— Ой, до чего тут все мудрено.

— Самые обыкновенные приборы, — бросила старая крановщица Гурина. Эта опытная и требовательная женщина и должна была научить Олейникову работать на кране.

— Пока смотри, как я работаю, — посоветовала Гурина. — Что не поймешь, спроси.

Но Олейниковой пришлось бы сплошь спрашивать, потому что она ничего не понимала: куда сейчас поедет Гурина, зачем она остановилась над одним участком цеха и миновала другой, как она знает, куда ей надо каждый раз подъехать, что поднять, куда перенести? А может быть, Гурина все знает наизусть, и потому так легко и быстро управляется?

Спрашивать Гурина ей разрешила, но она боялась отвлекать ее от дела, да и хотелось дойти до сути все-таки своим умом. Пять дней, наблюдая спорую и точную работу Гуриной, Олейникова узнала новое, еще не испытанное чувство — зависть. Но ей не стыдно было признаваться себе: «я завидую, ой, как завидую». Это была благородная зависть к мастерству, в которой стремление равнялось нетерпению: скорей бы постигнуть тайны всех этих машинных частей и овладеть ими. Знать в этом сложном механизме все, вплоть до последней шайбы на гайке.

И Олейникова, вслед за объяснениями Гуриной, твердила про себя: «регулятор», «бегуны», «соединительные муфты», «ход моста», «ход тележки», «электромагниты», «редуктор»...

— Что ты там нашептываешь? — наконец уловила Гурина.

— Ты мне столько наговорила, вот я и запоминаю, — смущенно ответила Олейникова.

— Еще не в этом суть, — в суховатой своей манере заметила Гурина, но видно было, что старание ученицы ей нравится. — Вот ты теперь с механизмом ознакомишься, но это еще не все.

И верно: первое же самостоятельное вождение крана показало Олейниковой, что суть дела, конечно, еще не в этом. Для первого самостоятельного «выхода» Гурина предложила ей самое простое задание: собрать обрубки (отходы) болванок и складывать их в ящик.

— Поехали, — сказала себе Шура, и сердце ее спокойно забилося. Кран тронулся, послушный ее воле. «Пдет», — с торжеством шепнула она, глянула вниз и увидела, что все разбегаются в разные стороны.

— Что такое? — испуганно пробормотала она. — Отчего они побежали? Что случилось?

— Не видишь — качка? Посмотри, как клещи-то у тебя качаются... туда-сюда. Люди и разбегаются, головы свои спасают. Знаешь ведь, как клещи с размаху могут людей породовать, — строго разъяснила Гурина.

— А что же делать, чтобы качки не было? — убито спросила Шура. Гурина взглянула на ее бледное, огорченное лицо и сказала мягче:

— Ты спокойнее пускай, а ты словно надрываешься. Вот, смотри.

И кран пошел опять. Крановщица делала как будто совершенно то же самое, что и Шура, но все получалось иначе: цепи, на концах которых держатся клещи, сейчас висели ровно и не только без всякой качки, но даже без дрожи, прерывающейся, как натянутая струна. Потом клещи осторожно зацепили болванку, подняли, понесли по воздуху. А люди внизу, под этой плывущей в воздухе багровой массой, спокойно продолжали заниматься своим делом. Из этого Олейникова извлекла новый и очень важный урок: мастер тот, чьей работе можно абсолютно доверять. От клещей, когда кран ведет Гурина, небось никто и не подумает бежать.

— Выйдет ли у меня? — упавшим голосом сказала Шура.

— Выйдет, — сдержанно утешила ее Гурина. — Ты старательная, из тебя толк будет. Но, говорю тебе, спокойнее берн... Ну!

Олейникова с бьющимся сердцем опять повела кран.

— Лучше уже, лучше, — одобрила Гурина. — Еще спокойнее, ровнее...

Когда Тимофей Олейников заинтересовался, как преуспевает его жена, Гурина ответила тоном опытного педагога, который не привык ошибаться:

— Из этой толк будет.

С каждым днем в новой крановщице обострялось и утончалось новое, особое чувство машины, когда работа механизмов ощущается и на-глаз, и на-слух, как нечто живое, изменчивое, имеющее свои неожиданности и капризы, которые надо знать и уметь предупредить. Оказалось, что и этот сложный механизм, висевший в воздухе, обладает своими слабостями и мелкими дефектами, за которыми надо смотреть в оба. Через месяц, когда Олейникова стала самостоятельно водить кран, она уже многое прочла в нем и научилась бороться с неожиданностями. Время шло, и недавно робкая ученица уже рассказывала мужу:

— Сегодня один мне жаловался, что у него на кране тормоз «не слушается». А ты, — спрашиваю, — часто ли механизм проверяешь? Взять, например, магниты. В магнитах частенько болты выпадают, значит, надо за шпильками следить. А уследить просто: воткнешь ее, шпильку, и болт держится как следует. Да ведь шпильки, говорит, должны электрики вставлять. Э, — говорю, — мало ли что говорят, — ты попробуй, со своего верхогурья, зови да зови электрика-то, дождайся, теряя время золотое. — Да ты лучше сам набери шпильчек в запас и научись сам их вставлять, как я вот делаю — работай себе без помех.

Видя, как у кого-нибудь работа не спорится, она тоном врача советовала: — У тебя на кране масленки не проверены. Надо, чтобы во всех 32 масленках, решительно во всех масла было вдоволь, а то ведь подшипники высыхают и задираются. Оттого у тебя кран стоит, и бригада внизу терзается, и ты сам тоже...

Спокойно и методически накапливая опыт своих наблюдений, крановщица нашла верный способ, как всегда можно видеть свой цех и ясно представлять себе, что на твоём участке происходит, а потому быть всегда наготове в любую минуту подъехать, поднять, пригнести, сложить.

Женщина, парящая над цехом, как птица в своей переносной клетке, научилась представлять себе свой пролет... «как бы в липах». На каждом участке она пересчитала членов всех бригад, запомнила каждого не только в лицо, но по костюму, повадкам, по голосу. Она изучала все шиджаки, цепки, жесты, походки. Она научилась применять,

как кто работает: кто — подлинно оперативно, кто — медлительно, кто — суетливо, кто — ловок, кто — неуклюж. Сообразно этому, она выработала в себе особое чутье, позволяющее заранее определить, как лучше направлять ей ход и операции своего крана.

На одном из четырех участков, которые она обслуживает, у пятитонного молота работает ее муж, кузнец Олейников.

— Ты, Шурка, помнишь, где я нахожусь? — шутит он иногда.

— Конечно, помню, но случается, когда за всеми четырьмя участками следить надо в оба глаза, забываю, что это ты у пятитонки торчишь. — с шутливым простодушием отвечает жена.

Но он снизу всегда видел ее аккуратный, светленький платочек, повязанный вокруг русской головы. Он весело мелькал под высокими, черными от копоти, сводами кузнечного цеха.

— Шурка едет. — улыбался он про себя. И звон ее маленького колокола всегда казался Тимофеем особенно чистым и требовательным. Кузнец вытирал потное, багроворумяное лицо и кричал зычным голосом:

— Давай. Давай.....

Раскаленная деталь, только-что разрезанная им калом, лежит на железных плитах пола. Кран подъехал точно, именно тогда, когда нужно. Он останавливается над двумя пышущими кусками металла. Чуть позвякивая, опускаются цепи, и разъятые клещи нацепиваются на болванку, потом сжимаются вокруг нее, поднимают и несут по воздуху. Олейников иногда взглянет на удаляющийся кран и усмехнется про себя: «хорошо научилась Шурка краном управлять».

Война застала Олейникова уже известной стахановкой.

— Олейникова, крановщица, — говорят о ней в парткоме завода, — мастеровки работает, со своим мужем соревнуется.

Известия с фронтов Отечественной войны первое время потрясали Александру Александровну. Она вела свой кран, но привычке следила за работой на своем пролете, но все у ней внутри ныло и болело. Разум не мирился с мыслью, что фашистские полчища топчут советскую землю, жгут города и села, убивают советских людей, уничтожают советский народ, еще вчера мирный и счастливый.

— Что же это за люди такие страшные, откуда они, какие матери их на свет родили! — ужасалась она, слушая о зверствах фашистов над беззащитными женщинами и детьми. Кроткая и спокойная, она все чаще вспекивала гневом, какого никогда не чув-

стывала в себе раньше: серые глаза загорались, руки сжимались в кулаки. «Бить их надо, извергов подлых, бить смертным боем, чтобы земля под ними пылала...» По ночам ей снились замученные, убитые дети, пожары, несчастья множества людей. Она прыгала радоваться слову: «уничтожено». Пусть, пусть наши бойцы все больше уничтожают фашистских солдат, пушек, танков.

— Наши здорово бьются,—говорил муж и товарищи его поддерживали:

— Наши изматывают немца. Миллионы своей солдатни фашисты оставляют на наших полях.

— Придет время—сдадут их наши так, что они без ума повалятся, да назад покатятся.

Понемногу Олейникова успокоилась. Огромный завод обратился в арсенал, где ковалось оружие для грандиознейшего в истории войн фронта—от Баренцева моря до Черного.

— Вот он, фронт-то как проходит—показывал ей муж по карте.

— Батюшки!—ужасалась она.—Сколько же оружия то надо делать, чтобы во все места его хватило. Как работать-то теперь надо нам всем!

В заводском обиходе появилось слово, перед которым все расступалось, как перед хозяином: «фронт требует!» А в ответ ему появилось такое же краткое, повелительное как клятва: «сделаем!»

— Сделаем,—полюбила повторять Олейникова. Она видела, как с каждым днем все убыстрялась работа на ее пролете. Стахановские нормы, за которые люди еще недавно получали похвалы и премии, теперь никого не удовлетворяли: то было до войны.

Сначала на заводе появились двухсотники, потом трехсотники и четырехсотники. Однажды Олейникова увидела на газетной полосе статью, под которой стояла фамилия ее мужа.

— «Втрое производительней»,—прочла она название статьи.—Вот жеуемный, опять что-то выдумал.

— Ты читай, Шурка, читай внимательно,—посмеивался Тимофей, и его бритое лицо улыбалось.—Ну как, поняла, в чем дело?

— Поняла,—мягко улыбнулась жена.—Ты хочешь сказать: работай старайся, а добро государственного береги. Согласно с тобой, что и электроэнергию надо экономить.

— И еще как. Ведь какое сырье ни возьми, это все драгоценное военное сырье, все для фронта нужно. Вот у меня здесь написано: «...Но давать высокую производительность труда это еще не все. Нужно добиться этого при наименьших затратах, тогда себестоимость снижается. Мы не допускаем лишнего движения кранов, это дает эконо-

мию электроэнергии». Понятно? Кран твой, правда, и до войны особенно гулять не гулял...

— Но об экономии-то, я конечно не думала,—поправила его Шура.

— А теперь думай,—лишний раз ездить нельзя.

— Да я и обойдусь.

Так жизнь военного времени ввела в работу крановщицы новую черту: строгий расчет. Надо было также учесть, что бригада Олейникова решила экономить и расход газа в печи, что печь теперь нагревают так, как это действительно необходимо, а не доводят до перегрева. Учитывала наша крановщица и то, что деталь теперь лишний раз сажать в печь не будет и научилась измерять хождение крана с сокращением движения деталей от печей к молотам и обратно.

— Издержек меньше, а продукции больше,—внушал своей бригаде Олейников. А дома замечал жене:—Ты сегодня, примечая, зря не каталась.

Накануне нового года в цехах читали письмо уральцев вождю народов товарищу Сталину. Олейникова стояла среди притихшей, внимательной толпы и слушала простые доходчивые слова новогоднего письма. Многие во время чтения согласно кивали головами: «каждый из нас, где бы он ни работал, где бы он ни сражался, знал, что Сталин с ним»,—и забывались лишения и мучало сердце, метче бил огонь, и ладилась работа, слышались под сводами цеха гулкие слова. Олейниковой казалось, что Сталин действительно может сейчас слышать, что у них в цехе читают слова, обращенные к нему в Москву, в Кремль. Ей казалось, что Сталин, в знакомой всем серой шинели, стоит на кремлевском крыльце и слышит все, что говорят сейчас кузнецы.

«Мы клянемся, что будем работать, не покладая рук, и, не теряя ни минуты даром, ускорим разгром подлейшего врага».

— Клянемся—повторяла и Александра Олейникова и ей казалось, что еще никогда и никому в жизни не давала она таких обещаний, как сейчас, в новогодний вечер.

— Ну, ребята, клятву мы дали,—сказал Тимофей наутро своей бригаде.—Сами понимаете, как сейчас работать надо.

Стояли морозные дни. Часто, сидя у жарко натопленной печки и укачивая на коленях сынишку, Александра Александровна вспоминала черные высокие своды родного цеха и гулкие слова клятвы свердловцев Сталину.

Все чаще она стала стремиться к трудным заданиям, у ней даже появилась привычка говорить:

— Ну, это простенькая работка... Мне бы что-нибудь потруднее.

Она полюбила дни, когда в ее пролете шли крупные детали. Крап останавливался перед огнедышащей печью, принимая болванки в две тонны и больше.

— Вот это сляточек, — довольно усмехнулась Олейникова. Особым чутьем мастера, влюбленного в свою работу, краповщица чувствует, что раскаленная масса металла крепко сидит в клещах. Она останавливает крап против молота Тимофея Олейникова. Тяжелая деталь, разрезанная на части, расплюснутая богатырским молотом, исходя бешеным жаром, лежит на полу. А бригада Олейникова, передохнув, уже готовится принять ее под удары верной пятитонки.

Двухтонную массу напоенного огнем металла клещи крана мягко, как что-то хрупкое, опускают наземь и принимают части уже разделенной детали. Бросая вокруг медокрасные отсветы, деталь поднимается в воздух.

Тимофей Олейников повелительно машет рукой:

— Давай.

— Олейникова? Краповщица? — говорят о ней. — Да она не только с мужем соревнуется, а случается, и перегоняет его.

Какие новые требования предъявит к ней ее завод, ставший неисчерпаемым арсеналом великого фронта освободительной справедливой борьбы — она не знает. Но одно для нее ясно: за все эти годы она вооружилась не только опытом, но и знаниями, у ней есть крепкая основа, без которой не может жить ни один мастер.

Как неусышный страж на башне, как верный помощник всему своему пролету, стоит Александра Олейникова в своей будке, и крап, неутомимый грузчик металла, ходит то к печам, то к молотам.

— Давай, — слышит она то здесь, то там, — и ее послушная машина несет по назначению тяжеловесные куски металла, всегда раскаленного, всегда огненного, как и воля свободного боевого труда.

\* \* \*

Однажды в конце января Олейников прочел в газете вызов стахановца — лекальщика Чугунова. В ответ на показатели Олейникова в январе — 364% нормы, Чугунов предложил новое задание: к 24-й годовщине РККА он обещает выполнить полугодовую программу, — что может обещать со своей стороны бригада Тимофея Олейникова?

— Померяться силами хочет! Значит, мы в силах ходим, — усмехнулся Олейников. Ему было приятно, что Чугунов, орденно-

сец — один из самых видных на заводе лекальщиков — вызвал его. Но вызов был очень серьезный, и падо было на него с честью ответить.

Олейников положил газету в карман и по дороге на работу обдумывал: если лекальщик обещает к указанному сроку выполнить полугодовую программу, то кузнецам, при их работе, не стыдно ответить пятью месяцами программы.

Вызов Чугунова бригаде прочли все. Жилин, инструментальщик бригады, всегда напористый молодой человек, возвращая газету, спокойно сказал:

— Пять месяцев — это объявить можно. Думаю, вполне справимся.

— Справимся, — поддержал бойкий Брюханов, — даже перевыполнить можем. Остальные высказались в том же духе.

— Так и запишем, — решил Олейников. Надо нам с Чугуновым встретиться, поговорить.

Случай скоро представился. На вечере заводского актива Олейников очутился в президиуме рядом с Чугуновым. До этого дня он не был с ним знаком, но в лицо знал.

Чугунов, тонкий, стройный, на лацкане черного костюма орден — Знак почета.

Оправляя мягко шуршащий галстук, Чугунов улыбнулся Олейникову, как давно знакомому и спросил:

— Что, Олейников, знамя будешь сегодня получать?

— Не знаю, товарищ Чугунов, — схитрил кузнец. До него доходили разговоры о том, что после общезаводского стахановского слета переходящее красное знамя дадут его бригаде, но он привык говорить наверняка только тогда, когда обещанное видел своими глазами.

Вскоре кузнец узнал, что сегодня ему действительно вручат знамя.

Знамя. Оно стояло у стены, мягко и торжественно повиснув вниз своими нарядными складками — с золотыми блестками букв и советского герба. Олейников представил себе, как рука его, привыкшая сжимать кузнечные клещи, сожмет лакированное древо знамени.

Чугунов легким жестом показал Олейникову: пригладь волосы. Олейников взволнованно провел ладонью по своим всегда немного торчащим волосам, и Чугунов опять улыбнулся ему серыми глазами.

— Ну что, знаешь теперь? Очень правильно, что тебе дадут знамя.

Взгляд его светлых глаз показался Олейникову особенно чистым, сияющим добротой и пониманием. Олейников растроганно подумал: «хороший парень, в нем ни капельки



зависти нету», — и кузнецу вдруг захотелось сделать что-то приятное Чугунову. Он шепнул, полный какой-то нежной почтительности к нему, хотя Чугунов по его сведениям, был моложе:

— Посоветуйте, товарищ Чугунов, как мне лучше сегодня выступить? Как скажете, так я и выступлю.

Чугунов улыбнулся ему и шепнул:

— Говорить много не надо — ведь все ясно. Скажи о самом главном. Ну, вот вызов мой ведь ты принимаешь?

— Обязательно.

— Вот об этом и скажи тоже.

Наконец директор завода вручил Олейникову переходящее красное знамя.

— Держи крепко это знамя, товарищ Олейников. Кузнец бережно сжал древяно. Золотая бахрома чуть щекотала его шею. От красного полотнища будто веяло теплым широким дыханием — и оно так властно наполнило собой грудь Олейникова, что захотелось бросить в этот переполненный людьми зал такие слова, каких еще никогда в жизни он не говорил; но вместо этого он произнес короткую речь, слова, которой были самые обыкновенные: он со своей бригадой будет крепко держать это знамя, а в ответ на вызов лекальщика Чугунова он обещает выполнить к 24-й годовщине РККА пятимесячную программу.

На другой день олейниковцы получили от завода премию — пять тысяч рублей. Кассир принес деньги прямо на участок.

— Посмотрите, посмотрите, товарищ кассир, как мы работаем, за что от государства подарки получаем, — шутил Олейников.

Вечером Олейниковы поехали в музкомедию. Шла оперетта «Перикола». Откинувшись на спинку кресла, Олейников читал программу и, по привычке заедлого театрала, радовался знакомым именам:

— Сегодня он опять поет... послушаем — хороший певец. Но мысли, которые волновали сегодня весь день, опять пристушили к нему.

— Знаешь, Шура, а ведь наш начальник цеха мне новую задачу задал.

— Какую?

— В феврале нам надо не по тридцать, а по сорок деталей давать за смену. Серьезное дело... Теперь ведь наша бригада работает под знаком соревнования с Чугуновым. Сегодня я все время думал, как нам лучше ковать — ш, кажется, придумал...

Кузнец вдруг хлопнул себя по лбу, рассмехался и решительно сказал:

— Ладно... Сейчас мы будем «Периколу» слушать... Дай-ка программку, Шура, кто сегодня Периколу поет?

...Перикола, качая завитой головкой и красиво ломая руки, пела:

«О, друг мой, тебя до могилы  
Я буду любить всей душой...»

Под минорную мелодию ее песенки Олейников вдруг почувствовал, что все, что он сегодня рассчитал насчетковки февральских деталей, должно обязательно получиться. «Обязательно выйдет», — повторил он с веселой уверенностью, и, удобно откинувшись в кресле, с еще большим удовольствием отдался зрелищу: он любил музыку, пение, танцы и нарядное мельканье костюмов, ярким, как степные цветы.

Возвращались домой поздно. Народа в трамвае было мало. Сидя напротив жены, кузнец рассказал ей все свои завтрашние планы, и, как часто бывало, ему понадобился ее совет и одобрение.

— Слушай, Шурка, а вот ты сверху какие дефекты в нашей работе за последнее время замечаешь?

— Это верно, что мне сверху все виднее и заметнее. Советую тебе, на заготовку ты Брюханова поставь — очень прыткий и сильный шарен.

— А ведь правильно, Шура, — обрадовался кузнец.

— Ведь Брюханова-то я и не предусмотрел... Ну, похоже, теперь у меня все обдумано — как организовать людей... Он хитро прищурился и добавил:

— ...и как организовать металл.

Утром, как всегда он пришел задолго до начала смены и оглядел свою молодую, крепкую сбитую жизнерадостную бригаду. Все было в порядке, все было на своих местах. Подручный Жилин уже подготовил инструмент для сегодняшнейковки: большие и малые клещи, стальные уголки, квадратик, стальной топорик. Все лежало в образцовом порядке: тот инструмент, что чаще применяется, лежал ближе к бригадиру — Жилин умел считать секунды. Олейников довольно улыбнулся: его школа и в том, как все точно знали свои обязанности и свои места. Когда начнетсяковка, Жилин, как старший подручный, станет справа от бригадира, Брюханов — слева. Сергеев следит за малыми клещами и только за них отвечает — это более сложные клещи и часто применяются в кузнечном процессе. Мельников, молодой подсобный рабочий, станет у больших клещей, которые применяются реже. Фролов и Файзиев займут места у переднего рычага. Машинист Попов и крановщица Гурина тоже будут пацку: от Попова зависит равномерное дыхание молота, а от Гуриной движение крана у молота.

Их девятiero и каждый из них чувствует себя уверенно на своем посту еще и потому, что знает наперед весь процессковки по заданному им плану. В них живет всегда одно стремление, обновляемое новизной деталей, которые они делали для боевых машин — стремление покорять металл. Чертеж детали, который находился в рабочем ящике их бригадира, они представляли себе совершенно конкретно в виде рабочих операций, точных мгновенных движений, смены инструментов, ударов молота и ритма, ритма. Теперь, когда рабочие объявили себя фронтовой бригадой, их подтянутость стала еще строже. Все они были люди разные по характеру, привычкам личной жизни, вкусам и общему развитию, но здесь, на участке, они были одно, единая воля, единый наступательный порыв.

Олейников — коммунист, занимающийся пропагандистской работой в своем пролете, знал, как жадно все они читают газеты, как слушают сводки Советского Информбюро; знал, что успехи наших бесстрашных героев на фронте поднимают еще сильнее дух его товарищей.

Ему известны были самые главные и лучшие их мысли и чувства, которые живут в человеке всегда, как биение его сердца — и все это было отдано войне, борьбе за родину. Они были фронтовая бригада, и слово «бойцы» вполне подходило к ним. Сказать просто «мастер» уже было недостаточно выразительно, а вот «мастер-боец» звучало полновесно, по времени.

Сегодня, перед приближением его смены, Олейников испытывал особое, тревожно-подъемное чувство. Он еще раз придирчиво оглядел свою бригаду, словно ища в знакомых лицах что-то, может быть еще не найденное и не учтенное им, потом, поправил на макушке мягкую шапочку и произнес:

— Скоро приступим, бойцы.

Смена началась. Рыже-розовая болванка остановилась против пятитонного молота. Пошлаковка. С каждым ударом топорика и всей машины молота по раскаленному металлу Олейников видел, что он рассчитал правильно. Очень хорошо получилось и с нагревом слитков. Еще вчера делали так: пока под молотом обрабатывают одну половину болванки, другую волокут в печь. Олейников смело предложил делать это за один нагрев — ведьковка у молота, что рубка в бою, занимает всего 2-3 минуты, и одна половинка вполне может «подждать» другую. Бригадир почти физически ощущал, как берегается время и как благодаря этому нагреву упрощается кузнечный процесс, облегчается работа и берегается человеческая сила. Ковка шла в таком

ровном крепком темпе, что Олейников словно даже и не уставал. Он даже успевал следить за Брюхановым, который великолепно управлялся с заготовкой. С каким-то горделивым хладнокровием он подтаскивал болванку под молот, и раскаленный слиток покорно вползал на неостывающее ложе наковальни.

За час до окончания смены Олейников, вытирая потный лоб, сказал:

— Ну, ребята, похоже по-Мельникову выйдет — сорок деталей уже есть... Мы уже настроились всерьез — грохнем, что ли, еще парочку.

К концу смены бригада Олейникова выдала сорок две детали.

— Вот, Павел Григорьевич, — говорил кузнец начальнику цеха. — Помните, вы мне сказали: «премирую тебя тысячью рублей, только дай сорок деталей для фронта». А я вам тогда ответил: «не в тысяче рублей дело, а в том, чтобы хоть раз, хоть однажды сделать. Вот мы и сделали однажды... плюс две детали еще».

Пожалуй, веселее всех плескались в душевой в тот вечер олейниковцы. Вспоминали, как во времяковки к ним на участок, не утерпев, подходили товарищи из соседних бригад и смотрели на их работу как на хорошо слаженный спектакль.

— Только артистам на вызовы некогда было выходить, — пьеса шла очень уж горячая.

22 февраля, накануне 24-й годовщины РККА, бригада Олейникова выполнила с честью пятимесячную программу 1942 года.

Утром 23 февраля Олейниковы услышали по радио приказ Наркома обороны товарища Сталина.

— Слушай, Александра, а ведь приказ нас с тобой прямо так и касается, — обратился к жене Олейников... — Как о военной-то промышленности Сталин сказал. А ведь военная-то промышленность — это мы с тобой. Работай, старайся да не усюкашвайся — вот оно что. Разве мы могли думать в прошлом году, что в феврале 1942 года мы дадим продукцию уже за май месяц... Если ты мастер и душа в тебе горит, может ли быть для тебя что-нибудь невозможное?

Вскоре в заводской газете появилась заметка Тимофея Олейникова: «Приказ о б р а щ е н к н а м , б о й ц а м т ы л а».

Кузнец не любил останавливаться на полпути: слово Сталина опять обязывало его к новым трудовым подвигам. Вместе с Чугуновым они написали вызов ко всем стахановцам завода, который подписали кузнец-бригадир, орденосеи Коваленко, и бригадир девушек-электросварщиц, Феликса Гржибовская.

Каждый из подписавших вызов обещал выполнить к 1 мая 1942 года:

Чугунов и Коваленко — годовую программу.

Олейников — программу за 10 месяцев.

Гржибовская — программу за 7 месяцев.

— Нет, еще мало! — сказал Олейников своей бригаде. — Прибавим еще, товарищи, к 1 июня дадим годовую программу!

Как полководец, он оглядел свое маленькое крепкое войско и повторил:

— Ничего невозможного нет — дадим!

.....

Вскоре после того, как бригада Олейникова получила переходящее красное знамя, я спросила кузнеца, надеется ли он удержать это знамя до конца войны, как было сказано в пожеланиях ему в момент получения этой награды?

— До конца войны? — вдумчиво повторил он. — Гм... Сказать по правде до конца войны — не надеюсь удержать знамя.

— Ну, а на более или менее продолжительный срок?

— В пожеланиях приятно на самое большое замануться, да ведь жизнь не только по слову шагает, а и по силе, — немного загадочно продолжал он. — Опять же, скажу вам по правде, — и на продолжительный срок не надеюсь знамя в своей бригаде удержать. Да и трудно, а пожалуй и невозможно на это надеяться.

— Почему?

— Потому, что все новые люди выдвигаются... До войны кто-нибудь совсем незаметным был, а тут, смотришь, разошелся человек — и в первый ряд вышел. И каждый ведь со своим рекордом вперед выходит — выше того, что было вчера. Ведь в тысячах людей одна мысль бьется: как бы лучше да больше, да скорее сделать. Скажем, такой человек завоюет переходящее знамя, скажем, мне придется вручить знамя в его руки. Конечно, мне вроде бы горько красное знамя из своей в чужую бригаду отдавать, но по сути дела рассудить: все бригады наши, общие, все от одного заводского корня, как и завод наш общий, наш, мой завод — так что обида или там расстройство просто мелочь.

Он решительно отмахнулся, и вдруг его круто брошенные к носу вихрастые брови весело задвигались.

— Теперь, смотрите, что может получиться: присматриваясь к работе того, кому я знамя передам (вдруг это кузнец будет), я свой опыт расширю, заиграют во мне всякие мысли и предположения — и, глядь-поглядь, нашел я новые внутренние ресурсы и опять какое-нибудь улучшение придумал. И опять красное знамя очутится в моей бригаде.

— А потом кто-нибудь, изучив ваш новый опыт...

— Опередит меня в чем-то и примет от меня красное знамя. Нормально. Хороший кругооборот, ей-ей... А кроме всего и то подумать: если бы я или кто-другой все время знамя у себя держали, то выходило бы, что жизнь наша топчется на месте, а кому она такая нужна, верно?.. Нашей заводской жизни ба-альшой размах требуется и такое движение, чтобы все в нас ходило да играло, тогда и выработка вперед идет, и мастерство в нас не погасает. Мы заводу славу создаем, а он нам — обоюдно... А вообще то говоря, слава...

Он не закончил своей мысли и на миг задумался о чем-то, — а потом разговор наш перешел на другое. Что именно он хотел прибавить к сказанным уже словам касательно славы, не знаю, да это, пожалуй, и не волнует меня. Главное он выразил. Может быть, он хотел развить свою мысль о неизбежности появления все новых мастеров, которые могут крепко перегнуть его, одного из прославленных кузнецов завода. Кто бы и на какой бы срок ни перегнул его, трудовой пыл его не может погаснуть, как огонь на маяке. Этот бывший постушенок, житель глухой степной деревни, поднятый советской жизнью, попял основное ее требование — движение вперед, неустанное расширение своих возможностей и пределов. И опыт для него — движение, в котором каждый новый шаг вперед так же органически связан с предыдущими завоеваниями опыта.

Урал

# Иван Грозный

Роман

(Книга I-я «Москва в походе»)

## ЧАСТЬ ВТОРАЯ

### I

Давно Москва не видела такой вьюги: снежные вихри сокрушительным потоком неслись по кривым посадским улочкам, срывая соломенные и тесовые кровли, ломая деревья, засыпая снегом бревенчатые стены строений, заборы, мосты, сторожевые вышки.

Съехавшиеся из разных уездов волжские люди с трудом пробивались сквозь снежную муть бурана.

Приказ царя явиться из поместий «конными, людными и оружными» выполнил и боярин Колычев.

Закутавшись в меховую доху, он всю дорогу дремал в удобном, обитом лосевою шкурою возе, и только на окраине Москвы, проклиная войну, вьюгу и новые порядки, вылез наружу и велел подать ему коня. С трудом взобрался на него, ворча сторбился в седле, съезжился от холода. Хриплым голосом крикнул, чтобы в арчаку седла привязали маленький набат. Там, что бы ни было, а боярский обычай соблюсти надо. Позор — ехать боярину через толпу, не разгоняя ее, не давая ударами в набат знать о себе, о своем великом чине.

Позади Колычева несколько саеней с оружием, броней, латами, едой. За обозом на побелевших от инея конях следовала дружина. Верный слуга Колычева, Дмитрий, к делу и не к делу покрикивал на отстающих. Иногда подъезжал к развальням и подозрительно поглядывал на мужиков, сопровождавших обоз. Ведь там, под рогожами, битая

птица, вареное мясо, кадушки масла, меда, каравай хлеба, сухари.

Вступая в Москву, Колычев и все его люди набожно помолились.

— Господи, господи! Узри мучения раба твоего Никиты! — прошептал Колычев, задыхаясь от порывов ветра.

Одно утепало: дружинники его — мужики дородные, отчаянные — авось, отстоят, коли боярин в беду попадет. И оружие — дай бог каждому! В новеньких, обшитых лосиной кожей саадаках луки крепкие, тугие, и стрелы легкие с острыми железными наконечниками: есть копья и даже одна пищаль. Турские и казацкие сабли — у всех. Пятеро в латах, семеро в кольчугах, десяток в теплых. У всех — наручи, на головах шлемы и железные шапки. Чего же еще?! Порадел «батюшке-царю» сколь сил хватило. В дальние места посылал за железом и саблями. Не мало своей казны порастряс на то дело. «Лучше было бы откупиться, — раздумывал Никита Борисыч, — да как это можно?! Никакие деньги не помогут! Ах, Агриппинушка!.. Бог ведает, что с ней теперь?! Тяжелой оставил ее. Без меня, гляди, и долгожданное дитя народится!.. И увижу ли я то дитя, благодатию господнею ниспосланное за мою великую любовь к Агриппинушке?!».

Грызет раскаянье: «Все так много и так часто упрекал ее «за постыдное неплodство»! Бедная, горькая лебедушка! Прости! Обижал я тебя, сомневался, скаредными словесами во хмелю обзывал?! Эх, какие все бабы несчастные!»

Чем дальше оставалась позади родная вотчина, тем виноватее чувствовал себя боярин Колычев перед женой, и час от часа сильнее становился страх его перед будущим.

Повернув коня, боярин с растерянным ви-

<sup>1</sup> Продолжение, см. «Октябрь» № 5—6, 1942 г.

дом пропустил мимо себя обоз и конную челядь: смогут ли его люди защитить его? .

Из-под косматых малахаев невесело глянули на него глаза ратников.

— Зазябли, братцы?—приветливо спросил он.

— Не! Ничаво!—равнодушно прогудело в ответ.

Колычеву ответ показался недружелюбным. Всю дорогу он старался быть со своими людьми ласковым, заботливым, не как в усадьбе, и вот подишь ты! Скрепя сердце, одаришь их добрым словом, а вместо спасибо: «ничаво!» Вот тут и надейся на них! А как не кормить?! Уж если возьмет голод, тогда и вовсе появится голод. На войне холоп молчать не станет. «О, война!—размышлял охваченный тревогой Колычев.—Страшна ты боярину не токмо врагом, но и рабом!»

Снег слепил глаза. Буря оглушала внезапными порывами, даже думать становилось трудно. Обозные кони увязали, и всадникам приходилось слезать с коней, вытаскивать сапи из сугробов.

В эти промежутки Колычев доставал из кожаного мешка, висевшего у него сбоку, баклажку с вином и, перекрестившись, прикладывался к ней с особым прилежанием, пока не успокаивалось тоскующее нутро. Неторопливо затем убирал Колычев баклажку снова в сумку и долго после того причмокивал и облизывался: «Господь бог не забывает рабов своих!»—отмахиваясь от снежных комьев бурана, вздыхал он.

На большой дороге в Скородоме стало легче. Путь пошел утоптаннее, уезжаннее. Виделись следы многих коней, солома кружилась в воздухе, рубцы полозьев проглядывали местами сквозь наметы снега.

До слуха вдруг откуда-то издалека, вместе с порывом ветра, долетел грохот пушечного выстрела.

Колычев икнул, почесал затылок: мурашки пробежали по телу.

Встречные одинокие всадники пронеслись мимо, не кланяясь,—видимо, царские гонцы. Простой народ останавливался, отвешивал поклоны боярину. Колычев снисходительно кивал головою в ответ. На Земляном Валу, предчувствуя близость Кремля, он остановил свой обоз. Крикнул, что было мочи:

— Тяпись! Пряжись! В бока не сдавайсь! Бопья не клони!..

Объехал своих людей, остался доволен. Царь любит порядок. Глаз его зорек. Неровен час—оплошность какая! Беда! Не токмо боярином,—не быть тогда и звонарем, и пономарем, пропадай тогда головушка! Весь в своего деда. Покойный Иван Василье-

вич Третий тоже крут был. Не попусту прозвали его «Грозным»<sup>1</sup>.

У Покровских ворот стража преградила путь. Из сторожевой избы вылез боярин. Поклонился Колычеву. Тот ему.

— Бог спасет!

— Спаси Христос!

Подскачили люди, помогли Колычеву слезть с коня. Круглый, как шар, в косматом тулупе, Колычев облобызался с боярином. Старые друзья! Князь Семен Ростовский да Никита Колычев в Казанском походе в ертоульном полку<sup>2</sup> служили. Однажды князь Семен спас Колычева от татарского ятагана. Дружба старинная!

— Войди-ка, погрейся...—сказал Ростовский, ведя под-руку Никиту Борисыча в сторожевую избу.

— А вы обождите, не ходите куда!—пихнул князь в грудь одного из стрелецких людей, хотевшего войти в избу.

Когда Колычев и князь Ростовский остались одни, оба сели на лавки друг против друга. От волнеья они не могли промолвить и слова. Слезы покатались у них по щекам.

— Семен... князюшка!—плаксиво воскликнул Колычев.

— Никита... друг!—рыдая, произнес Ростовский.

Оба в отчаянии мотнули головами, не в силах продолжать дальше.

— Давай помолимся!—порывисто стал на колени Ростовский. Колычев мягко скатился на пол. Горький шопот полился из их уст.

Молитва немного успокоила обоих. Вытерли слезы. Сели друг против друга.

— Так это что же такое, куманек?! Опять капель на нашу плешь?! То на царя переконского, то на татар ногайских, то на царя казанского, а ныне на кого?—простонал Колычев.

— На магестера Ливонского... на немчина...

— Пошто он нам? Пошто,—туда его бес?! Иль мало нам своей свары?! Иль нехватает нам земли?!

— Наш блажной Дема же любит сидеть дома. О море, вишь, возалкал. В реках да озерах мало ему воды.

— Што ж паши-то молчат?! Бнязь Андрей Михайлович, поди, в чести у него? Што же он?! Сильвеструшка. Олешка Адашев?!

— Прямиквое слово, что рогатина... Не

<sup>1</sup> Иоанн III был прозван боярами «Грозный».

<sup>2</sup> Ертоульный полк—отряд легкой конницы, шедший впереди войска. Нечто вроде разведчиков. Введен в русское войска со времен Иоанна III.

слушает никого царь! — князь Ростовский тяжело вздохнул, — болей, ведь, да вон видишь, таких и смерть не берет... Живучи, осподь с ними. А уж на что бы лучше нам Владимира-то Андренча!.. А?!

— Да нешто такого похоронишь? Суховат. Жилист. Могуч.

— А как там, Петька, нижегородский наместник? Видел ли?

— Властвует, — усмехнулся Колычев. — Девоч портит. Плотно наделен нештовою. Там у нас свои цари... своя воля... Поклон шлет он Курбскому.

— Говорил ты с ним?!

— То ж одно, как и мы. Плюется, клянет новины. А народ так и прет к нему. На брань просятся... Худородные носы задрали. Вбеленились бесы и у нас в лесе. Пзгога опасная у дворян появилась. Не к добру то.

— Сколь ведешь?

— Два десятка мужичья с двумя. Вуде! Просилось боле того. Да куды их! Мне на шею?! И то — двумя более положенного.

— Под кого станешь?

— Меньше Данилки Романова да Басманова Алешки мне быть невместно. Мои родичи нигде ниже оных выскочек не стояли. В древности ихние деды по запечью сидели, а мои в бою бились...

— Ну, веди!.. Неровен час... Слушальщиков много у него. Никому верить нельзя. Осподь с тобой!

Оба вышли на волю.

— Эй, Агап, отворяй ворота!..

Колычев со всем своим обозом и ратнбамми медленю проследовал дальше по улице в Битый-город.

Время перевалило за полдень.

Теперь стало ясно слышно кремлевский благовест. Народ по улицам бродил толпами. У многих в руках рогатины, копья. Повсюду стрелянные<sup>1</sup> стрелы в красных охабах. Вид деловой, озабоченный. Наводят порядок на площадях.

Буран утомился. Просветлело. Лишь слегка выжило.

Стало видно Кремль, грозные каменные стены с бойницами, главы соборов, Фроловскую, Никольскую и другие башни.

Колычеву вспомнилось детство. Оно прошло в Москве. Было время, когда жил беззаботно. Катался по улицам в нарядных санях, запряженных цугом. На Воробьевы горы и в окрестные рощи, да в монастырь всей семьей ездили под охраной стаи конных холопов. Отец Никиты — Борис Колычев — никогда никого не боялся. На все у него была своя воля. Незнаком ему был страх. Иван Третий любил его.

И возрадовалось и встревожилось сердце боярина, когда прошлое поднялось в памяти. Москва, широко раскинувшаяся на горах и в долинах со своим каменным златоглавым Кремлем, с просторными, заботливо изукрашенными резьбой арками, переходами и башенками, и хорами, и дворами, была так дорога, так близка сердцу Никиты Борисыча, что он не мог не всплакнуть. Отец в былые время твердил ему, что Москва подобна Риму, что стоит она на семи холмах, что Москва — святой город и будет вечным городом. Москва будет превыше всех городов?! Так много воспоминаний будят все эти сады и домики, по склонам гор и холмов сбегающие вниз; ямы, овраги, нестрые городища, поля, полянки, кулижки, студенцы, пруды, сушошавы или сущевы, болота, лужники и всякие иные местечки!

Все это радовало боярина Никиту, одно удручало: растет, богатеет Москва, крепнет в ней царское самоуправство, а иные славные города, гнезда удельных князей, и даже Новгород Великий и Псков теряют уже свою силу и власть и становятся вотчинами московского великого князя и царя всея Руси.

Поневоле призадумался: надо ли радоваться этому благоденствию Москвы?

Только десять лет прошло с той поры, как она пострадала от большого, невиданной силы, пожара, и вот опять повсеместно выросли новые дворцы, церкви, терема, избы, а в них набилась какие-то новые люди. Лишь изредка развалины сгоревших домов напоминают о пожаре, о старой жизни.

На Красной площади Колычев встретил еще одного своего старого товарища — князя Пронского, низкорослого, носатого старика. Слезли оба с коней, низко поклонились один другому, троекратно облобызались и со слезами в глазах смиренно поделились своими тайными мыслями о начатой царем войне с Ливонией.

Князь Пронский тоже расспросил про нижегородского наместника и про нижегородских вотчинников: как-де судят они о новой войне, а потом шопотом посоветовал сходить к князю Михаилу Репнину.

Никита Борисыч с особым удовольствием поведал старому другу, что на Волге никто из вотчинников и сам наместник войну не одобряют. Все — против. Одно худородное дворянство, да дьяки чему-то радуются. Радуются тому, что-де вольности будет боле, надеются землишки себе понабрать: из-под боярского надзора повылезти, стать в войске в один ряд с вельможами, пить вино из одних сосудов, молиться одним же иконам, дышать одним воздухом в крепостях и в шатрах. Вотчинникам и во сне не грезилась придуманная

<sup>1</sup> Верховые стрелы.

царем война. Не светило, не грело, да вдруг и припекло.

Поохали, повздыхали. Шумно сорвалась с деревьев стая воронья — напугала. Разошлись.

Никита Борисыч повел свое войско в Разряд, чтобы разведать: где и к какому полку пристать, и куда двигаться дальше.

На Красной площади можно было сразу почувствовать близость войны. Среди столпившихся подвод, людей с трудом пробивались вооруженные с ног до головы всадники. Колычев, чтобы расчистить себе путь, неистово колотил в набат. Толпы посадских, монахов и мужиков в страхе шарахались в стороны. От людей и от коней исходил пар, пахло овчиной, потом, конским навозом... Из-под косматых шапок и треугов на боярина Колычева смотрели, как ему казалось, злые глаза. В этой тесноте и толчее чудесным образом изловчались петь свои песни неутомные скоморохи, тренькая на домрах. С ними соперничали, из сил выбиваясь, костлявые странники и хрипые, басистые псы.

Иногда воздух оглашал свист кнута, и кто-нибудь из толпы, закрыв руками лицо, начинал стонать, изрыгая проклятья. Это городовая стрелецкая стража наводила порядок, чтобы не мешали ратникам идти в Кремль.

Колычев повел своих людей через замерзшую Неглинку в Чертольскую слободу ко двору брата, Ивана Борисыча. «Разрядный приказ подождет», — решил он, а проведать о московских делах у родного брата не лишнее.

Никита Борисыч не ошибся: услышал он от брата весьма важные для себя новости. Иван Борисыч рассказал ему, что до царя дошло, будто он, боярин Никита Колычев, не соблюдает царские указы, и что царь zelo разгневался на него, и если б он, Никита, не явился в Москву со своими людьми, плохо бы ему пришлось. Дьяк Юрьев говорил, что государь Иван Васильевич приказал доложить ему: явится ли из Заволжья со своими мужиками боярин Никита Колычев? А всему причиною этот окалянный Васыка Грязной. Он и князя Владимира Андрееча подвел.

Иван Борисыч подробно рассказал брату о захвате великокняжескими стражниками его, колычевских, гулящих людей, и о том, как Грязной отбил их у стражи и привел к царю. А Вешняков — льстец придворный — тоже заодно с Грязным. Помог ему.

Иван Борисыч столько наговорил своему брату, что у того и голова закружилась, и страшно стало показаться на глаза царю.

«Помяни, господи, царя Давида и всю кровость его!» — шептал он, слушая брата.

## II

Колычев был принят царем.

Желал увидеть Ивана Васильевича согнувшимся под тяжестью забот, растерянным, ищущим сочувствия и поддержки у вотчинников, — а увидел его молодым, бодрым, веселым, с повадкой настоящего владыки. За эти пять лет, которые Колычев провел вдали от государева двора, Иван Васильевич сильно возмужал, стал полнее и даже ростом казался еще выше, а в глазах появилась у него гордая самоуверенность, которая в прошлом не замечалась.

Приняв поклоны и приветствия от Колычева, царь величественно указал ему на скамью.

— Слухом земля полнится, князь, — медленно произнес он, похлопывая ладонями по локотникам кресла, — болтают, будто недавно у вас, в нижегородских землях. Вотчинники, якобы, чинят поруху моим порядкам... в мой обиход вступаются... бесчестно окладывают своим оброком государевых подданных, не могут отстать от кормления... Москве хлеба скуиятся посылать...

Колычев, славившийся своею трусостью, настолько растерялся, что никак не мог сразу ответить царю. Заякаясь, краснея, наконец, он сказал:

— Не ведаю, великий государь, како... Малый чин яз!.. Поруху яз не творю... И по мысли яз, чтоб кто осмелился...

Дальше у него не нашлось силы говорить. Он встал и низко поклонился царю.

— Храни тебя, господь, наш добрый владыка! Молимся мы там, в лесах, за тебя.

Иван улыбнулся. Глаза его смотрели ободрающе.

— Стало быть напраслину возводят люди на моих нижегородских холопов? А я кое о ком и хуже того слышал, да верить тому не захотел...

— А еще я хотел спросить, боярин, гневашься ли ты на лукавство Ордена? И радуешься ли царской грамоте о походе на лукавых немецких рыбарей? Пресплоден ли ты и прочие нижегородские дворяне бранным усердием к одолению врага?

Не успел царь договорить, как Никита Борисыч сорвался с своего места и красный от волнения воскликнул:

— Гневаюсь! Возрадовался! Преисполнен! И прочие холопы твои, государь, также! Ждут не дождутся в поход идти!

— Крест целуешь в том?

— Целую, батюшка! Клянусь добрым именем покойных родителей и всех в бозе почив-

ших предков, — все радуются той войне и благословляют имя твое! И никогда яз столь счастлив не был, как в той час, егда услышал о твоей царской воле наказать супостатов...

Иван проникательным взглядом следил за Колычевым, так что тому показалось, будто царь все видит и знает, что на уме у него, у Колычева.

— Был ли в Разрядной избе?

— Еду, государь.

— В кой полк?

— В сторожевой, государь.

— К князю Андрею Михайловичу?

— Точно, государь.

— Добро! Курбский — премудрый вожь. Но, однако, мыслю я, Никите Колычеву не статья быть у Курбского, а надобно ему быть в Большом полку под началом Даниила Романыча.

Колычев задумался, покраснел.

Иван Васильевич пытливо посмотрел на него:

— Что? Аль не родовит начальник? Срама боишься?

Колычев вскочил, поклонился.

— Я? Нет! Ничего... великий государь! Твоя воля — божья воля.

— Силен тот правитель, что имеет подобных слуг, — сказал Иван с усмешкой, кивнув ему головою. — Истребленные в древности царства гибли от строптивости вельмож и непослушания их престолу. Каждый неповинующийся губит свой дом, валит столбы, на коих кровля... А кровля бережет от холода, дождя и зноя... Разумно ли валить ее? Служи своему государю правдою!

По окончании беседы царь сказал:

— А теперь пойдем-ка в мою столовую горницу, пображничаем.

Колычев не на шутку перепутался. Ему показалось, что царь хочет его отравить.

Робко, на носках, трясясь всем телом, он последовал за Иваном Васильевичем.

Когда вошли в столовую горницу, Никита Борисыч едва не упал в беспамятстве от испуга. Из-за стола посреди комнаты, уставленного золотой посудой и яствами, поднялось длинное, сухое, в перьях чудовище и, раскинув свои громадные оперенные руки, крепко обняло Никиту Борисыча и поцеловало.

— А я давно ожидаю вас с царем к себе в покои, — пискливо, тоненьким голоском проговорило чудовище. И оттого, что его тоненький голосок не соответствовал его громадному росту, стало еще страшнее Колычеву.

Царь низко поклонился пернатому чудовищу.

— Здорово, райская птица!.. Бьем челом тебе, угощай нас с дальней дороги.

Никита Борисыч окончательно растерялся, в страхе уцепившись за рукав царского кафтана.

— Не бойся! Райские птицы прилетели ко мне во дворец, чтобы о рае небесном напомнить боярам... Кому же в раю быть, как не такому праведному боярину, как ты?!

Царь рассмеялся.

— Ну-ка, райская птица, прокукуй: сколько лет жить на белом свете боярину Никите Колычеву?

Пернатое чудовище прокукувало один раз.

— Что так мало? — пожал плечами с удивлением царь.

— А долго ли шировать на белом свете царю всея Руси Ивану Васильевичу? — спросил он.

— Ку-ку! Ку-ку! Ку-ку!.. — усердно закукувало страшнущее.

Двадцать... тридцать... пятьдесят... шестьдесят...

— Довольно! — стукнул об пол своим посохом царь Иван. — Довольно царю и этого... Не правда ли? Я не завистлив.

— Не от нас то, государь, зависимо... — пролепетал Колычев.

Пернатый подхватил Колычева под руку и с силою увлек к столу.

— Эй, не ушайрайся, боярин!.. — говорил царь, шутиво подталкивая Колычева посохом сзади.

— Садись! — крикнуло чудовище, усаживая Колычева на скамью.

Царь и пернатый сели тоже за стол.

— Великий государь, — со слезами в голосе взмолился Колычев, — как мне быть?! В Разряд мне надобно! Отпусти меня на волю. Устал яз с дороги, да и в бане бы помыться, и святым в Кремле поклониться, о тебе молитву вознести...

— Пускай ответит тебе «райская птица»... Умишком я слаб. Где мне бояр учить! — сказал Иван.

Заговорил пернатый, потянувшись через стол к Колычеву:

— Добрый боярин! Не уходи! Не обижай меня. Побудь малость! Сам батюшка, Иван Васильевич, не гнушается моим теремом, а ты чином помельче... А и должен ты знать, что мы сегодня справляем с царем и тобою тризну по убиенной в твоей вотчине старухе-колдунье... Она не дает мне по ночам спать... Просит помянуть ее и царский судейник...

У Никиты Борисыча потемнело в глазах. Словно сквозь сон он почувствовал, что ему суют в рот кубок с вином: потеряв всякую волю над собой, он выпил вино: за этим кубком другой, третий... Он слышал громкий хохот царя, видел его могучую фигуру перед



собой, но разобраться в том, что творится с ним, Колычевым, никак не мог.

Наконец, царский шут снова взял боярина под руку и в самое ухо ему пропищал пчеловечным голосом:

— Недосуг мне с тобой пировать... Уходи от меня... И ты, Иван Васильевич, тоже уходи... Попировали и буде! Теперь ко мне по ночам не посмеет прилетать проклятая колдунья... Поминки знатные вышли у нас.

— Ну, пойдем, боярин, гонит нас с тобой шут... Недосуг ему, бишь.

Царь и Никита Борисыч вышли из терема шута.

После того Иван Васильевич милостиво расстался с Колычевым.

Очутившись на воле, Никита Борисыч с облегчением вздохнул и долго, с невиданным усердием, молился на кремлевские святыни, а потом заплакал. Обидно! Большого оскорбления и придумать трудно. Стыдно кому рассказать об этом. Шут издевался над боярином, а боярин безвинно претерпел столь великое надругательство. Господи, господа, до чего дожили! Но едва ли не еще большее оскорбление — идти в поход под начальством Захарьяна. Да, если об этом узнают Репнины, Ростовские и все другие именитые бояре, они отрекутся тогда от него, от Колычева Никиты, да и родной брат станет сторониться его.

Уж лучше умереть, чем повиноваться Данилке Романову!

Колычев невольно вспомнил о своих тайных прегрешениях перед царем. Ведь и он, Никита, во время болезни Ивана Васильевича ратовал за возведение на престол Владимира Андреевича и тоже был против покойного Дмитрия-царевича. И Судебник он не хотел признавать, и эту новую войну проклинал, и царя тоже... И вот бог его наказал. Лукавил, обманывал — перед богом не скроешь! А царь уж не такой лютый, как о нем говорят. Посмеяться любит, подурачиться, но еще молод. Пройдет с годами! Да и трудно с ним бороться. «Пожалуй... того... — вдруг мелькнуло в голове Колычева, — не перекинуться ли на сторону царя? Уж не такой он плохой, как про него говорил князь Ростовский! Да и князь Пронский тоже, да князь Репнин. Избаловались князюшки тут в Москве, бог с ними! Царь избаловал их!.. Благодаренствует, не то, что ты!»

Неприятное чувство какое-то, похожее на зависть, кольнуло сердце.

Большой бревенчатый дом Разрядного приказа был окружен розвальнями, возками, спешившимися всадниками. В комнатах Разряда происходила шумная толчея. Спорили, ругались с приказными дьяками прибывшие из

уездов обвешанные оружием боярские дети и дворяне. Дьяки грозили пожаловаться царю; обливаясь потом, рылись в столбцах, в книгах. Распределяли дворян по статьям: «что кому дать» за службу. Разберешься ли скоро-то? Их ведь двадцать пять статей! Хитрая штука — по достаткам подводит дворян под статью. Многие в обиде, кричат, грозят, побольше вымотать поровят. Казначей-дьяки чинно принимали деньги от тех, кои откупались от похода; считали серебро, насупившись; писали платежные гусиными перьями; дворянам, уходившим в поход, давали жалованье. Откупавшихся было немного, больше из тех, кому недужилось. Пугали слухи, что царь-де потом будет просматривать «десятины» и по этим спискам станет судить о воинском послушании.

«Пернатое чудище» не выходило из головы Колычева. «Пресвятая богородица, какие страсти!»

Колычев теперь был еще больше насторожен. Он знал, что такое Московский Разряд. Не этот ли приказ «всем разряжал, бояры и дворяны, и дьяки, и детьми боярскими, где куды государь укажет». Шуметь тут и вовсе не годится, пуще того — приезжому. Дьяки нередко наговаривают и то, чего не было, а уж коли обидишь их, тогда... Бог с ними со всеми! Дьяку своему Колычев привез пятнадцать битых курочек в дар, о чем и шепнул в его волосатое ухо.

Дьяк важно сказал: «Повремени!»

Колычев стал осматривать внутренность новой Разрядной избы.

Просторно. Зеленые изразцовые печи хорошо натоплены. Большие узорчатые слюдяные окна приятно ласкают глаз. «Вот бы мне в терем такие-то... Агриппинушке бы!» Стены убраны казанскими коврами и боевыми хоругвями. Мечи и сабли, отягтые в боях, развешаны по коврам. Все это никак не напоминало прежде бывшей Разрядной избы. Там было грязно, тесно, темно, холодно, и не стояло этих громадных полок с книгами и ящичков со столбцами.

Дьяки держались теперь важно, степенно. Не хихикали и не юродствовали, как встарь, не лезли назойливо за посулами, а получали таковые невинно, тихо, в глубокой тайне. Перед князьями не пластались, как раньше. Они были грамотны, писали бойко и легко, на удивление многим боярам, которые с трудом выводили на крестоцеловальных грамотах свое имя.

Как все изменилось за эти шесть-семь лет после казанских походов! Приказов стало больше. На всякое дело — приказ.

Колычев тяжело вздохнул. А как дьяки важно говорят с дворянами, да с боярскими

детьми! С боярами потише, да только и на них не глядят, а кланяются обидным рывком... Ужель им так недосуг встать да в ноги боярину поклониться?! («Впрочем, прости, господи, царь-батюшка знает, что делает!»)

— Ну, боярин, честь и место! — сказал дьяк, отвесив поклон Никите Борисычу. Тот, до крайности довольный этим, с поспешною охотою ответил дьяку поклоном же.

Сначала сел Колычев, потом дьяк.

— Курей в избу ни-ни! — прошептал он боярину на ухо, сел, покашлял. — Ну, как живешь?

— Тщусь государю-батюшке послужить свою кровню!.. Радуюсь кровь пролить за царя-батюшку!

— Добро! Сколь привел?

Колычев рассказал все, что полагалось, о своих людях.

— Взглянешь ли?

Дьяк махнул рукой и с хитрой улыбкой посмотрел на Колычева. А тот подумал: «Много я холопов повел... пяток бы отбавить». Но тут же вспомнил «пернатое чудище» и царя.

Выйдя из Разряда, Колычев увидел толпы пеших ратников, которых вели стрельцы...

— Чьи?! — спросил Колычев, сам не зная зачем.

— Луговая черемша... — проворчал стрелец, даже не взглянув на Колычева.

Тяжелые вздохи опять и опять вырвались из груди боярина.

На кремлевских площадях день и ночь под порывами ветра полыхали костры, а около них грелись прибывающие из глубин государства ратные люди. Во дворце Иван Васильевич непрерывно совещался с боярами и военачальниками. И постоянно рядом с царем сидел в кресле бывший казанский царь, касимовский хан, Шиг-Алей-грузный, в татарском калате, подпоясанный широким золотым кушаком, за которым красовался громадный кинжал с рукоятью, осыпанной драгоценными камнями. Полное, безволосое, похуже на рену, желтое лицо казанского царя дышало силой, богатырским здоровьем. Глаза маленькие, с поволокой, слегка раскосые, улыбались лукаво. Слушая Ивана Васильевича, он почтительно поворачивал к нему свою голову с улыбкой делал легкие кивки, как бы одобряя его мысли.

На последнем совете Иван Васильевич, говоря о немцах, сказал своим вельможам:

— Как можно быть врагом, не имея силы?! Коли ты слаб, — порови быть другом! Немного добра оттого, когда правитель пегушится. В неистовом хватании чужих земель — немного мудрости... Мы и не хотим

этого! Ходили на Казань, на Астрахань, на Швецию мы не ради неистовства, но для того, чтобы не зорили наших городов, не уведили в полон наших людей и не торговали бы ими на турецких базарах, словно скотиной. И не нашими ли городами и землями владеют немцы? С твердою верою в божию благодать мы двинемся в поход. И вы, бояре, подымайте людей меньшего колена и во всем покойте их, играющих на поле брани смертною игрою.

Слушавшие эту речь поднялись с своих мест и низко поклонились царю.

— Слава тебе, государь! — громко провозгласил храбрый воевода Данила Адашев.

Ночью царь, сопровождаемый своими советниками и военачальниками, обходил кремлевские площади, осматривал готовые к выступлению полки.

Из Пушечной слободы прибыли розвальни с нарядом. Сопровождали их пушкари верхами на конях.

Андрейка стал в Кремле, при караване в пятьдесят пушек. Было ветренно, и рогожи, прикрывавшие пушки, то и дело сдувало ветром. Андрейка лазил по возам и привязывал рогожи к розвальням. Вблизи полыхали два больших костра. Налетавшие со стороны Москва-реки вихри пригибали пламя к земле, вздували тучи искр. Андрейка увидел, что искры относит в сторону саней, а там бочки с порохом. В испуге он побежал туда и со всего размаха в темноте налетел на каких-то людей. Его схватили, поволокли к костру. Он с силой отбивался, бранился.

Когда подошли к огням, Андрейка увидел, что его держат двое стрельцов, а прямо на него глядит гневное лицо царя. Вокруг костра собралось много людей — бояре, дворяне, дьяки, воеводы. Все испуганно глядели на парня.

Глаза царя при колеблющемся свете костра показались страшными — шевные, сверкающие, как у зверя. Лицо желтое, словно восковое. Он поднял посох и со всею силой ударил им Андрейку по плечу.

— Пошто скачешь, ровню бес?! — закричал он.

— Зелле!.. зелле!.. — бормотал Андрейка, указывая рукою в темноту. — Там... там... искры... боязю!

Снова налетел на костры вихрь, — туча искр понеслась в ту же сторону, куда и прежде. Царь лопнул в чем дело, крикнул, чтобы отвели подальше подводы с зеллем, все время грозя Андреею посохом.

Наперерыв бросились исполнять приказ царя его приближенные, прошипев: «Сукни сын, тля!» Телятьев и Григорий Грязной кричали больше всех.

Андрейка стоял, опустив голову. Обидно

было, что царь зря ударил его жезлом. Парень думал, что царь сменит гнев на милость, но ошибся... Иван рассмеялся и еще раз со всею силою хватил Андрейку жезлом по спине... Андрейка не шелохнулся: бей, мол, вытерплю!

В угоду царю рассмеялись и окружавшие его бояре и воеводы.

Когда они отошли, Андрейка со злобою плюнул в их сторону, ругнулся и снова стал оправлять рогожу на возах. Его утешала мысль, что завтра, вместе со всем войском, он двинется в путь-дорогу, что пушки, в литье и ковке которых он принимал участие, скоро начнут бить неприятеля. Было любопытно, как они действуют: лучше ли, хуже ли заморских. Слухи ходили в Пушечной слободе, якобы у ливонцев есть такие махины, что «в одну дудку» десятки выстрелов дают. Правда ли? Кои пушкарки верят тому, кои называют то «брехней». Как сказать?! Со вранья пошлени не берут. Может, и врут. Возможно ли разом десять выстрелов сделать? Швед-мастер Петерсен и тот головою качает. Не верит! А вдруг правда? Тогда что? Андрейка озабоченно потер лоб. Его самолюбие, — самолюбие пушкаря, — было задето. «Все одно не уступим», нахмурившись, про себя, сказал он. — «Не вешай головушки, Андрейка! Не тужи! Брапное поле рассудит!»

Стало веселее. Почесывая спину, Андрейка ходил и поглаживал пушки.

Из темноты к костру вышли другие пушкарки. Они распахивали полы своих полушубков, грелись у огня, перебрасывались шутками.

В глубине окутанного мраком кремлевского двора слышались трещотки сторожей, выли псы.

— Цари не огни, а кода близ них обязательно опалишься... — первый нарушил молчанье Мелентий.

— От потопы, от пожара, да от царской милости боже нас упаси!.. — усмехнулся Сенька-пушкарь, толкнув со значением Андрейку.

Всем ведь известно в Пушечной слободе, что Андрейку сам царь поставил в пушкарки.

— Што же ты молчишь, брат?

Андрейка так много всего наслушался за время работы в Пушечной слободе обидного для себя из-за царской милости к нему, столько всего натерпелся и от дворян и от товарищей, таких же, как и он, простых людей из-за царя, и, наконец, столько несправедливости видел и со стороны самого царя, что молился теперь про себя богу, чтобы его, Андрейку, убили на войне. Он думал об этом. Как о счастливом избавлении от всех невзгод!

И полюбит царь — горе, и разлюбит — горе! Так и этак нехорошо!

От шуток и смеха пушкарки и другие воины перешли к беседе иной. Они повели речь о том, устоит ли их оружие перед оружием ливонцев. Они много слышали о могуществе заморских пушек. Это волновало. Андрейка прямо сказал, что-де одной храбростью не возьмешь, да и пушка, коли в неумелых руках, врагу не страшна. Пушка, что любовница — ласки, ухода требует. Пушкарки все заодно с Андрейкой, а конники и копейщики не все соглашались с Андрейкой. Особенно конники. Они называли пушки «сидячими пугалами». То ли дело мчаться с копьём или мечом на врага и на-скаку сшибать вражеские головы.

Андрейка пришел в ярость, чуть в драку не полез. Да если убийственная пушка, она никого не подпустит к себе. Пицальники самодовольно ухмылялись: «Попробуй суньтись к нам лошадишки, ни одного живьем не упустим!» Сошлись на том, что и пушкарки, и пицальники, и копейщики, и конники — все на войне нужны... все пойдут в дело и все-де умение превеликое пушно. Умение — половина спасенья.

Страшные сны посещали Ивана в последние дни. Нередко он вскакивал среди ночи, созывал постельничьих. Рассказывал виденное во сне, просил их объяснить ему, что значат те видения. Но кто осмелится бы ответить царю на это?! Постельничьи молчали в растерянности. Царь сердился.

Однажды Иван Васильевич послал за астрологом-звездочетом, выписанным из Флоренции. Звездочет не умел говорить по-русски. Подняли с постели дьяка Висковатого. Тяжело сопя и зевая, он переводил слова астролога: итальянец устремил взгляд сквозь окно на небо и, как всегда, голосом загробным, медленно, с остановками, произносил слова о целесообразности всего совершающегося. В странном полубреду он вытягивал из себя слова о чудесном значении небесных лучей, которые оздоравливают душу.

— Клянусь чревом святой Девы! — вдруг оживившись, визгливо воскликнул он. — Сны на судьбу человека никакого действия не имеют!

Царь, затаив дыхание, внимательно следил за его лицом, как он размахивает руками и какою усмешкою блестят его глаза при свете свечей — это действовало, видимо, успокоительно. А когда звездочет обернулся к царю и трубоватым, совершенно неожиданно басистым, голосом стал укорять его в суеверии, Иван преисполнился к нему большим уважением, и на его лице появилась виноватая

улыбка. В эту минуту ему как-то приятно было чувствовать себя слабым, ощущать какую-то чужую силу над собой.

Он прогнал из комнаты всех постельных, остался только с Висковатым и астрологом.

— Спроси его, — сказал царь дяку, — доброе ли ждет наше государство от войны с немцами?!

Астролог задумался, потом подошел к окну, закинул голову назад, нахмурившись, оглянулся на царя и принялся разглядывать в какую-то трубку звезды, — царя пугал его загадочный шепот и эта длинная, в желтых полосах трубка. Странная фигура чужеземца, какая-то однобокая, сухая, в черном, тоже с желтыми полосами, балахоне, приводила Ивана в тайный трепет.

Не отходя от окна, итальянец начал однотонно, нараспев, говорить:

— Твоя душа открыта свету небесному... В ней читаю я мужество непобедимых... В ней читаю я веру,двигающую горами... Нет такого короля, который обладал бы столь сказочной силой, как ты... Желания твои подобны огнедышащей вершине и в ней сгорит гордыня врагов твоих... Звезда твоя предвещает победу и славу.

Голос итальянца был проникнут такой убежденностью, что царь как-то сразу успокоился. Он велел Висковатому выдать итальянцу из своей казны в подарок золотой кубок и дорогое оружие.

Когда астролог ушел, царь лег в постель, не помолившись. Он считал, что после сего итальянского колдовства «неудобь» возносить молитву богу.

Полежав в тяжком раздумьи, Иван вдруг начал раскаиваться: зачем позвал астролога?! Не разгневется ли на него за это небесный отец и не сделает ли противное тому, что предсказывал итальянец. Не осквернился ли он, царь, беседами с заморским колдуном?!

Пот выступал на лбу у Ивана Васильевича. Охватила жгучая тоска. Он вскочил с постели, принялся ходить из угла в угол своей спальни. И вдруг стал перед иконами, со слезами моля бога простить его, окаянного... И не наказывать за его, царевы, грехи русское воинство.

«Поступи по мудрости своей, господи! — шептал царь. — Да будет рука твоя на мне и на доме моем и на народе моем, чтоб не погибли мы, а возросли на славу и украшения передо всеми землями...»

Царь молился и об изгоне из его дома колдовского навождения и волшебства, и о том, чтоб ангел-истребитель поразил своим мечом всех врагов царства, чтоб дарована была ему, царю, сила господствовать не только над на-

родом, но и над собой. Царь каялся в своих жестокостях, в пролитии многой крови и молился теперь, чтоб того не допустил бог впредь.

А утром он пошел на конюшню и сам, собственноручно, покормил и напоил своего старого коня, на котором совершил казанский поход. Лаская его, приговаривал:

— Пойдем ли мы вновь с тобой?! Сдобит ли нас господь потоптатъ иную вражескую землю?! Иль не избегнуть нам ливонского позорища?!

Конь, наострив уши, косялся влажными белками на своего хозяина... Приветливо ржал, перебирая ногами.

Бодрый вид коня, его умные глаза развешили царя.

— Уж не молод ты у меня... — потрепал он коня за гриву. — Начинаем стареть с тобой... кому-то на радость...

Очень часто, рассердившись на бояр и служилых людей, Иван уходил в конюшню и там проводил целые часы, осматривая своих коней, любуясь красавцами-скакунами.

Веселый, возбужденный, соскочив с коня, под вечер влетел в свой дом Василий Грязной; по дороге в темных сенях уцепил девку Аксинью, прислужницу супруги своей Феоктисты Ивановны. Шепнул ей: «Уходим, прощай». Аксинья шлепнула его ладонью по спине и тоже шепнула: «Дьявол!»

Войдя в горницу жены, смиренно помолился на икону и низко, уважительно поклонился Феоктисте Ивановне.

Его черные цыганские кудри и бедовые глаза, особенно когда он чему-либо радовался, всегда наводили на грустные размышления богобоязненную, кроткую, домовитую Феоктисту. Ведь она же уступает ему в красоте, бойкости и речистости.

Ответила на поклон мужа еще более низким поклоном.

— Корми меня, ласкай меня пуще прежнего, государыня моя, напоследок!.. Изготовь мне и кус на дорогу... Бог и царь благословили нас, дворян московских, во поход итти... Будь приветлива и ласкова, может, и свидеться боле нам с тобой не приведется. Немец вить идем!

Жалостливые, за душу хватающие причитания так и полились из уст жены Грязного. Белым платочком лицо она закрыла, всхлинула, а Василий, рассеянно обводя взглядом потолок, словно заученную какую сказку, говорит и говорит всякие жалобные слова. И чем надрывнее всхлипания жены, тем большим воодушевлением и самодовольством звучит его голос.

И потом ни с того, ни с сего он неожиданно напомнил жене наказ книги Домостроя: «аще муж сам не учит, ино суд от бога примет: аще сам творит и жену и домочадцев учит, милость от бога примет».

Исправив обычай мужниного приветствования и поучения, сели за стол.

Феоктиста сходила на поварню, и вскоре ключник и девки Аксютка, Феклушка, Катюшка и Марфушка, услужливо семеня босыми ногами по половикам, наставили всяких яств скоромных: и мяса вареного и жареного, и ветчины копченой, и сальца ветчинного положили на блюдо. Сам господин, Василий Григорьич, в прошлом году пива и браги наварил на целых два года, самолично меду насытил два бочонка, ви́па накурил со своим пьяницей-винокуром целый котел. И теперь на столе бочечка малая серебряная с медом появилась, оловянички с горячим вином и малиновым морсом, и патокой янтарной, и квашины с пивом и брагой.

— У порядливой жены — самодовольно оглядывая стол, молвил Грязной, — запасных яств всегда вдоволь. И кто с запасом живет, тому и перед людьми не срамно.

Хлебник, — лицо все в муке, одно усердие в глазах мукою не засыпано, — принес хлеба и иное печенье на трех блюдах.

Целый ряд сосудов: суеи, кубки и чарки радовали и веселили взор хозяйна.

— Эх мы с тобой живем!.. Будто бояре, — произнес Грязной, принявшись после молитвы за еду. — Придет время — будем и того лучше жить. Обожди, не торопись, своего добьешься. Война покажет: кто более прямит государю... кто храбрее... кто за него готов в огонь и воду! Война откроет царю глаза на многое, смахнет завесу с лицемерных.

Василий, чокнувшись с женой, опорожнил свой большой бокал и тихо рассмеялся. Что-то вспомнил.

— Испроказено боярами не мало. Что ни день, то новость. Едут бояре на войну тяжело, неохотою. Павлушко, дьяк Разрядного приказа, сказывал: вздыхают, молитвы шепчут. К легкости привыкли.

Феоктиста Ивановна, слушая мужа, бросала робкие взгляды на его лицо с постоянно усмешливыми и черными, как вишни, глазами под тонкими дугами черных бровей и густых ресниц. Подстриженные усики чуть-чуть скрывали крупные, розовые и тоже усмешливые губы. «Такой не может быть праведником... — думала она. — Грешные глаза, грешные губы! Владычица небесная! За что мне такая беда?! Опять Феклушка затяжелела!»

Василий усердно жевал ветчину и голосом довольным и ехидным говорил:

— А Колычеву с моей легкой руки повез-

ло. Царь преобидные глумы вчинил ему... Семка — государев шут, — чурляк, детинка, хорош хоть куда! Сумеет царя потешить...

И вдруг Грязной стал сумрачным, вздохнул: — Э-эх, господи!

Жена с удивлением посмотрела на него.

— Батюшка, Василий Григорьич, вздыхаешь ты, я вижу?.. И тебе, видать, не охота на войну-то идти. Непохоже то на тебя.

Василий еще раз вздохнул и перекрестился: — О тебе, яблочко мое неувыдаемое, думаю... На кого я тебя спокину?!

Слукавил дядя! Думал он вовсе не о Феоктисте Ивановне. Вспомнилась маленькая, нежная, ласковая, как птичка-малиновка, Агриппиуншка, жена «проклдтого» боярина Колычева. Вспомнилась зеленая, согретая солнцем сосновая ветвь под окном боярыниной опочивальни. Над ней, над этой ветвью, в солнечных лучах, играли две красивые бабочки, — одна побольше, другая поменьше. Агриппиуншка тихо прошептала, ласкаясь, — «хорошо бы и нам улететь из терема и играть, как играют эти два мотылька!» Ну, разве сдержись и не вздохнешь, вспомнив о том, что было дальше?! О, Феоктиста! Какое счастье, коли и ты была бы такая!»

Точно сквозь сон, слышал Грязной тихий, слезливый голос жены:

— Государь мой, Васенька, красавчик мой! Матерьня да женина молитвы сберегут тебя от стрелы и меча вражеского. Не крушиться обо мне! Буду я молиться денно и ночью о тебе и о себе.

— Молись! Молись! — громко, с какою-то неприязнью в глазах и голое крикнул Грязной. — Молись, чтоб одолеть нам боярскую спесь, чтоб побить нам и внутренних врагов, как бьем мы врагов зарубежных. И не унывай обо мне: рукодельничай, чадо свое малое расти и всякое дело делай, благословяся... А государь твой и владыка — Василий Грязной — дело свое знает и бесстрашия ему не занимать стать, и злобы ему на боярские утеснения никогда не избыть! Много горя колывеский род причинил моему отцу, осудили его в те поры не по чести... Ужо им! Да и не одному мне, Грязному, а и многим иным благородным дворянам памятно своевластие бояр... У Кускова всю семью по миру пустил Курлятев... Наделил его болотной бедрой, а себе пахотную лучшую землю утянул... Вешняков, что постельничьим стал у царя, тоже посрамлен был Мишкой Репниным... Не по нутру ленивым богатыням, что царь к себе его во дворец взял...

Грязной опять наполнил вином кубок и разом опорожнил его.

— Бог правду видит, Васюшко... — скорбно воззрившись на икону, заняла Феоктис-

та. — Не кручинься! Не надо кручиниться...

Глаза Грязного стали злыми. Сверкнули белки.

— Не брешь! — стукнул он кулаком по столу. — Да нешто я кручинюсь?! Чего мне кручиниться? Радуюсь я! Дуреха! Войне радуюсь! Вельможи хрюкают, сопят, ровно опоенные свиньи, а мы — нас много, больше бояр нас! — мы ликуем. Никита Романыч Одоевский, хуть и князь, а нашу сторону принял. Его тоже избидели, в черном теле томят. Он слышал, будто государь сказал, что многие от этой войны славу приобретут и земли, и думное звание... Поняла?! Обожди! И ты у меня в боярских колымагах кататься удосужившись, и тебе люди до земли учнут кланяться! Чего же мне кручиниться?! Подумай!

Феоктиста уж и не рада была тому, что посочувствовала мужу. Такой он стал обидчивый. Прежде того не было. И гордость какая-то у него появилась — даже перед женой. И все говорит о боярах, царских делах, о дворянах и о посольских приемах, а прежде, бывало, домом занимался, избыные порядки наводит, — с плотниками да кирпичниками все советуется: о квашнях, о корытах, о ситах, бочонках для продовольствия заботится, иль охотой да рыбной ловлей потешается, да крепостных мужиков на конюшне наказывает. Всегда у него находилось домашнее дело. Теперь целые дни, а иногда и ночи, пропадает нивесь где, на стороне. Сваливает то на дворец, то на Пущечную слободу, то на Разрядный приказ, либо на тайные государевы дела. А бьвает и так, что придет в полночь с ватагой дворян, своих друзей, хмельной и до утра бранничает, девок заставляет дворовых угождать. Срам и грех! Прежде никогда того не было.

Грязной выпил еще и еще вина. Его глаза разгорелись хмельным озорством.

— Человеке, не гляди на жену многоохотно! — провозгласил он, будто поп на клиросе. — И на девицу красолычную не взирай с истомой, да не впадешь паглю в грех...

Феоктиста, испросив у мужа разрешения, встала из-за стола и сбегала в девичью. Велела Аксютке, Феклушке, Катюшке и Марфушке удалиться в соседний дом сестры Антонины Ивановны. (Раз о «трех» заговорил, — стало быть надо девок угонять.)

Когда Феоктиста вернулась в горницу и села за стол, Грязной низким голосом затянул песню:

Женское дело перелестивое,  
Перелестивое, переначивое.

В огонь и жену одинаково пасть...

Кудри его растрепались. Шелковый пояс на рубашке он распустил, напевая такие песни,

которые Феоктиста Ивановна слушала, краснея и отплевываясь. Раньше он не знал таких песен и был тише, смиреннее.

Накричавшись вдосталь, он насупился, шумно поднялся с места и гаркнул голосом грубым, властным:

— Жена! Иль я тебя давно не стегал? Иль ты думаешь — ослаб я?! Пошто ты не велела подать мне коня?! Не видишь разве, разгуляться захотелось доброму молодцу?! Поеду к Гришке, к брату единственному, на'обиск ночной... Ловить будем беглых и бездомных, может, и знатная рыбешка попадет... Гришку сам царь «объезжим головою» поставил. Пошарим в Соколычичьих перелесках, угодим царю... Не рука мне тут с бабами сидеть! Ай-да! Кличь конюха!

Феоктиста Ивановна попробовала уговаривать мужа не ездить в такую позднюю пору, посидеть дома, как бы лихие люди не училили какого-нибудь злодейства ему, Грязному. Ничего не помогло.

Ругаясь и ворча на конюха и дворовых мужиков, топая сапогами, сел он при свете фонарей на копя и скрылся во мраке.

Аксютка, Феклушка Катюшка и Марфушка снова вернулись в дом, дрожашие от страха и холода (убежали на соседний двор налегке). Плакать им не полагалось. Плакать можно было одной хозяйке, а им, когда только это прикажет хозяйка. Молиться на хозяйские иконы им тоже Грязным строго-настрою было запрещено. В людской, у «подлых людей», есть свои иконы, на которые ни хозяин, ни хозяйка тоже никогда не молятся. Забились девки в угол, в запечье, ни живы, ни мертвы.

Феоктиста Ивановна вышла, накиннув шубку, на крыльцо. В безветренном воздухе медленно падали крупные хлопья снега. Выли собаки где-то над Сивцевым Вражком; послышался отдаленный выстрел со стороны Кремля!.. Кругом мрак, костяки оголенных деревьев и снег, громадные сугробы, завалившие сараи, амбары, хлева...

Скучно, страшно! Что-то будет?

В доме князя Владимира Андреевича собрался кружок его близких людей. Из Литвы через рубежи пробрался чернец с поклоном от князя Ростовского и от других отъехавших в Литву русских вельмож. Лопата-Ростовский уведомлял, чтобы не мешали царю Ивану углубляться в Ливонию. Вместе с литовскими и польскими друзьями он уже вошел в стовор с королевским правительством, которое полностью на стороне бояр, и сам король благоговяет боярскую партию в Литве на упорную борьбу с московским царем. Он не сове-

тует боярской думе мешать царю. Пускай оголяет южные границы. Хотя атаман Дмитрий Вишневецкий и откололся от Польши, перейдя на службу к царю, однако он не надежен. Он уже теперь поговаривает, что не намерен один воевать с крымцами. Пускай царь понапрасну надеется на казаков, приведенных им, Вишневецким, из Польши. Сначала Девлет-Гирей думал, что полки Ржевского, Вишневецкого и черкесов лишь передовой отряд Иванова войска, а теперь из Польши ему дано знать, что «все тут» и что главные силы царского войска ушли к ливонскому рубежу.

Чернец был худющий, запуганный, весь в угрях от долгого немытия, котли черные, длинные, как у зверя, и говорил, заикаясь, — сразу не разберешь, что он хочет сказать. Поэтому обступившие его бояре, потные, грузные, тяжело дыша, с нетерпением ловили каждое его слово.

— Ста-льть... — тянул чернец. — Степь голая... безлюдная назад у Раевского и Визневичского... князь Лопата... увидомяет...

Наконец-то бояре поняли, что польский король, по совету отъехавших московских вельмож, намерен поднять Девлета — крымского хана — против русских войск, ушедших далеко в степь и в надежде на царскую военную помощь осадивших и взявших город Хортицу у Днепровского устья. Нет нужды, что Вишневецкий побил в этом месте крымцев и сжег Ислам Кирмень — все одно ему там не удержаться без помощи Москвы. Вишневецкий — храбрый казак, но и похвастать любит и обмануть кого хочешь может. Ненадежный он слуга московскому царю.

Скоро «покоритель царств» потерпит такой урон от крымского хана, какого не видела Москва за все свое существование. Князь Лопата-Ростовский и все его товарищи клянутся в этом своим московским друзьям. Они советуют им быть наготове и перевести своих детей и жен подальше от Москвы, чтоб не было им от той беды несчастья.

Чернец поклялся перед иконами, что все сказанное им — истинная правда и что через трое суток он снова уйдет в Литву, а потому и просит доброго князя Старицкого и бояр шепнуть ему слово для передачи зарубежным боярам.

Владимир Андреевич посоветовался с матерью своею, княгиней Евфросиньей. Она желчно произнесла: «Хотим власти как в Польше. Скажем спасибо братьям-боярам и королю, коли тому помогут!» Бояре сочувственно поддакнули княгине, ибо каждому из них был по душе боярский порядок польского правления. Польская рада, именуемая сеймом, не облагает такую власть короля, каковая захвачена в России царем Иваном.

После тайной беседы с чернцом все усердно помолитись. Ах, как хотелось в душе каждому из бояр, чтобы Девлет-Гирей «проучил Иванку-царя», нарушившего все древние уставы, препятствуя князьям быть самовластными правителями. Если бы даже Сатана предложил свои услуги боярам против самодержца-гордеца, похитителя княжеской власти, то и с ним бы вошли в союз истомившиеся в жажде мщения, оскорбленные царем друзья Старицкого князя Владимира Андреевича.

Через трое суток бояре устроили тайный побег чернца из Москвы в Литву.

.....

Как ручейки из большой лужи, так из дома князя Владимира Андреевича поползли по боярским и преданным князю Старицкому служилым домам вести, кои принес с собою литовский чернец.

Московская боярская партия собралась на дому у незнатного приказного служака в маленьком домике Суцеской слободы Федора Сатина. Человек он был незаметный — Адашев не любил ставить на первые места своих родственников, но и родственники его старались оставаться в тени, служа добросовестно в приказах дяками и на иных приказных должностях. Царь ценил это в Алексее Адашове, и сам нередко одаривал и деньгами и подарками адашевских родичей, таких, как Иван Шишкин или тесть Адашева — Петр Туров. Не забыты были денежно и самим Алексеем все эти Андрей, Федоры, Алексеи Сатины, Туровы, Шишкины, Петровы и прочие, а их было не мало. Никто из них в вельможии не лез и не хотел быть на виду, кроме братьев Алексея: Данилы и Федора, выгвинутых за боевое усердие на высокие посты самим Иваном.

Здесь-то, в доме Сатина, и сошлись для тайногоговора знатные люди московского боярства: боярин Челяднин, Казаринов с сыном, десять Жолычевых (в том числе и Никита Борисыч), явился и сам Иван Васильевич Большой Шереметев, обладавший несметными богатствами. В одежде монаха пожаловал он к незнатному дяку Сатину в гости, а с ним и горячий поклонник Польши Никита Шереметев. Тут же оказались Разладин и Пушкпы, родственники Челяднинных и близкие к колычевскому роду вельможи.

Потомки великих князей Ростовских, Смоленских и Ярославских: князья Шаховские, Темкины, Ушатые, Львовы, Прозоровские, все три брата — Василий, Александр и Михаил, — Заболоцкие, Андрей Аленкин и другие отпрыски этих великокняжеских родов, во главе с князем Андреем Михайловичем Курбским собрались в доме выхода из Швеции служи-

лого человека Семена Яковлева, близ Сокольниковых выселков. После всех, в лохмотьях убогого странника, слепа, явился богатейший вотчинник, выходец из Касуйской орды, Хабаров-Добрынский. Поводырем у него был юный Кошкарлов. Многие и другие собрались на этот совет одетыми разное: кто монахом, кто мужиком, кто бродягой...

А за Юзой в келье отшельника Порфирия, друга Вассиана и заволжских старцев, среди густой рощи, собрались знатные вотчинники: Сабуровы-Долгие, Сырахозины, Шешны, Морозовы, Салтыковы, Курятевы, Телятьев, Чулковы, Сидоровы и многие другие. Набились в избу так, что дышать было нечем. А тут еще всех напугал явившийся немного под хмельком Александр Горбатый и начал громко и пекстати хвастаться тем, что его предок — великий князь Андрей Суздальский — выгнал Волгю, «аж до моря Каспийского». С трудом заставили его умолкнуть Чулков и Сидоров. Он в сердцах обругал их «литовскими подкидышами», ибо они выехали в Россию из Литвы. Михаила Морозов, поздравив его кулаком, сказал: — Что же, что из Литвы, а мой род из Пруссии, стало быть и я — подкидыш?

Кулак Морозова, огромный, волосатый, заставил Горбатого немедленно смириться. Шешны тоже обиделись на Горбатого — они ведь тоже отъехали к Московскому царю из Пруссии.

Князья: Петр Оболенский — Серебряный, Петр Михайлович Щенятев, Дмитрий Шевырев, Иван Дмитриевич Бельский, Семен Ростовский и Михаил Репнин собрались у пономаря одной маленькой церковушки на берегу Москвы-реки, занесенной снегом и не отправлявшей службы. Ждали именитых князей Мстиславского и Воротынского, но они не явились. Князь Михаил Репнин обозвал их «полазающими гадами», а Семен Ростовский предупредил собравшихся, что и Мстиславского и Воротынского надо опасаться. Они ненадежны.

На всех собравшихся в разных местах Москвы вельмож большое впечатление произвело известие о замыслах Польши и все то, о чем сообщил в доме князя Владимира Андреевича Старицкого приходивший из Литвы чернец. Стало быть, Ливонской войне мешать не след. Наоборот, — надлежит всем князьям и боярам, кои будут в походе, проявлять прилежание и великое усердие на войне и жечь и громить ливонские земли безо всякой пощалы. Пускай таковой поход еще более напугает иноземных королей и обозлит их на царя Ивана, а главное — поссорит Фердинанда Германского с Иваном Васильевичем.

Если царь не слушает бояр, так да будет

воля его! Андрей Курбский в доме Семена Яковлева, в Сокольниках, предсказал горькую судьбину начатой царем Иваном войне с Ливонией. Он уверял присутствующих, что «оная станет кашканом, в который и попадет зазнавшийся самодержец». В выигрыше от войны останется только Польша.

Иван Васильевич Большой Шерметев в сущевском доме Сатина, с пеною у рта, почему-то, ни с того, ни с сего, ополчился на устроенный царем Иваном Печатный Двор. Он уверял, что от этой «дьявольской затеи» будет великий урон вотчинникам на Руси, ибо ничего не стоит тогда царю свои уставы рассылать по городам и селам во множестве и единообразно.

Присутствовавшие здесь бояре, словно обухом пришибленные этим неожиданным заявлением Шерметева, сразу притихли, задумались: в самом деле, царь неспроста воздвиг Печатный Двор! Все это — к возвеличению власти Москвы, власти самодержца.

Тесть Адашева Петр Туров успокоил бояр. Он сказал, что Алексей смеется над этой затеей государя. Он говорит, что и сам бы желал иметь печатные книги, но не верит советник царя в искусство и опытность московских печатников. Уж очень долго они и неумело возятся над одною только книгою, над Апостолом. Адашев, будто бы, уже говорил царю, что без иноземных печатников московский Печатный Двор ничего не сделает, да царь его не послушал.

— Ну, и слава богу! — облегченно вздохнув, перекрестился Шерметев.

На берегу Москвы-реки, у пономаря в хибарке, произошло самое бурное собрание вельмож. Михаил Репнин едва не подрался с князем Оболенским-Серебряным, назвавшим царя Ивана «мудрым государем».

Михаил Репнин считал, что все совершаемое царем во вред боярству губит Россию и что зангрявание царя с дворянской мелкотой, с незнатными писарями и воинниками убьет боярскую думу и тем самым лишит государство головы, а без головы туловище — труп, тлея, прах.

— Где же тут царская мудрость?

И не будет ошибкой всячески помочь польскому королю, чтоб он «проучил Ивашку», чтоб помрачил его непомерную гордыню.

Однако Михаил Репнин не во всем согласился со своими друзьями. По его мнению, идти на войну — стало быть, еще более баловать царя. Видя такую покорность вельмож, он объярмит бояр неслыханным игом. Тогда и вовсе никогда из-под него не вылезешь.

Напрасно князья старались доказать Репнину, что Ливонская война ослабит власть царя, заставит его снова обратиться к по-



мощи бояр, преклониться перед старинными княжескими родами.

Гордый, самолюбивый князь Михайло сидел за столом темнее тучи. Жилы на висках надулись, волосы на голове, взъерошенные пятами, упрямо раскосматились, брови нахмурились.

— Пускай голову срубят, но Ливонию воевать я не стану. Никогда род Репниных не был на поводу у царей!

Он сердился не только на царя, но и на всех бояр: изогались-де, совесть и гордость потеряли, своего ума не имеют — живут по указке. О незнатных дворянах князь говорил, брезгливо отплеиваясь, называя их «псами».

— Вы воюйте, а я не стану! Не стану! Не стану!

Князь Репнин еще больше рассердился, когда узнал, что боярина Алексея Даниловича Басманова также посвятили в тайну, что ему тоже стало известно о литовском чернеце и о тайных сговорах бояр.

— Сами в петлю лезете! — закричал он, вскочив с места. Напаялил со злом на себя шубу и вышел вон из избы.

.....

В полночь, возвращаясь из ночного объезда с урочища Трех гор, где находился загородный дворец князя Владимира Андреевича, братья Грязные, Василий и Григорий, с тремя конниками заметили притаившегося у Козьего болота некоего человека. В темноте трудно было разобрать, кто и что он, но ясно было видно, как этот человек шмыгнул за забор одного из домов. Он то и дело высовывал свою голову из-за угла, поглядывая за всадниками.

Разве могли Грязные вернуться домой, не поймав такого человека и не разведав, кто он, чей, откуда, не вор ли, не разбойник ли, не умышляет ли что на государя-батюшку?

Поскакали врассыпную, чтобы оцепить этот дом. одному из конников удалось захватить неизвестного. Оказался невысокого роста тучный монах.

— Пошто хоронишься? — спросил Григорий Грязной.

— Воров боюсь!.. — тихо и жалобно ответил монах.

— Не посчитал ли ты и нас за воров?

— Христос с тобой, батюшка!.. Государевы слуги вы. Разом видать...

— А ну-ка, праведник, айда с нами в Распросную избу!

— Чего ради, голубчик?.. Мне недосуг. В обитель тороплюсь.

— Грешно, отче, государеву указу перечить! Пойдем с нами!

— Заблудился я... Давно бы мне надобно в келью.

— Не тоскуй, святая душа. Иди-ка с нами! Келья найдется.

Монах заревел.

— Москва слезам не верит. Гей, старче! Не балуй! Честной душе везде хорошо.

Григорий Грязной нетяжко хлестнул монаха плетью. Монах встрепенулся. Покорно зашагал по скрипучей, спешной дороге между конями всадников.

— Мы видели и не таких щучек, но с носочками поострей, да и то нам покорались. И ты, святитель, покажи смирение, коли так надобно... А на нас не гневайся: чей хлеб едим, тому и песенку поем...

Монах шел молча, потом около оврага вдруг ни с того, ни с сего упал и покотился по его склону.

— Эй, кубарик! Да ты проворный. Ребята вяжи его! Попу Васьки все одно не обмануть.

— Опустите, братчики! Недосуг мне! — взмолился, распластавшись на снегу, инок.

— Ты у нас Мирошкой не прикидывайся! Нас не проведешь. Тут, брат, хоть и много дыр, а вылезти все одно негде. Коли к нам попал, никакая обедня тебе не поможет... Божий закон проповедай, а царской воле не перечь!

Стрельцы крепко связали монаха, ввалили его на коня и повезли в Кремль. Всю дорогу он умолял отпустить его, не позорить.

В Распросной избе его развязали, осмотрели с фонарем со всех сторон, спросили: кто он?!

— Слуга господа бога и царя Ивана Васильевича, — простонал инок, разминаясь после неудобного лежания на конской спине.

Приглядевшись к лицу монаха, Василий Грязной воскликнул:

— Ба! Лицо-то знакомое!.. Ба! Да никак Никита Борисыч?! Боярин Кольчев? Не так ли?! Давно ль монахом ты, боярин, стал?!

Кольчев вскрикнул, отвернувшись.

Григорий Грязнов рассмеялся, нотирая руки:

— Бог не забыл нас! Рыбка знатная! Игумен Гурий оказался недурен! Заприте его, братцы, под семью замками, приставьте караул крепкий, а завтра мы доложим о нем его светлости батюшке-государю Ивану Васильевичу. Чую — недоброе дело! Не всеу дляя залез в расу!

Кольчева втокнули в каземат.

Утром в пыточном подвале сам царь Иван Васильевич допрашивал Никиту Борисыча, который с убитым видом лепетал трясуцими-ся губами:

— Прости великий государь! Вес попутал!  
Не своей волей... Нечистая сила одолела!..

Царь приказал палачу готовить пытку.

Боярин пал в ноги Ивану.

— Не пытай, отец наш, Иван Васильевич!  
Все тебе поведаю, все поведаю честью, без  
понуждения, как на духу.

Палач деловито разводил огонь в тагане,  
раскладывая орудия пытки, звеня железом, не  
глядя ни на кого.

— Все я знаю и сам! — сказал царь. —  
У тебя, боярин, такой же, как и у всех Ко-  
лычевых — лисий хвост, да волчий рот. Ху-  
дую увертку придумал ты, чернецкую яряу  
напялив. Теперь ты поведай мне: почто на-  
рядился ты монахом и где ты был в ту  
ночь?!

Глаза Никиты Борисыча наполнились сле-  
зами:

— Никакого умышления противу твоего  
царского величества не было на уме у меня,  
у холопа твоего верного. И не для того яз  
пришел в Москву и людей привел, чтоб не-  
доброе супротив тебя учинять, а чтоб слу-  
жить тебе правдою.

Иван Васильевич насмешливо улыбнулся:

— Явился в Москву не для того, а сотво-  
рил «того». Кайся, не лукавь, молви правду!  
Где ты обретался в ту ночную пору?

— И не сам яз туда забрел, великий го-  
сударь наш... Люди соблазнили: сам яз мало  
знаю, живу вдалеке.

— Говори, где ты был и что делал?

Лицо Ивана Васильевича стало грозным.

Глаза насковозь проинзывали смятенную  
колычевскую душу.

— У Сатина находился в дому, и греш-  
ные речи там слушал... Тыфу! — Колычев  
стал брезгливо отплеиваться. — Сам ни сло-  
вечка яз не сказывал, токмо слушал... Кля-  
нущь всем своим родом, своей жизнью и  
боярской честью!

Глядя искоса на разведенный в углу огонь,  
на все эти щипцы и железные прутья, на  
безбровое, безволосое лицо ката, боярин Ни-  
кита Борисыч рассказал, что видел и слы-  
шал в доме Сатина. Об одном, однако, он  
умолчал, что бояре обсудили не мешать вой-  
не с Ливонией, а, наоборот, — со всем усер-  
дием громить Ливонию, добываясь тем самым:  
с одной стороны, — доверия и расположения  
царя, с другой — наибольшей погруженности  
царя Ивана Васильевича в ливонские дела,  
чтоб от того выгода Крыму и Польше была  
явная.

Больше всего он порочил князей Одоевских,  
особенно Никиту Одоевского, которого втайне  
издавна недолюбливал, еще со времен казан-  
ского похода, за его расположение к царю.  
Вообще Никита Борисыч порочил всех тех

бояр, которых ему было не жалко и с кото-  
рыми когда-либо он имел местнические счеты.

Выслушав его, царь спросил:

— Обо всем ли ты мне поведал, что было?  
Не утаил ли что с умыслом? Не говорили ли  
там чего о князе Владимире и о заволжских  
старцах?

— Пускай убьет меня ворог на войне иль  
дикие звери растерзают в пути, ежели хоть  
крупинку утаил яз, не поведав тебе, великий  
государь!

— Был ли Курбский на том сборище?

— Нету, батюшка государь, чего не было,  
того не было.

— А знал ли Алексей Адашев о том сбо-  
рище?!

— Так яз понял из речей Сатина и Ту-  
рова, будто ему неведомо то было, ибо про-  
сили у Сатина бояре, чтоб никто Алексею о  
том не говорил ни слова... держали от него  
втайне.

Выражение лица у Ивана Васильевича смят-  
чилось. Царь и сам не допускал, чтоб Ада-  
шев строил козни против него; считал его,  
несмотря на разгогласия о войне, честным.

— Об отъезде в Литву, либо в Польшу,  
либо в Свейское государство стовора не бы-  
ло?..

— Нет, батюшка, наш пресветлый Иван  
Васильевич, не было, да и быть не могло...

— Не могло?! — переспросил царь, при-  
стально глядя в лицо Колычеву.

— Клянущь памятью своего батюшки и  
своей матушки, что и в помине того не яви-  
лось. Да и сам яз пошел на то сборище не  
ради чего-либо худого, а так, любопытства  
поганого ради! Обитаю яз в лесу и ничего не  
знаю о московских делах, думал: тут кое-что  
и узнаешь... Вот и пошел... Прости меня, ба-  
тюшка Иван Васильевич, попутал меня окаян-  
ный, а так я, кроме любви к тебе и холопейей  
преданности, ничего в сердце своем не имею.

Царь тяжело вздохнул:

— Эх, вы, слуги сатаны! одному богу мо-  
литесь, другому кланяетесь... Не верю я, Ни-  
кита, и твоим слезам! Одна скатилась, дру-  
гая воротилась. Кто всем угодлив, тот нико-  
му и непригодлив... Мои бояре — сухие сучья.  
Вот и ты такой, как я вижу тебя. Можешь  
ли ты мне сказать о свсем брате, будто он ни-  
когда не осуждает меня, будто Иван Бори-  
сыч мой честный, преданный единомышленник?

Колычев задумался. Сказать правду страш-  
но, а соврать еще того страшнее.

— Не гневайся, великий государь! Не еди-  
номышленник он твой... Нет! — задыхаясь,  
давась, растерянно пробормотал Колычев. —  
Не хочу яз кривить душой.

— Спасибо и на том.

Немного подумав, Иван Васильевич, сказал:

— Приблизил бы я тебя к себе, чтоб ты прямо мне и всю правду о своих друзьях доносил бы мне, царю своему, но... не заслужил ты того, не можешь ты быть моим глазом и ухом... Недостоин, ибо нет у тебя единомыслия со мной... Честная и светлая голова двоим не служит. Чобы стать моим человеком, моим честным слугой, нужно отречься не только от товарищей, но и от отца и матери и детей... Где же мне теперь иметь к тебе веру?! Пытать тебя я не стану, отпущу с миром, но...

Царь на минуту задумался. Потом, указав рукою на ката, сказал:

— Да будет он нашим послухом!<sup>1</sup> Ежели где бы то ни было, а напаче на войне, учнешь ты хулу на меня возводить и откроешь тайну о моем допросе тебя и о пыточной избе моей, то жди божьей кары в том же месте, где то совершишь. Не меня ты опорочишь, не мне ты зло сотворишь, а моей царской самодержавной власти. Оное равно измене государству, особливо ежели в дни брани хула на владыку возводится. Неволишь тебя я не буду, чтоб стал ты моим верным помощником, но и чтоб ты стал тайною помехою моему делу, того не стерплю. А за правду, сказанную здесь, спасибо и отпустилаю тебя с миром. Иди и помни мои слова.

Колычев вышел в земляной коридор, пошатываясь, обессиленный сиденьем в каземате, страхом и пережитым волнением.

Царь долго с кмурой улыбкой смотрел ему вслед.

— Гаси огонь! — сказал он кату. — Вот, коли так бы легко мне было погасить огонь слобы моих бояр! Тот огонь сильнее пыточного огня. Нам с тобой не обогнать их!

Заутра — выступление в поход.

Иван Васильевич, поднявшись в свою палату из пыточного подземелья, стал на колени перед иконами и долго с усердием молился. До тех пор молился, пока к нему в дверь не постучали. Поднявшись с пола, он сел в кресло, крикнув, чтоб вошли.

Появился тот, кого царь ждал — Алексей Данилыч Васманов, любимый его воевода, родной, всегда веселый, мужественный, красавец. Он низко поклонился царю.

— Допрашивал! — сказал Иван Васильевич с улыбкой. — Покаялся. И брата своего не пощадил. Однако, в походе присматривай за ним. За теми то ж, о ком мы с тобой говорили. Переменная сума и он, как и другие. Пускай Васык Грязной будет близ него. Чувешь? Телятьева с собой возьми, коли под Нарву пойдешь. Надо, чтоб верные мои люди

не зевали, да не зазнавались... не болтали попусту.... Тайну умели б блюсти, не делаю порухи крестоцелованию... Ну, с богом! Служите правдой, а я не забуду вас...

После ухода Васманова Иван Васильевич долго сидел в кресле, глубоко задумавшись. Трудно ему было в эту ночь заснуть.

Несколько раз он заглядывал в опочивальню, подходил к ложу, приготовленному постельничьим для сна, но тотчас же отходил прочь и садился снова в свое любимое кресло, убранное леопардовыми шкурами, подаренными ему английским послом Ченслером. Здесь он, в полусне, и провел эту ночь.

### III

Благовест всех московских сорока-сороков, гром выстрелов кремлевских пушек возвестили о выступлении войска в поход.

Вся Москва с мала до велика высыпала на улицы и площади, провожая войско добрыми пожеланиями. Певцы, под струны гусель, распевали сочиненные ими самими стихиры, прославлявшие храбрость непобедимых русских витязей. Они поминали прежде живших великих московских князей, пели славу великому князю и царю всея Руси Ивану Васильевичу, «самодержцу и могучему покорителю царств».

У Покровского собора<sup>1</sup> находился и сам царь Иван. Сидя верхом на коне, он пропускал мимо себя движущееся из Фроловских (Спасских) ворот войско.

Его боевой арабский скакун, под звуки набатов и свирелей, нетерпеливо перебрал ногами, как будто тоже рвался идти вместе с войском.

Иван Васильевич весело приветствовал проезжавших мимо него воевод, сотников, пушкарей — бодро шагавших пехотинцев, — стрельцов, копейщиков. Он дождался, пока все войско пройдет мимо него, а затем, помолвившись на храм Покрова, повернул коня в Кремль.

Пушкарский сотник Анисим Кусков — начальник Андрейки — в дороге был прост и разговорчив, хотя и дворянин. Он не скрывал своей неприязни к боярам и все время порывал держаться около дворян и простых служилых людей. На плохой лошаденке, сторбившись, прибыл он из родной усадьбы, долго ахал, вздыхал, жаловался на плохую дорогу, и был очень рад, когда Андрейка уступил ему своего вороного мерина, полученного в Пушечной слободе.

Из дальнейшей беседы пушкари узнали,

<sup>1</sup> Свидетель.

<sup>1</sup> Василий Блаженный.

что на войну идет он добывать себе благо. Кабы не война, ему бы грозило полное разорение. Рассказывал он и о том, как многие незнатные дворяне попадали в милость к царям за подвиги в прежние войны. Их зачисляли в боярские дети, а были и такие, что получали княжеское звание, и земли отдавали им в завоеванных странах самые лучшие.

— Богом да царем Русь крепка, — вразумительно говорил Кусков. — При солнце тепло, при государе — добро.

В это время мимо проезжал на скакупе Василий Грязной. Нарядно одетый в шубу, крытую бархатом с золотными узорами, он браво сидел на коне, лихо заломив татарскую шапку с орлиным пером. Увидев Кускова, он поманил его к себе. Поехали рядом. И, как показалось Андрейке, разговор у дворян зашел о них, пушкарях, потому что оба два раза оборачивались в сторону, где шел Андрейка с товарищами.

— Эх, глупец, — покачал головой Мелентий. — Кому ты своего коня уступил?

Андрейку и самого мучило раскаяние. Променил кукушку на ястреба! Э-эх, ты, привычка бедняцкая — угождать всем!

Пушкарский обоз, скривя полозьями, с грохотом, звоном и визгом двинулся по бугристой дороге. Впереди шла конница — тридцать тысяч всадников. Там были дворянские полки, стремянная стража, казаки, татарские наездники, пятигорские черкесы на маленьких быстропругих конях, чувашки, черемисы, нижегородская и муромская мордва.

Шестрые, разноцветные ткани, кольчуги, медвежьи, волчьи, барсовые шкуры, вывороченные мехом вверх тулупы, бесчисленные копыта — все это, слившись воедино, выглядело огромным чудовищем, медленно ползущим по снежным пустыням.

Под порывами ветра шели накопечники копий. В сером снежном воздухе колотились о древно расшитые золотом шелковые стяги.

К войску в пути приставало много «гулящих людей». Они робко выходили из леса, падали ниц перед воеводами. Их принимали в пещине полки, ласково.

Один неизвестный человек, вышедший из леса и назвавшийся Васькой Кречетом, пристал к обозу пушкарей. Взяли его охотно. Наряд был так велик, что достойных пушкарей не хватало. Обслуживали его и даточные люди, мужики из попутных деревень. Дорогою их обучали помогать пушкарям. Люди были нужны. Веселым, отчаянным парнем оказался Кречет. На нем была волчья шуба, обрванная у колен, бархатная шапка с оторочкой, нарядные лосевые сапоги. Как

будто все это собралось с разных людей. На лбу виднелась недавно зажившая сабельная рана.

— Что ты за человек? — спросил его Андрейка.

— Живем в неге, едим в телеге, — щеголь с погоста и гроб за плечами! Вот и удачай!

Андрейка думал, думал, так и не отгадал. И только, когда Васька показал из-под полы небольшой кистень, Андрейке все стало ясно.

— И ты с нами?

— Не всякому под святыми сидеть... Загладить хочу прегрешения.... Смиренье девичье обуяло: будь потеплее, собирал бы я ягоды по лесным дорогам.

Андрейка рассмеялся.

— Не смейся горох над щами, и ты будешь под ногами!

— Бог милостив! По тому пути не пойду...

— Так оно и есть: коломку жуем, а душок не теряем...

Кречет усмехнулся, прикрывшись воротом. Глаза его были насмешливые, карие, усы рыжие.

— Чудной ты какой-то! — покачал головою Андрейка.

— Год от году чудных более станет... А я не один, нас много. Дай справитесь, а там и нам будут кланяться.

Андрейка совершенно растерялся. Теперь он уже не знал, что и говорить. Запутал его Кречет.

Васька пришлось пушкарям по душе. Особенно облизнулся с ним Мелентий, такой же, как и он, шутилка и прибаутошник.

Дворянин Кусков, после разговора с Василием Грязным, стал держаться в стороне от пушкарей. Не понравился ему и Кречет. Народ так решил — пнушается «гулящим». Что из того! Воеводы дали приказ брать в войско каждого «охочего». И Васька отныне такой же, как и все. Он весьма искусен в игре на сопели<sup>1</sup>. В дороге решил пушкарей хитроумным свистаньем. Смешно слышать соловьиное шенье зимой, среди снегов.

Васька сразу стал самым занятным человеком в пушкарском обозе. Удивлялись ему разные люди — пососаники. Больно хорошо он мужицкую жизнь знал, да и сказочник был отменный, не хуже Мелентия.

Войско шло так:

В головной части на лихих скакунах беспорядочно тарповали всадники ергоульного, разведывательного, полка. Это самые отборные по ловкости, смелости и выносливости воины. Они должны были разведывать пути,

<sup>1</sup> Сопель — дудка.

бить «языков» и открывать неприятельские засады.

Ертузные то пускались вскачь вперед, скрываясь из виду, то рассыпались по сторонам, лихо перескакивая через канавы, ямы и поваленные буреломом деревья.

Вслед за ертузом нестройною толпою с лопатами, заступами и мотыгами на плечах двигались даточные люди, высланные в помощь войску попутными селами и деревнями.

Основное войско возглавлял передовой полк. Им командовал астраханский царевич Тахтамыш, вместе с Иваном Васильевичем Шереметевым, Плещевым-Басмаповым и Данилою Адашевым.

«Большой», самый главный, царский полк вели Шиг-Алей, Михаил Глинский и Данило Романович.

Полком «правой руки» начальствовал татарский царевич Кайбула да князь Василий Семенович Серебряный.

Полком «левой руки» — Петр Семенович Серебряный и Михаил Петров сын Головин. В этом полку шла нижегородская мордва. Ее вел нижегородец Иван Петров сын Новосильцев.

Сторожевым полком командовали князь Курбский и Петр Головин.

Кавказских горцев, входивших в состав полка, вели князья Иван Млашка и Сибак, пришедшие с Терка служить верою и правдою Москве. Они пользовались особым расположением царя. Он любил слушать рассказы их о кавказских народах, о горах и плодоносных долинах далекого Закавказья. Царь назначил им для услуг знатного их родной язык дьяка Федора Вокшерина.

Муромской мордвой предводительствовал богатырь мордвин Иван Семенов сын Курцов.

Над казаками атаманствовал ляхой рубака Павел Заболотный, а всем парядом (артиллерией) ведал назначенный лично царем литвин Иван Матвеев сын Лысков.

Закованные в латы, в кольчугах, в нарядных шелках с пышными султанами из перьев, в накиннутых на плечи собольих шубах, тихо ехали впереди своих полков парские воеводы на тонконогих, великолепных аргамаках. Под седлами расшитые узорами чепраки с серебряной бахромой.

Конские гривы прикрыты сетями из черной пряжи, «шубо не лохматило»: сбруя обложена золотом, серебром, бляхами с драгоценными самоцветами. Даже на ногах у коней и то золотые украшения и бубенцы.

Беспокойно покачивают пышными султанами воеводские кони, как бы предчувствуя боевые схватки впереди.

На поясах у воевод драгоценное оружие:

мечи, сабли, палаши, а на седлах маленько набаты.

За воеводами, кони цугом везли в розвальнях, убранных казанскими и персидскими коврами, золоченые щиты, запасные латы, кольчуги, меха с вишном, бочонки с соленой и сушеной рыбой, сухари, мороженую птицу...

Многие дворяне, одетые нарядно, укутали своих ногайских иноходцев звериными шкурами, вместо чепраков. Шкуры цельные; лохматые лапы с когтями, охватывают бока лошаей, высушенные головы хинчиков лежат выше седельной луки. Барсы, рыси, белые медведи... Меха заморских чудиц чередуются с ковровыми, бархатными чепраками, с войлочными и роговыми шапками.

Когда под вечер раскинули станы в сосновом лесу, на ночлег, Андрейка, как и другие, отправился в лес ломать сучья для костров. Он с восхищением любовался из-за деревьев воеводами и богатыми дворянами: «вот бы мне-то!» Глаза разгорелись от зависти; особенно хороши красные и зеленые сапоги воевод с золотыми и серебряными подковами.

Вернувшись из леса и разжигая костер, Андрейка сказал с тростью:

— Ничего бы мне такого и не надо... Лишь бы коня, да саблю бы такую, да зеленые сапоги. И потягнулся бы я в те поры! С шев хопь!

Бречет внимательно посмотрел на него, улыбнулся:

— Тебя должны бабы любить.

Андрейку как огнем ожгло. Ему вспомнилась Охима.

— Уймись! Не то, смотри!..— сердито проворчал он, сжав кулаки.

Бречет рассмеялся:

— Аль тужит Нахом, да не знает о ком? Так, что ли?

Молча разводил Андрейка огонь, пытаясь не смотреть на Бречета. Ему стало не до шуток.

— А ты не дуйся! Правду я молвил. Мысль твоя легкая... Жизнь тяжелая, а мысль легкая... Сто лет проживешь и ничего не добьешься!

Андрейка смягчился:

— Ладно, болтай. Сатана и святых пекуншал.

И, немного подумав, спросил:

— Как узнать — любит или нет?

Из леса с оханками сучьев врассыпную подходили к кострам остальные пушкари. Затрещала хвоя в огне. Андрейка сделал Бречету знак: «молчи!»

Поблизости, вдоль лесной дороги, раскинулись напалши татар, мордвы, черемисов, чувашей, горцев. Там войны оттаивали в

бадьях над огнем снег и погли коней. Набрасывали на них покрывата, кормили сеном, разговаривали с ними по своему, как с людьми. Другие точили о брусья ножи, тесаки, кинжалы, кривые, похожие на косы, сабли.

Воеводам и дворянам холопы расставили нарядные шатры; окутали их медвежьими шкурами, устлали досками внутри и тюфяками, снятыми, с внутренней.

Простоплюдины — пешие и конные ратники — составив конья «горкой», настрелили шалаши из словых виц, ветвей и прутьев, покрыв их войлоками, внутрь положили селому, сено и залезли туда на ночлег. А некоторые снаружи обвалили шалаши и снегом, чтоб «теплее было».

Андрейку мучило любопытство — захотелось пойти и поглядеть на прочие таборы.

У соседних костров грелись люди с задумчивыми лицами, слушая старого бахаря. Тихим, ровным голосом рассказывал он о том, как московские рати рубились на Дону с поповчатами: о великом князе Дмитрии Ивановиче Донском рассказывал.

Андрейка миновал касимовских, темниковских, казанских и ногайских татар. Обошел таборы чувашей, мордвы. Где-то ему пришлось увидеть, как молятся язычниками. Любопытствовал, как зовут их бога. Татары сказали: «Алла Ходай», чуваша: «Тора», черемисы: «Юма», мордва: «Чам-Пас», вотяки: «Имар».

Нарню стало смешно: сколько у людей богов! Захотелось знать, чей бог лучше. А кто может ответить? И как же так люди молятся разным богам, а делают одно? И русские, и татары, и черкесы, и мордва и другие вместе идут на Ливонию. И в походе все дружны. Помогают татары мордве, русские черкесам, татарам, мордва русским. И просить не надо.

«Охима правду говорила — боги разные, душа одна!»

Утром застряли розвальни с пушкарями под горою. Андрейка крикнул о помощи. Прискакали кавказцы, чуваша и татары, и все вместе вытащили розвальни на пригорок. Даже хлебом делятся между собою. Андрейке захотелось узнать, как по-ихнему «земля».

Чуваша сказал: «Сер».

Черемис: «Моляще, Рок!»

Татарин: «Лир»

Вотяк: «Музьем»

«Диво-дивное! — думал Андрейка, — и землю зовут по-разному, а вапцать ее идут все заодно!»

Андрейка остановился около костра. Рядом розвальни с лыжами, лодками, досками, баграми... В лодках — люди, спят по несколько

человек вместе. Так теплее. Освещенные пламенем костров торчат из лодок лапты.

Везде по дороге видел Андрейка шатры и розвальни с кадлушками, с лопатами, бадьями, ломами. Даже наковальни и молоты лежали в нескольких саях. А доспехов в розвальнях видимо-невидимо. В темноте ржали лошади, поблизости от них уныло мычала скотыня.

В одном месте остервенело набросились псы. Оказалось — каравал с ядрами и зеленными бочками. Встрепенулась стража, зашевелились пищали, и рогатины в руках...

Дальше целое стадо косматых быков. Запороженые инеем, побелевшие, сбились в гучу, опустив головы.

— Эй, кто ты?

Андрейка назвал себя.

Из шатра глянуло знакомое лицо... Ба! Григорий Грязной! Тот, что запрадал его в чулан на Пупечном дворе.

Андрейка посмотрел на него усмешливо и залоропился — «от греха» дальше. Отойдя, плюнул, изругался. Обидно было вспоминать.

По бокам дороги сосны в инее, как в жемчуге, слегка освещены кострами.

— Чу! Кто там?

Зашевелились ветви в лесу, посыпался снег. К костру подбегал всадник в кольчуге и с секирой. Через седло перекинута большая охалка словых лап. Он соскочил с коня, бросил шук ветвей в огонь. Запрещала хвоя. Взглянул приветливо:

— Что? Аль не спится?

— Студено... Разомнись малость.

— Хоть бы скорее столкнуться.

— Не скор бог, да меток!

— Победим, думаешь?!

— Не победим, так умрем. Прибыльнее — победить. Не то я на своей пушке удавлюсь.

— М-да! Силушки у нас много. Срамно, коли они нас побьют... А уж в полон и я никак не сдамся, руки на себя наложу.

— Стало быть, так и этак — лучше победить...

— Выходит — по-твоему. Дай-то, господи боже!.. Сокруши супостатов, немцев проклятущих.

Ратник снял шлем, помолился.

Андрейка тоже.

Перекинулись приветливыми словами и разошлись.

Андрейка так и не достиг головной части войска. Уж очень длинно. Вернулся к своим товарищам. Они спали в розвальнях, примостившись около пушек. Последовал их примеру и Андрейка. Тоже забрался под войлочное покрывало, зарылся в сено, уткнулся носом в пушку, обернутую соломой, обнял ее и быетро уснул.

**Быстры догорают.** Пыдали, с ветром, доносятся волчий вой.

На заре заголосили трубы, разбушевались вобаты, свирели подняли докучливый визг. Воины, трясясь от стужи, стали вылезать из своих приземистых шалашей. Потирали мкрые от снега ладони.

— Опять утки в дудки, тараканы в барабаны! — раздался голос Кречета.

Андрейка потоптался на снегу. Холодно. Зуб на зуб не попадет.

— Эй, рыжий! Земля-то как промерзла! Страсть!

Мелентий, поправляя лапти и дрожа от холода, преворчал:

— Земля не промерзнет — то и соку не даст.. Ей хорошо! А вот нам-то..: На спине словно рыбы плавают. Бр-р-р!

Поднялся и Васятка Кречет:

— Эх, вы, бараны без шерсти! Идемте, харю оправим... Бани парит, бани жарит...

— Ух! стужено, — смежился Андрейка.

— С бабой теплее, вестимо...

Мелентий рассмеялся, усердно растирая лицо снегом:

— Волк и медведь, не умываючись, здорово живут... Не так ли, Андрейка?

Бордатый сохнул, что в соседстве понл коней, почесал затылок:

— К стуже можно привыкнуть, а к бабе... Какая попадется... От моей бабы все тараканы в избе сохли. Ой, и влая!

Парни громко расхохотались.

Шушкарки достали с воза хлеб, рыбу. Помолились. Пожевали.

Над лесом — словно лужа красного вина. От людей, от коней идет пар. На месте костров смердят головешки. Пахнет гарью. Снежные бугры, снежные кустарники порозовели. Громкие голоса воинов, окрики татарских наездников на коней, свист, пенне, голоса сотников, и десятых ворвались в лесную тишь шестрым, властным шумом. Впереди, там где-то далеко, тоскливо мычали быки, тывкали собаки возбужденно, грохотали удары молотов по наковальням...

Татары вкочили на коней. Вдали поднялись воеводские хорутви, лес коний снова вырос над толпами воинов. Заскрипели полозья.

Войско двинулось дальше.

Много было смеха, когда Кречет, забавно отчеканивая слова, спыл про то, как один чернец сотворил с черничкой грех, жалобно припевая «ма-а-атушка!»

Его пенье прервал какой-то шум, неистовые крики. За спиной что-то неладное.

Андрейка с товарищами побегали на подмогу. Завязали в сугробах два тура — эталне дынды, как их народ прозвал — «турусы на колесах». Туры бывают на земле, а то винь ты, посадили на колеса. Один смех. Боши шестерней тащат эти бревенчатые балшии, да еще пушки в них — ишь, рыла выставили — да пищали затынью... А тут, как на грех, опять торы, да овраги.

— Эй, вы, бояре, вылезайте! Ишь ты, бабилнеш в свои колокольни!.. — закричал Андрейка на «гулейных», сидевших внутри туров.

Началась работа. Прискакали татары. Привязали к саням своих коней, налегли всей массой. Общими силами вывели туры одну за другой из ямши.

Уже совсем рассвело, когда шушкарки вернулись к своему обозу. От лошадей исходила густая испарина, гривы их и шерсть покрывались белыми завитушками.

Наступило утро.

#### IV

После ухода войска в Ливонию Иван Васильевич стал еще более сближаться с иноземцами; часто собирал их у себя во дворце, осведомляясь об их интересах в московской земле, богатстве их стран, о государях. Расспрашивал и о многопечатании, о дышовных наука.

Сильно обрадовался он, когда узнал, что из Англии, через Архангельск, прибыл в Москву, ученый физик Стандинш. Подолгу просаживали оба они в кремлевских покоях, беседа о морях, о воде, о звездах, об огненных составах для стрелания (о чем бы ни шла речь, царь всегда переводил разговор на ядра, порох, селитру).

Стандинш получил от царя, среди многих подарков, богатую бархатную одежду с ризунками, с золотом, на собольем меху, опушенную черным бобром.

Царь прилагал всяческие усилия к тому, чтобы доказать свое расположение к иноземцам, особенно к англичанам. Некоторым из них были выданы царские грамоты, освобождавшие их от явки на суд по тяжбам с русскими. Каждому иностранцу отводился отдельный двор. Они могли жаловаться на русских по самым малым поводам. Ни в чем не было помехи иноземцам. В вере тоже. Как хотели, так и веровали, хотя бы даже находясь на государственной службе.

Настойчиво льнули к царю Ивану Васильевичу поданные римского кесаря<sup>1</sup>. Они до-

<sup>1</sup> Германского императора.

бывались выгодной торговли для немцев. Стараясь угодить царю, они лицемерно осуждали ливонского магистра, архиепископа и ливонских командоров за то, что те заключили союз с Польшей и ездят «пьянствовать и развратничать к королю Сигизмунду». При царском дворе опять появился выходец из Саксонии — Шлитте. Опять началась танцевальная беготня его вокруг царя.

Ганс Пеннедос, Георг Либенгауер из Аугсбурга, Герман Биспинг из Мюнстера, Вейт Сег из Нюрнберга, Герман Штаальбрuder, Николай Пахер и многие другие немецкие купцы и мастера стали постоянными гостями на царских обедах.

Иван Васильевич не раз говорил — хорошо, что англичане пробились в Москву через Студеное море (Белое). Говорил при немцах, испытующе поглядывая в их сторону. Немцы хранили бесстрастное молчание. Тогда царь начинал говорить о том, что он добивается моря для них же, для торговых людей, — ему угодно завести сношения со всеми государствами Европы. Немецкие купцы приветствовали намерение царя Ивана добыть порт на Балтийском море.

— Нам земли не надо, — махнув рукой, говорил Иван Васильевич. — Земли у нас много. О морской водичке тоскует наше чрево... Захиреет оно без оной волины.

После беседы с иноземцами, царь нередко созывал на тайное совещание дьяков Посольского приказа. Все приметили большое беспокойство у царя после ухода войска.

Однажды, созвав дьяков в «Набережной Горнице», где он вдали от двора и бояр любил беседовать со своими людьми о тайных делах, царь, обратившись к Висковатому, сказал:

— А ну-ка, Иван Михайлыч, рассуди, как нам в мире с Фердинандом жить, чтоб войне нашей помехи не учинилось, и чтоб порухи нашей дружбы с ним не было?

Висковатый — широкий, коренастый бородач, с косыми монгольскими глазами, пожевывая губами, вскинул очи вверх, как будто что-то увидел на потолке, и тихо ответил:

— Держать в страхе немцев надобно... и дацкою королуса.

Иван, обрадовавшись, вскочил с своего престола, а когда и все дьяки поднялись с своих мест, он приказал им спокойно сидеть и слушать.

— Мысли у нас с тобою, Иванушко, сходятся... Я так думаю: немного ума полагалось магистру, чтоб понадеяться на Фердинанда. Немного ума и у архиепископа, благословившего сию войну. А Дания страшится за свою провинцию Норвегию... Под боком она у нас... Там я тоже войско держу...

Сказывали мне, будто и в самой Дании неспокойно... Вельможи восстают на короля. Власть отбивают. А в затылке у них — Германская империя...

— Оно так, государь, а приказу посольскому при том же, ведомо, что в Данию ливонские немцы то и дело ездят, и королус Христиан надеждою их обольщает...

— Головы им туманы! и нас пыгает... Король тот не страшен нам, и дружба его не столь дорога нам, как дружба императора.

Приподнялся, поклонился царю дьяк Иван Языков, знавший латинский, польский, французский и немецкий диалекты.

Он был низок ростом, курнос и веснушчат, но вместе с тем, уже кое-чем позанимывался за границей в манерах и одежде: носил короткие кафтаны, крепко душился заморскими духами и хитро вел в королевствах посольские дела.

— Великий государь! — сказал он, еще раз поклонившись и прижав руку к груди. — Где, в ином месте, слушаются ливонцами так, как то видим мы в немецких государствах?! Трусами, еретиками, шутками их прозывают. Аломанские князья и города жалеют их жалостию христианскою, как погибавших, но не разумом политики. Ливония яклается с католиками, в Дерпте епископ — католик, да и само дворянство крепко еще держится за ту веру, а в немецких землях родилась иная вера, противная папе, противная польской. Императору нужна дружба с нами для борьбы с Турцией...

А о Дании Иван Языков сказал, что королевские канцлеры в Дании Йоганн Фриз и Андерс Барба по разному думают о войне Москвы с Ливонией. Немец Андерс Барба против вмешательства в эту войну, ссылаясь на могущество московского царя, датчанин Фриз за немедленное вмешательство. А король Христиан сбит с толку — ни туда, ни сюда, — да и не помогает он хворью тяжкою.

— Разумею... — задумчиво произнес царь.

— Дозволь, государь, и мне молвить слово... — с визким поклоном поднялся с своего места бывалый человек, знавший шесть иноземных языков, дьяк Федор Писемский. Белокурый, розовощекий, с дерзкими глазами, приводившими в смущение иностранных послов.

— Говори... — кивнул ему Иван.

— Великий государь, отец наш! Давно ли поляки отняли Данию и Пруссию у немцев? Давно ли польские мечи перестали бряцать на аламанских полях? Немецкая страна устала от войн, она разорена своими же алчными князьями и богатынями...

Иван Васильевич несколько минут сидел в кресле, глубоко задумавшись.



— Слышал, Иван Михайлыч?! — спросил он Висковатого.

— Молвию я, государь... — заворочался, грузно вставая, Висковатый. — Сам господь бог указал нам путь. На кого надеются рыцари? Пускай немецкий император о том поразмыслил. Худа от того ему не будет.

— А Крым? — пытливым взглядом посмотрел в лицо Висковатому царь.

— Есть у тебя, государь, и там верные слуги... Образумят малоумного Девлета, подстрекаемого западом супротив нас. Посол наш Афанасий Нагой не дремлет, и всею подарками хана не тешит, да и Василий Сергеевич Левашев не скудоумен.

— Ловок он, знаю, однако, п у крымского царя есть мудренцы. Хорош Афанасий, но соблюдает ли он меру? Горяч он. Не поже с татарами горячиться. На засеках не лишнее стражу усилить гораздо... Да тонцов надо поболее завести в Крым.

Царь и посольские дьяки остались при одной и той же мысли: на подороже не останавливаться.

— Море нам надобно... — задумчиво произнес царь. — Пошлите в Ливонию еще грамоту, а в ней опишите:

«Необузданные ливонцы, противящиеся богу и законному правительству! Вы переменили веру, свергнули што императора и папы римского: коли они могут сносить от вас посрамление и спокойно видеть храмы свои разграбленными, то я не могу и не хочу терпеть обиду, učinенную мне и моему народу. Бог посылает во мне вам наказание, дабы привести вас к послушанию».

Царь говорил, а дьяки записывали.

При этом письме Иван Васильевич, усмехнувшись, велел отправить магистру бич:

— Подарочек от меня ливонцам, ливонцам, ливонцам.

Перед тем, как удалиться, он сказал:

— Послов ливонских, кои к нам едут, наказал я принять Адашеву да дьяку Михайлову... Беды навалились — за ум хватились! Недостойно трусам и бражникам лицезреть московского царя... Недостойно и царю, ради их спокойствия, итти вступить! Немедля шлите мою грамоту магистру. На боюсь я никого!

В паричиной опочивальне было тихо, когда туда пришел царь. Анастасия спала, крепко обняв ручкой ребенка. Иван тихо приподнял одеяло и с нежною улыбкой залюбовался сыном. Хворь Федора прошла. Спасибо аглицким докторам! Помогли. Анастасия, как всегда, была бледна. Лежала на подушках, словно неживая.

Иван откинулся в кресле, с грустью подумав: «а бедняжке моей, дорогой Настиньке,

и аглицкие не помогают! И молитва недуг не изгоняет! В чем провинились мы перед всевышним?! Коли я виновен — покарай меня, господь! Но в чем же могла провиниться перед тобою она, чистая, непогрешимая, яко голубица, раба твоя?»

Амурый, полный недоумения и укоризны взгляд царя остановился на иконах. Долго царь вглядывался в красновато-золотистые лики икон. В эту минуту он думал о своей великой власти, о своем божественном назначении: все он может похотеть и сделать: нет такого человека на российской земле, который бы не чувствовал себя его рабом, и однако...

Лицо царя бледнеет, губы дрожат, грудь его тяжело дышит, в глазах молнии:

— Тяжко!.. Ужели умереть?! — едва слышно шевелит он высохшими губами, с недоумением вглядываясь в лицо спящей жены.

В опочивальне тихо-тихо, слышно, как где-то в подполье скребется мышь.

В изнеможении опускается Иван на пол и, став на колени, кладет перед иконами глубокий поклон. Из тайного кармана у него выпал небольшой черкесский княжал, наделав шуму.

Анастасия проснулась, приподнялась, взглянула на царя:

— Опять плачешь? Не надо! Утри слезы... Я боюсь...

Иван, большой, страшный в своем горе, быстро поднялся с пола, отвернулся. Заплакал царевич. Анастасия невольно дала ему свою пустую, худую грудь... Плач ребенка только усилился.

В палате тихо и холодно. Трехсвечник озаряет часть стола, за которым чинно сидят ливонские послы Таубе и Краузе со свитою. Всего пять человек. Рядом с ними Адашев и Михайлов. На стенах тусклым живописью. Из сумрака, сквозь облака смотрят демоны. Тут же множество нагих костлявых старцев с седыми бородами до земли, жмутся друг к друг, словно от стужи. У их ног извиваются зеленые драконы.

Переговоры закончились ничем. Послы долго не соглашались уплатить поголовную дань как того требовала государева казна. Сошлись на том, что Дерт будет ежегодно присылать в Москву одну тысячу венгерских золотых, а Ливония заплатит за воинские издержки сорок пять тысяч ефимков. И когда был написан договор, послы в страшном смущении заявили, что у них с собой денег нет.

Царь Иван, которому о том донесли, зло усмехнулся.

— Чего много ждать от ярыжников? Пускай с тем же усакаивают в Ливонию, с чем прискакали. А на дорогу угостите их, чтоб на всю жизнь запомнили.

И вот теперь перед притихнувшими, смущенными послами и их товарищами наставили золотые блюда, драгоценные сузеп, чаши и кубки. Кушаний и вин никаких!

Таубе шепнул Краузе на ухо: «Долго нам еще ждать?»

Краузе ответил Таубе: «Вероятно, таков обычай».

Прошло много времени: свечи стали отекать; вот-вот погаснут, а кушаний все нет и нет.

Красивый, дорожный Алексей Адашев с усмешкой переглядывался с дьяком Михайловым.

Смущение немцев возросло. Одна свеча уже догорела. Старцы на стене побледнели, ушли куда-то вглубь. Мрак в этой большой холодной палате казался липким, неприятным. Демоны в облаках почти совсем скрылись, только их противные рожи с какими-то ехидными улыбками из мрака в упор смотрели на послов... Каменные своды давили, — казалось, воздуха мало.

— Огонь гаснет, гер Адашев! — наконец решился подать голос Таубе.

— Когда станет темно, мы уйдем... — отозвался Адашев.

— Правители ваши обманывают нас, — продолжал он. — Не канцлер ли учил, договор о дани подписать, а денег не платить... Вы думаете — мы не знаем? Вероломство во воровство во всех делах ваших. Московский царь, ведь, мужик! Он не поймет, что мы передадим это императору, и договор отменят...» Не канцлер-ли так говорил? Видать, вы забыли, а мы помним... У мужиков память надежнее рыцарской.

Немцы стали тихо советоваться между собой, продолжая сидеть за пустыми блюдами. Скрипнула дверь, послышался смех.

Адашев и Михайлов насторожились: «парь»! Другая свеча погасла. Тогда Адашев встал, громко провозгласил:

— Поблагодарите государя и великого князя Ивана Васильевича за прием и возвращайтесь к себе домой, с чем приехали... Да не судите строго нас, мужиков! Чем богаты, тем и рады!

Растерянные, обозленные, поднялись из-за стола немцы и, опустив головы, последовали за Адашевым и Михайловым.

После их ухода в палату вошел Иван Васильевич с Анастасией Романовной в сопровождении дьяка Висковатого и двух телохранителей — кавказских князей, державших в руках светильники.

Иван Васильевич остался очень доволен приемом послов.

— Будут помнить наше угощение гордцы, — усмехнулся он, взглянув на Анастасию. — Вознеслась неметчина не по разуму.

Царица слабо улыбнулась. Через силу, чтобы доставить царю удовольствие, пошла она посмотреть на его выдумку. Одета в темносинюю с серебрястым отливом дунегрею, обшитую бобровой оторочкой, слегка нарумяненная, с подкрашенными губами, она была прекрасна.

Висковатый, и тот, исподтишка залюбовался ею.

— Горе создающим «дружбу» на красноречии и лжи! — медленно, в раздумьи произнес Иван. — Обладать землей, но возделывать ее — худо, но еще горше — обладая государством, думать только о своем благополучии и не иметь сил, чтобы оборонить свою землю. А долги надо платить. Ливонцы забыли, что долг — корень лжи, обмана, забот, посрамления. Я никому никогда не должен. Я ношу на своей шее золотой крест, а ливонские правители тяжелые жернова... Могут ли люди почитать таких правителей?

Висковатый хорошо знал Ливонию, ее обычаи и всех правителей, а потому и считал нужным сказать при расставании с царем:

— В одной немецкой стране есть владыки и нищие. Между ними — яма... Черный люд: эсты, латыши и ливы проклинают своих господ. Кто там хозяин? Кто отец? Нет правды, нет любви к своей земле... нет и силы! И я так думаю, милостивый батюшка, Иван Васильевич: наши воеводы неслыханными подвигами прославят имя твоё во век.

Ливонских послов велено было вести не прямой ржевской дорогой, а окружным путем — «петлями», — чтобы не видели они приготовлений к войне и попутных станов.

Сидя в возке, Таубе и Краузе желчно злословили про «московского варвара», издававшегося «над самыми святыми, христианскими чувствами». Оба дали клятву друг другу: очерпнуть перед всей Европой «врага христианского мира». «О, если бы император принял сторону магиспра! Ведь он же обещал! Неужели он не защитит своих единокровных братьев? Не мы ли разрушали в угоду имперскому протестантизму в своих городах не только римско-католические церкви, но и русские православные? Не мы ли мешали русским купцам вести торговлю с Ганзой и прочими? Не было случая, чтобы мы выказывали дружелюбие к России. Император должен оценить это! Он жемал этого!»

Мороз, однако, давал себя знать. Ливонские послы, прижавшись один к другому, дрожали от холода, мерзали носы, щеки. Мысли путались, приходили в полный беспорядок. И осуждая, будто бы, Ивана, послы вдруг, неожиданно для самих себя, переходили к осуждению магистра Фюрстенберга: «слаб», «недалек умом», «нерешителен», «не горд», «близорук»... Недостатков у магистра оказалось больше, нежели у «восточного варвара»...

Затерянные в снегах деревушки сверкали алмазами, словно в сказке. Основные и словые чащи вытянулись по сторонам дороги мощными, уходящими под самые облака, темными массивами, говоря о могуществе и богатстве ненавистной ливонскому сердцу страны. Ночью леденил душу тоскливый волчий вой. Хищники не боялись человека: лезли на коней, и только огневой выстрел спасал ливонцев от опасности оказаться в волчьих зубах.

После всего пережитого пугала не на шутку мысль о войне с этой богатейшей, громадной, загадочной страной... Представлялось безумием вступать в эту войну. На кого надеялся магистр, затеявая споры с Москвой? «Найдешь ли более опасного, более коварного, более кровожадного и сильного врага, нежели этот?!»

Волки мчались по пятам посольских возков, иногда забегали вперед и садились, замирая в ожидании, по бокам дороги. Казалось что и мороз и звери подучены царем преследовать «честных ливонских дворян».

Послы молились про себя о том, чтобы хотя бы живыми то добраться до дому. Господь с ними — и с царем, и с магистром! Только бы вернуться подобру-поздорову к своим семьям!

Жуткая тревога, боязнь «лукавого умышления» не покидали царя. Продолжали снится страшные сны: кто-то наваливался ночью на него и душил, чего-то требовал... А вчера после отъезда ливонских послых царь перестал есть и пить. Во всем чудилась отравка... Только из рук одной Анастасии мог принять он пищу, приготовленную ею самой. Больше никому веры не было.

Царь сел «в осаду» — затворился в своих хоромах, как в крепости. Царица убрала от него князья, сабли, пистолы. Она ходила за ним по пятам, хотя он, чуть не с кулаками накидывался на нее, чтобы оставила его одного...

— Нечисть кругом, волшебство, волхование!.. В открытом поле ратоборствовать с царем, нуды, бояться! Все у моих ног, яко гады ползают, а на худое — сильны! В волхова-

нии и порче они сильнее царя!.. Где ж ему бороться со всею чародейской нечистью? На естве, на питье, так и знай — лихо. А за что? За войну? Слещи! Несчастные!

Иван Васильевич оборачивался к окну и кричал:

— Не послушаю вас! Не послушаю! Я — царь! Моя государева воля — воевать!.. Ослушникам голову с плеч. Бог на небе — царь на земле!

Он сегодня не умывался, не расчесывал, как всегда, свои волосы на пробор. Не смотрелся в зеркало.

— Анастасия! — крикнул он. — А Висковатый?! Како мыслишь?

— Добрый... хороший... Верь ему.

Царь вопросительно смотрел на жену.

— Я... верю, но не ошибусь ли?!

У Ивана дрожала нижняя губа. Видно стало ровный ряд белых, сильных зубов.

— Тела ради, душу погубить захотели? — подойдя к окну, снова закричал Иван. — Недолог путь к падению! Будто не знаете?

— Да ты побереги себя, родимый мой, бабюшка! Бог с тобой!

Иван сел в кресло. Бледное, в слезах, лицо жены отрезвило его.

— Солимана... Крым... Ногай... Литву... Угры... Людшек ливонских... и свейских... гордостью дымящихся... хотящих истребить нас и православие... Все! Все забыли!

Анастасия подошла к нему, обвила его шею своими тонкими теплыми руками и, целуя его голову, стала тихо успокаивать его:

— Милый мой, Иванушка, дружок мой, государь, ну кто тебя отправит? Кто тебя изведет чародейством? Ключник берет еству и сам ее пробует, после него дворецкий вкушает, и потом стольник тоже пригубит, а кравчий ест больше тебя да на твоих глазах... Басатик, солнышко ты наше, пожалей деток малых... не убивайся попусту!..

Лицо Ивана оживилось. Он вскинул глаза на царицу, взял ее руку, прижал к губам:

— Слово царское сбылось! Идут они полями, лесами, бором дремучим... Идут! Москва в походе!.. На немцев проклятых! На злодеев! Почему же ты меня-то непустила? И почему советники отсоветовали? Набранном поле я ничего не боюсь! Народ там! Огонь! Потеха! В келье помышляешь, на поле в помышляешь и храбростью дышишь, железом правду добываешь...

Анастасия, продолжая ласкать мужа, тихо говорила:

— Обожди... Не торопись... Бог укажет...

— Знахари-шестуны поведали: любят меня воинники! Еще поведали они, — сказал царь шопотом, — будто обо мне и в деревнях богу молятся...

Он вздохнул:

— Правда ли? Не врут ли? За что обо мне молиться? Ну, да ладно! Позови-ка Тетерина, библию буду слушать. Звездочет-болтун надоел!

Анастасия вышла, и вскоре вернулась в сопровождении человека малого роста, одетого в черненькую рясу.

— Эх ты, Яша, раздобыл! — с улыбкой сказал царь. — Аль каши наелся?

Анастасия в угоду царю рассмеялась.

Тетерин низко поклонился:

— Милостивый батюшка, государь! На твоём дворе всякая тварь отолстеет и сыту бывает.

Иван улыбнулся:

— Отравы не боишься?

— Пошто отравы? — в испуге спросил Тетерин.

— Вот возьмут твои враги да и намешают тебе либо отравы, либо приворотного зелья, а ты и не узнаешь...

— Никому то, батюшка-царь, я не нужен, — шпротушно вздохнул Тетерин. — Самый последний человек я. Богомолец, сирота — и все тут.

Иван насупился: «молчи!» И, оглянувшись, кивнул Анастасии со значением.

— Читай Пова!.. Царица, слушай!

Тетерин раскрыл библию, помолвился. Помолвились и царь с царицею. Откашлявшись, стал читать.

— «...И отвечал Нав и сказал: о, если б верно взвешены были вопли мои и вместе с ними положили на весы страдание мое! Оно, верно бы, перетянуло песок морей! Оттого слова мои неистовы. Ибо стрелы вседержителя во мне; яд их шьет дух мой; ужасы божины ополчились против меня... О, когда бы сбылось желание мое, и чаяние мое исполнил бог мой!..»

Царь поднялся с места, бледный, взволнованный:

— И боюсь я Пова и не могу оторваться, — задыхаясь от волнения, произнес Иван. — Читай!.. Больно мне! Увы! А все ж читай!

Тетерин, стоя перед аналоем, рыдающим голосом продолжал — сначала читать по латыши, а затем переводить прочитанное:

— «...Твердость ли камней — твердость моя? И медь ли плоть моя? Есть ли во мне помощь для меня? И есть ли для меня какая опора? Но братья мои неверны, как поток, как быстро текущие ручьи, которые черны ото льда и в которых скрывается снег...»

— Довольно! — стукнул ладонью по столу царь. — Раскрой книгу Царств. Про Давида... Как отсека голову...

Голос Тетерина звучал с торжественной медлительностью, бодро, восторженно:

— «...И опустил Давид руку свою в сумку и взял оттуда камень и бросил из пращи и поразил филистимлянина Голиафа в лоб, так что камень вонзился в лоб его, и он упал лицом на землю...»

Царь выпрямился, глаза его оживились, на губах мелькнула улыбка.

— «...Так одолел Давид Голиафа пращею и камнем, и поразил филистимлянина и убил его; меча же не было в руках Давида. Тогда Давид подбежал и наступив на филистимлянина, взял меч его и вынул из ножен, ударил его им... отсек ему голову его. Филистимляне, увидев, что Голиаф убит, испугались и побежали...»

Царь громко рассмеялся. Анастасия тоже, — опять в угоду царю.

— Кабы и нам было — сказал Иван, — чтобы печатные книги, подобно грекам, Венеции и Фрагии<sup>1</sup> и прочим языкам излагать. Пускай люди наши читают единое. Писанные же книги — темны. Недоброхот может волею своею и бесчестьем писать и во вред нам. Пош Семен напишет — «служите нелицеприятно», а дьякон Ефимка: «не слушайте царя!..» и многое другое. А нам то ведать не мочно. Велико наше государство и нужны нам мужи, богатые разумом науки.

Он встал, подошел к Тетерину.

— Постой, дай взгляну я...

Книга большая в кожаном переплете, прикована к аналою цепью. Иван взял ее, раскрыл, погладил бумагу, осмотрел переплет.

— Добро! Зри, государыня!

Анастасия уже не первый раз видит эту книгу, не в первый раз она гладит, по примеру Ивана, шероховатые влажные страницы и переплет.

— Добро, батюшка-государь, добро!..

И в самом деле, Анастасии полюбилась эта книга. В ней так много сказано о жизни царей когда-то живших и давно умерших... И к тому же Иван Васильевич всегда успокаивался, когда слушал чтение ее.

Царь показывал Анастасии каждую новую книгу, привезенную ему из-за рубежа. Сам он посылал людей в чужие страны за книгами. Царь любил книги, собирал их. Горницы в его покоях были полны ими и на многих языках... Во все дни, когда он сидел «в осаде» толмачи приносили разные книги и читали ему.

Одну только не любила царица — Троянскую историю» Гвидо де Колумна. А не любила ее потому, что эта книга причиняла царю великое беспокойство.

Он прерывал чтение, вскакивал с места и

<sup>1</sup> Италия.

начинал ходить по всему покою. Его голос становился тихим, но в нем звучала за- таенная злоба.

Изменников бояр и служилых людей, бе- жавших в Литву, он называл подобными Ан- генору и Энею, предателям троянским, «мно- гую соткавшим лож».

Припоминал свою болезнь.

Он поклялся Анастасии, что он никогда не забудет того, как бояре, видя его на смерт- ном одре, хотели захватить власть. Разве не они звали парод присягнуть князю Владимиру Старшнему, мня в нем своего боярского ца- ря? Сильвестр, кичившийся преданностью ца-рю, отречься от царевича Димитрия — этого не скроешь! Стал он за одно с боярами. Отбла- годарил за милость! Спасибо Воротынскому да Висковатому. Оборонили царевича! «Но более всего тебе о, господи, хвала! Не захотел еси сгубить российской державы — ниспослал ца-рю всея Руси сил к одолению недуга».

Толмачи со страхом прислушивались к гневным словам Ивана. Высокий, сильный, мятущийся, он пугал их шорьвинными дви- жениями своими. Им казалось, что вот-вот он набросится на них, заколет их. Глаза его де- лались страшными. Он осматривал столы и стены, как бы ища оружия.

Вот почему и дьяки-толмачи каждый раз с трепетом приступали к чтению этой книги. Библия иное дело.

Давид, молодой, не кичливый, сошелся в бою с прославленным богатырем Голиафом, и побил его. Анастасия знает, что Иван Ва- сильевич часто сравнивает «юную Москву» с Давидом, а зарубежные государства с Голиа- фом. Царь с усмешкой смотрит на «многовла- стие» и «многоумие» в правлении западных царств. «Един владыка—едина земля!»—впу- шал он обружающим, сам горячо веря в это.

На другой день царь снял с себя «осаду». Никакие Голиафы не страшны ему! Чтеца Яшку Тетерина наградил гривною. «Молодец! Помог сбросить осаду!»

— А все же... они идут... люди мои!.. Не отступились от государева наказа... К морю идут! Не так ли, Яша?

Тетерин бухнулся царю в ноги:

— За великую милость твою, отец наш, низко кланяюсь тебе! Во здравие государя и государыни сотворю молитву мою и несметное воинство твое, как и встарь, увенчается пре- высокою доблестью и славю всемогущего покорителя царств!..

Иван Васильевич с ласковой улыбкой под- нял Тетерина:

— Стань! Хороша речь твоя. Любо слу- шать слова чести!

«Покоритель царств»! Как радостно бьется сердце его, царя, каждый раз, когда он слы-

шит это! И разве это не так?! Еще и века не минуло от дней княжения Василия Темного, когда Русь имела полторы тысячи войска для защиты родины, а уже под знаменами его, ца-ря всея Руси Ивана Васильевича, идут в по- ходы сотни тысяч храбрых воинов! И ныне не только Казанское, но и великое Астрахан- ское царство лежат у ног его, московского царя.

Иван Васильевич повеселевший, довольный словами Тетерина, ласково проводил его до самой двери своей опочивальни.

А утром царь Иван в торжественной обста- новке принимал послов Хивинского, Бухар- ского и Грузинского царств.

Богатые дары хивинских и бухарских пос- лов поражали присутствовавших при этом бояр своею роскошью и красотой. На громад- ных коврах красовались вытканые руками хивинских и бухарских женщин «рлы, паря- щие в лучах яркого солнца над серебристыми хребтами гор; закованные в латы всадники, сражавшиеся с чернотлицыми конниками; бо- гатырь, единоборствующий со львом. Бархаты бухарские ласкали глаза нежною голубизной и солнечной зеленью оттенков. Много окова- ного золотом и серебром оружия и богатой конской сбруи было принесено в дар царю грузинскими князьями. С ними, как едино- верцами, царь вел беседу отдельно.

После приема, вместе с грузинскими пос- лами, царь молился в своей дворцовой церкви. Отправлял службу митрополит Макарий, со- чувствовавший сближению христианской гор- ской страны с Московским государством. Гру- зинские князья били челом Ивану Васильви- чу в час послеобеденной беседы, помочь им воевать султанские владения и Тавриду, от которых постоянные утеснения грузинскому народу.

Иван Васильевич успокоил их, что он бу- дет всеми своими силами оборонять Грузию от хана Девлет-Гирея, в случае его нападения на нее, но с султаном Российское государ- ство находится в мирных отношениях, надоб- но и Грузии ладить с ним. Турция держит в страхе немцев.

Грузинские князья присягнули московско- му царю в верности и дружбе.

Царь отпустил их, подарив им лучших сво- их сыкаунов в османной драгоценными ка- меньями сбруе.

## V

Параша очнулась.

Первое, на чем остановился ее взгляд, был громадный в овальной золоченой раме порт- рет пожилого человека: лицо желтое, глаза серые, холодные, усы, закрученные кверху и остроконечная борода. На губах злая улыбка.

Параша, отвернувшись, поднялась со своего ложа, огляделась кругом. Сводчатая каменная палата, темносиние стены, расписанные красными, словно окровавленными, мечами и золочеными крестиками. Круглый стол, покрытый вязаной скатертью. На столе глиняный кувшин с водой. Два херувима, поддерживающие крест, вылеплены на его поверхности с одной стороны с другой — череп и две кости.

Девушка подошла к окну. Оно глубоко сидело в стене и было зарожено железной решеткой. И решетка вся из крестов.

Вечерело. Мучила жажда. Параша дрожащей рукой наполнила стеклянную чашу водой, жадно выпила ее. Девушка еле-еле держалась на ногах. Руки ее — в синяках от веревок. Ноги, бока ныли, болела голова.

Стараясь припомнить, как и что было, она, кроме страшного, безволосого, морщинистого лица, обтянутого чешуйчатой бармицей, ничего не могла вспомнить.

В палате сгустился мрак. Поползли из всех углов тени. Желтое лицо рыцаря смотрело нагло, не отрывая глаз от Парашы. Девушка мужественно боролась со страхом. Она пробовала отворить дверь, однако, это ей не удалось — дверь была заперта. Стала стучать. Где-то глухо отозвалось эхо, но никто не откликнулся на стук.

Быстро темнело. Параша опустила на ложе и горько заплакала.

Послышались шаги. Звякнул ключ, дверь тихо скрипнула. Вошла, держа светильник, высокая, худая старуха. Она улыбнулась без зубым ртом. Глаза ее показались Параше добрыми.

— Вот тебе платье, одень его... — сказала она по-русски и отдала Параше сверток, который держала в руке. Сама села в угол на скамью. — Ты плачешь, но напрасно... Тебе не будет плохо.

Параша удивилась, услышав родную речь. Стараясь подавить слезы, она спросила:

— Ты русская?

— Из Полоцка я. Давным-давно, как и ты, попала я сюда. Три десятка лет живу в Нарве. Одевайся, чего смотришь? Таких у вас не носят! Длинные ферязи да сарафаны у вас там. Давно уж я не одевала сарафанов.

Простодушная разговорчивость старухи подействовала на Парашу успокоительно.

— К чему мне такой наряд?

С удивлением смотрела девушка на тонкое кружевное белье. Еще большее удивление вызывало у нее пышное платье из тафты с золотыми нашивками.

Старуха засмеялась.

— На шир я тебя провожу. Идут тебя. Там весело. Молодые люди у нас умеют ве-

селиться. Живем один раз на свете. Чего ради постыничать? Я, когда была молодая, любила поплясать...

Параша спросила в недоумении:

— Какой шир?

— Сама увидишь... В Ливонии не то, что в Московии. Одевайся, одевайся. Не надо трех голов, чтобы смекнуть, где лучше — в каземате или на балу.

Параша преодолела свой страх, быстро облацилась в платье с жабо, с буфами, лишь бы уйти из этой мрачной кельи, лишь бы не видеть больше этого желтого противного лица с холодными назойливыми глазами!

— Что со мной будет? Куда зовешь?!

Старуха взглянула на девушку с лукавой, загадочной улыбкой.

— Красавицы не должны об этом спрашивать. Куда пригласят — туда идут. Им везде хорошо. Наше дело, старушечье, иное. А ваше — только гуляй!

Параше хотелось услышать простое, понятное, сказанное от чистого сердца слово, как говорят в станице.

— Мне страшно! Где я?

— Ты в хоромах каких не знаешь ваш деспот-царь... Ты теперь под властью такого кавалера, имя которому Генрих. В вашей варварской стране не знают таких господ. Тебе надо благодарить Иисуса Христа. Вечной памяти епископ Альберт всю Ливонию посвятил Деве Марии... Она тоже спасает всех нас и до ныне. Молись и ты ей! У нас есть пастор, он научит тебя справедной молитве триединому богу: отцу, сыну и святому духу...

Все это старуха говорила спокойным, добрым голосом, и лицо ее казалось правдивым.

— Коли солгала я — прокляни на молитве старую Клару! Пускай сатана ее сожжет в аду...

Они вышли в длинный темный коридор. Клара шла впереди со светильником в руке. Тени прыгали по стенам. Шаги туго дробили тишину. Иногда старуха оглядывалась, приговаривая: «смелее, смелее! Ты у себя дома, любезная сестра!»

Путаясь в широкой тафтяной юбке, красная от стыда, что ее увидят в таком чудном наряде, Параша покорно следовала за Кларой. Хотелось знать — что же будет дальше. Ей многое было известно про Ливонию. Через рубеж часто перебегали латыши, ливы и эсты. Они были худы, оборзавы, забытые, голодные. Параша кормила их в отцовском доме. В станицах жаждали их и помогали им. Они рассказывали, что немцы, орденские братья, проводят время в травле зверей и охоте; в игре в кости и другие игры; в пирах. А крестьяне живут в тилых хибарках, пи-

таются одним хлебом, не видят радостного дня, немцы всячески издеваются над ними...

Вот что приходилось слышать Параше о Ливонии.

Послышался шум, грохот посуды, дикие выкрики и кабая-то жуткая, бешеная музыка.

Клара открыла дверь — два толстых человека в пестрых одеждах, с большими крестами на груди, подхватили Парашу и увлекли в палату, слабо освещенную немощными трехсвечниками.

В полумраке тесня друг друга, кружились мужчины и женщины. Визг, смех, возня ошеломили Парашу. Она вырвала руку, перекрестилась: «чур, чур меня! Рождественский пост, а они кружатся, приплясывают, пьяные, озорные, да еще с крестами на груди».

На непонятном языке что-то прокричал тот, который держал Парашу. Высокий, красивый молодой человек в голубом камзоле подскочил к ней с кубком.

— Ночь — друг вора и возлюбленным, — громко воскликнул он по-немецки.

Девушка оттолкнула кубок. Вино полилось на пол. Окружившая ее хмельная, шумная толпа мужчин и женщин громко расхохоталась. Молодой человек в голубом камзоле быстро сбегал к столу за новым кубком. Теперь Парашу облепило несколько человек. Она не могла шевельнуться. Ей насильно вылили в рот вино. Тоже повторили и в другой раз.

Она закричала.

Подшел худой, желтолицый немец, затянутый в камзол из черного бархата с вышитым на груди белым крестом, зашикал, потрогивая ее пальцем, и, махнув рукой куда-то в сторону, брезгливо сказал — «Москва! Не здесь! Фи! Фи!»

Он презрительно сморщился.

Этот человек показался Параше знакомым. Вспомнился портрет. Ведь это же с него писано! С него! Стало быть, он и есть хозяин этого дома. На нее глядели эти холодные, патлые глаза.

Снова музыка. Опять все завертелось: женщины, мужчины. Глаза стоявшего перед Парашей рыцаря росли, делались громадными, обращались в огненные круги.

У девушки закружилась голова...

Высоко, в башенной келье, откуда хорошо видны звезды и черные дали окрестностей, сидит и пишет, при зажженной свече, ливонский летописец, — ученый, скромный молодой пастор Бальтазар Руссов. В голубых глазах его что-то страдальческое. Он оторвался от писания, прислушался.

В нижних палатах замка пьяный шум, топанье сапогами, крики.

«...После того как Ливония была приобретена прежними старыми магистрами, — пишет Бальтазар, — епископами покорена и занята, в ней построено много городов, местечек, замков и крепостей для большей безопасности от врагов: русских, латышей, ливов и эстов, — а также после того, как магистр Вальтер фон Шлеттенберг в давние времена одержал победу над москвитями и заключил продолжительный мир, ливонцам на много лет нечего было бояться войны. Из дня в день, как между правителями, так и между подданными, стали распространяться большая самоуверенность, праздность, тщеславие, пышность и хвастовство, сластолюбие, безмерное распутство и бесстыдство, так-что нельзя вдоволь рассказать или описать всего...»

Руссов, взволнованно отложил гусиное перо в сторону, накрыл камнем написанное и подошел к окну. Среди снежного поля звезда черная река Нарова. По небу скатилась звезда, оставив после себя длинный огненный след.

Тяжелый вздох вырвался из груди пастора: чует его сердце — скатится так же к небытию и власти немецких владык. Близок час! Бальтазар пишет свою историю Ливонии изо дня в день, с лихорадочной поспешностью. И вот, стоя у окна и глядя на небо, он молит бога о том, чтобы ему удалось закончить свой труд до этого страшного часа. Бальтазар в последнее время испытывает такую боль, как будто пишет он кровью... кровью любящего свою родину ливонца... Он молод, он полон сил, он делает все, чтоб предотвратить гибель своего государства, но...

Внезапный стук в дверь заставил пастора вздрогнуть. Отворил. Вошла Клара, низко поклонившись:

— Пастырь и отец наш, — сказала она почтительно, — господин просит ваше священство сойти вниз в крестовую палату...

Бальтазар нахмурился:

— Разве не видишь, пастор занят? — указал он на свою летопись.

— Хранитель душ и учитель наш, — сказала Клара, — русская девушка ждет обращения... Пленница господина Колленбаха.

Бальтазар, не оборачиваясь, ответил:

— Пастор придет.

Клара снова поклонилась и ушла.

Отчувшись, Параша увидела, что она сидит в широком бархатном кресле в комнате, похожей на церковь. У стены большое распятие. Потолок изображает небо — ангелы и херувимы с золотыми крыльями на нем. Около распятия большая серебряная купель. На столе, накрытом шарчею, — ларцы по-

лотенца, кисти. Грузный медный трехвечник, прикрепленный к стене, тускло освещает комнату. На полу черные с лунами и звездами ковры.

Глубокая тишина.

Бесшумно отворилась дверь — вошел пастор. Девушка и раньше видела ливонских священников на базарах в Великих Луках. Там съезжалось на торг много польских и немецких священнослужителей.

Пастор поздоровался. Девушка встала, огустила голову.

— Садись... — повелительно произнес он по-русски.

Параша села.

— Почитай за счастье, дочь моя, что находишься в палатах доброго христианского князя. Ваш народ язычники. Ваши князья богохульники, варвары, ваш царь — темный деспот, ставящий себя наравне с богом...

— Мы — не язычники! Уйд! Не хочу слушать. Немцы — разбойники! — сердито сказала Параша.

Пастор спокойно продолжал:

— Кому вы молитесь! Деревяжкам, о которых ничего не знаете. Высшие истины вероучения недоступны вам... Много церквей у вас, но они похожи на торжища... В них спрят, разговаривают, даже дерутся и ругаются скаредно... Нужны железные ноги, чтоб не упасть от утомления и усталости, ибо молятся у вас стоя. Орденские братья призваны богом истребить язычество и неверие... Ты научишься молитвам, будешь грамотна, будешь ходить в нарядных платьях и башмаках, будешь такою же, как немка. Ты поймешь все христианские добродетели... Забудешь, что поклонялась жуску дерева и слушала бредни грязных, невежественных попов... Желаеть ли стать христианкой? Признаешь ли немецкую веру?

Параша слушала пастора с удивлением и гневом. Все, что он говорил, оскорбляло ее, она готова была плюнуть в лицо этому навязчивому немецкому проповеднику, но его глаза были такие красивые, такие честные и печальные, и толок тих, вразумителен. Она невольно заслушалась. Грешно переносить молча хулу на православную веру, но... Впервые она слышит такие смелые речи. За такие бы слова в ставнице либо сожгли, либо обезглавили.

— Ты будешь... — пастор в задумчивости остановился. — Наш магистр хочет... Но не ради того, я говорю тебе, чтобы прельстить тебя соблазном роскоши и праздности. Нет для меня высшего счастья, нежели видеть человека, вырванного из мрака язычества и причисленного ко христову стаду. Подумай! При твоей красоте телесной, если ты приоб-

ретишь и красоту духовную, ты можешь стать герцогиней, княгиней, высоко быть подятой над людьми... Ты можешь стать повелительницей, иметь рабов.

Параша сделала движение, обозначающее, что она не хочет больше его слушать, что она уйдет отсюда... Пастор смиренно отошел в сторону, с кроткой улыбкой глядя на девушку.

— Меня не бойся, дочь моя! Если бы я, во имя бога и пресвятой девы Марии, захотел отпустить тебя из замка, то и тогда бы ты не ушла... Стража задержала бы тебя при первом же твоём шаге. Скажи мне без страха — хочешь ли отречься от язычества и перейти в христианскую веру?

— Я не язычница... И вере своей не изменю. Отпустите меня! Моя вера — вера моих отцов, моей родины... Изменить им я не могу!

— Я не держу тебя. Уходи. Насильно обращать в христианство не стану. Вера — добрая воля каждого... Тайнства силою не вершат.

— От вас ли слышу то!.. Отец рассказывал как губили вы народ за веру...

Пастор промолчал.

Девушка облегченно вздохнула. Она не знала молитв и не понимала ничего из того, что говорили и пели в церкви, но ей была дорога родная вера, вера русского народа. Изменить веру — стало быть, изменить родине, изменить своей земле. На это Параша не пойдет, даже если ей будет угрожать смерть.

— Подумай о моих словах, отроковица. Время терпит. Но, знай, никто тебе здесь зла не причинит.

Пастор помолвился на распятие и вышел.

Параша опустила в кресло, задумалась. Что же дальше? Руки на себя наложить! Но и это грешно... нехорошо. Она не сможет решиться на это. Надо надеяться на милость божью и на свое терпение.

В комнату вошел он, этот страшный, сухой человек со стеклянными, холодными глазами. Он покачивает головой, прозреть, подходит к распятию, что-то шепчет, опять обертывается к Параше. На черном бархатном камзоле его — вышитый серебром череп и под ним две кости.

— Отпустите меня... На что я вам!

Параша сама испугалась своего произвольного выкрика.

Желтый человек покачал головой, с усмешкой:

— Wessen das Erdreich ist, dessen ist auch der Schatz<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Чья земля — того и клад!



Она не поняла его слов, но после этого его глаза стали еще страшнее. Он заскрежетал зубами, по лицу расплывлись морщины.

— Не мучьте меня!..

Колленбах вдруг отвернулся и, погрозиившись пальцем на Парашу, ушел.

Вслед затем явилась Клара. Она была печальна:

— Сама я была такой же, как и ты, и богу молилась по-русски... Была я и католичкой. И не понимала ничего... Только когда стала лютеранкой — просветлел мой ум и сердце мое благодатью исполнилось. Пастор приехал к нам из Ревеля. Он святой человек. Он никогда не веселится, на ширях не бывает, не любострастен, прямой и честный. Молодой, но ему чужды забавы молодости. Служба в кирке и книги — в этом его жизнь...

— Но я не могу изменить вере! Увольте! Не хочу! Ни за что!

— Самая страшная измена — измена Христу... Измена Деве Марии. Ваша вера — не христианская, царь у вас выше Христа. Московиты — язычники. Я плакала, когда узнала о твоём упорстве. Наш господин добр и честен. Он не хочет твоей гибели. Он верит в твоё благоразумие. У тебя будет время одуматься... Пди я отведу тебя в твою келью... Если же будешь упрямитесь, страшная казнь ждёт тебя. Тогда Колленбах будет беспощаден.

Бальтазар Руссов писал:

«...И этих женщин все называют не непотребными женщинами, а «хозяйками» и женщинами, внушающими мужество. Порок стал настолько обыденным, что многие не считают его прехом и стыдом. Многие уважают своих паломниц больше, чем законных жеп, что причиняет последним не мало огорчений. Похищение чужеземок и насилье над ними стало обычаем».

«... некоторые евангелические священники внутри страны не стыдятся держать, подобно другим, пленниц, наложниц или хозяек».

Молодой пастор волновался. Он бросил перо и стал ходить из угла в угол своей комнаты, заваленной книгами.

В дверь постучали. Руссов вздрогнул, поднялся. На пороге хозяин замка. На его желтом лице неудовольствие.

— Отец Бальтазар, с русской девкой надо строже. Московиты не оценят вашего благородства. В этой красавице — кошачья душа. Нельзя щадить русских пленников и пленниц. Фогт не раз указывал вам на то.

— Брат Генрих! Что делаете вы, того не может делать служитель церкви. Любовь к богу — любовь к совершенству. Не могу я

следовать обратному — не стремиться к совершенству.

— Господин Бальтазар, нет разумной твари, которая не стремилась бы к совершенству... Царь Иван, варвар московитский, тоже совершенствуется, но как?! Он льет пушки, готовит войско... Он осмеливается вооружаться против нас! Подумайте!

— Генрих, вы забыли, что совершенствуясь, подобно Ивану, вы можете стать надежным защитником христианства... Этого требует от нас сам господь бог... Сила нам нужна для защиты христианства, сила, подобная силе наших предков — братьев меченосцев!..

— Опять моучения, пастор!

— Прелюбодее подобны тем, учил Сократ, которые не хотят пить воды, текущей на поверхности речного русла, а желают достать воду со дна реки, то есть воды худшей, смешанной с илом. Невольники богатства едва ли счастливее их слуг, невольников-плебеев, и едва ли большего заслуживают уважения!

Генрих с насмешливым лицом махнул рукой и ушел, хлопнув дверью.

Бальтазар Руссов тяжело опустился в кресло и закрыл руками лицо: губы его шептали молитву о предотвращении нависающей над Ливонией грозы.

## VI

Мороз все крепче. Вдобавок поднялся ветер. Разбушевались снежные вихри, заметая дорогу, леденя кровь. Коня увязали в сугробах, падали на колени. Ратники бежали им на помощь, вытаскивая воза на себе. Раскрасневшиеся на морозе лица заиндевели: белые бороды, усы, ресницы. Всадники время от времени соскакивали с коней, трелись, приплясывая, толкая друг друга; шутили: «мужик пляшет — шапкой машет, приседает — меру знает...»

— Этак замерзнуть недолго... — покачивал головой Андрейка, — экий морозище!

Старый воин, охаживавший коней при параде, сказал:

— Не кручинься. Умрешь в поле, не в яме.

Войско то-и-дело останавливалось. Разгребали снег на дороге. Пешие стали на лыжи. Пошли деловито и бодро, опираясь на копыя. Стяги давно свернуты. Особенно трудно двигаться пушечному каравану. Все время надо помогать ему. Андрейка из сил выбивается, оберегая свои пушки от падения из розвальней. Он кричит, что есть мочи, на верховых, вытаскивающих из сугробов розвальни с нарядом, кричит и на пушкарей из своей «десятки». Эх, погодушка-невзгодушка!

Крика всякого много.

В барсовых, козлиных и медвежьих шкурах с трудом преодолевают снега непривычные к русской зиме горцы. Их маленькие лошаденки, раздувая ноздри, недоумело смотрят по сторонам, фыркают, упрямятся. Все ратники любовались горцами. Удивительные люди! Никто не видит, когда они едят. Они ничего не делают на показ другим. Стыдливы. Никакие страдания от непривычного для них мороза не вызывают у них ни одного стога, ни одной жалобы. Один горский всадник долго скрывал свой недуг и умер в дороге, сидя в седле, а умирая — улыбался и говорил: «ничего», «аммен!» (аминь!). В дороге горцы делились последним с русскими ратниками, предлагали им с большою приветливостью свои кукурузные лепешки. Никогда горцы не принимал в дороге пищу, не вымыв в снегу руки.

Их старшины — Иван Млашика, Сибока, Кудадек Александр, Салтанук Михаил и Темрюков, ехали впереди полка, внимательно осматривая прищуренными глазами окружавшие их равнины. После торных уступов и ущелий — эта ровная снежная низменность слепила глаза, вызывала любовьство...

Донские казаки и прочие степные всадники тоже закутались кто во что мог; терли уши, носы; сгорбились от непривычки к морозу, норовя повернуть коней спиной к ветру.

Большие воеводы мужественно переносили непогоду, не слезая с коней, осадив по гарцуя впереди своих полков, тем самым показывая вошмам пример выдержки и терпения. Особенно хорошо держался князь Андрей Курбский. Его храбрость и военные подвиги в Казанском походе и битвах с Крымом сделали его любимым воеводой ратных людей. И обращение его с воинами было доброе, отечески заботливое, не в пример многим другим воеводам. Своим воинственным видом мог с ним равняться только один Алексей Басманов, тоже спускавший большую любовь в войске за свои боевые подвиги под Казанью. /

Шиг-Алей ехал рядом с Михаилом Глинским. Половина жирного, бабьего лица у него была закрыта башлыком; вместо плеча — пышная меховая острокопечная татарская шапка. На нем была дорогая соболья шуба, подаренная царем Иваном. Он туго перетянул ее пестрым шелковым кушаком.

Толстый, грузный сидел Шиг-Алей на громадном косматом коне, широко расставив ноги в лосевых сапогах. Косые монгольские глаза хитро поглядывали по сторонам на бушевавшие в полях снежные вихри.

Иногда он подзывал к себе своего слугу, ехавшего недалеко от него и закутанного в оленьи меха, и что-то говорил ему по-татарски на ухо. Тот пускался вскачь в тыл и затем возвращался с кем-нибудь из воевод.

Шиг-Алей важно принимал поклон воеводы и, размахивая коротким золоченым жезлом, отдавал то или иное приказание.

Все воеводы должны были каждое утро после ночлега собираться у него в шатре для совета и получения приказания. Воевод созывали особыми рожками. Шиг-Алей подробно расспрашивал каждого из них: как они провели ночь, не было ли чего ночью, здоровы ли ратники в полку, нет ли падежа в табунах, хватит ли припасов до следующего перехода.

Воеводы обо всем докладывали Шиг-Алею с великою почительностью. Шиг-Алей напоминал всем воеводам строгий приказ Ивана Васильевича, чтоб дорогою в деревнях и селах ничего сплю не брать, и никакого ущерба нечинить. Царь Иван грозил суровым наказанием за ослушание. Кормовщикам, тем, кто обязан был заботиться о питании войска, еще в Москве было о том сделано внушение самим царем.

Всем в войске известно, каким большим уважением и доверием пользуется у царя Шиг-Алей. Его боялись. Только князь Курбский держался с ним, как равный. За то Шиг-Алей и недолюбливал князя, хотя вида никогда не показывал.

Глинский тоже держался с достоинством.

Данила Романович ехал скромно позади Шиг-Алея и Глинского, как простой начальник. Его постоянно клонило в сон. Когда его подзывал к себе Шиг-Алей, он уважительно нагибался к нему с коня, и то и дело кивал головой в знак полного согласия и одобрения.

И все дивились на него — царицын брат, самый близкий к царю человек, а такой тихий и услужливый. Считали его неумным. Но были и такие, что говорили обратное. Мол, — он притворяется, нарочно не лезет вперед, спрятал до поры до времени когти. Всяко говорили о брате царицы Даниле и вообще обо всех Захарьиных.

За войском следовали волчьи стаи, рылись в мусоре после караванов, не решаясь подойти близко. Кто-то из конников, все же, шаталивался на них, оставляя после себя на дороге ободранные волчьи туши.

Во время привала лучшие даточные люди ходили на лыжах в лес добывать зверя и птицу. Бежали за дикими оленями, но безуспешно. Били поляншей (тетеревов), рябчиков, белых куропаток, зайцев. На кострах коптили их и ели.

Андрейка, однажды, встретил в лесной чаще сохатого. Большой, красивый зверь порази парня своим спокойствием, своим беспечным, свободным видом. Убивать рука не поднялась, а надо бы... Войску пригодились бы и мясо и шкура. Жалостлив был парень, нередко и в прежние времена; на

деревне над ним потешались. «При такой могучести, словно красна девица» — говорили односельчане. Но никто не знал того, как любил Андрейка видеть дикого зверя на свободе, — да еще зимой, в жемчужной, сказочной лесной рамени.

Ветер усиливался. Рогожки над глупцами вздувались, того и гляди улетят. Войско пошло медленнее и еще чаще делало остановки. Визг дудок и набаты едва можно было разобрать в задних рядах: долетало только обрывками — от этого останавливались и спинались не ко времени. А потом приходилось догонять. Бранки, ругань, свист бичей над лошадьми. И кони и люди пытались бежать, падали; раздавались проклятья... Кого проклинать?! Неизвестно. Догнав головные части войска, люди долгое время тяжело дышали, присаживались на розвальни.

— Ну и ну! — проговорил Мелентий, прижостившись в розвальнях рядом с Андрейкой. — Ехал, да не доехал; опять поедем, авось доедем. Чудеса! Ей богу!

Видно было, что Мелентью пришла охота показывать.

Ночь протекла в борьбе со снегом, с ветром и морозом. Костры задувало, заносило метелью; валялись шатры; вода в железных берендейках замерзала; страшно гудел ветер в основном бору; казалось, сам дьявол старался помешать московскому войску. Люди тряслись от холода, лошади понуро жевали сено, мокрые от долгого пути; шел густой пар от них. Где-где все же огонь не уступал стихии; пламя металось, из стороны в сторону, а не гасло. Сюда, к этим кострам, сбегались толпы разноплеменных людей. На разных языках ворчали на непогоду; иные, отойдя в сторону, молились про себя, выжлогоуса причитывали, вынуж из-за пазухи костяных и деревянных божков.

Андрейка и Мелентий залезли в розвальни, накрылись рогожей, да поверх рогожки овчиной — сделалась тепло. Мелентий не стеснялся — стал рассказывать сказки:

— ...Жил один боярин... богатый-пребогатый да знатный... выше царя себя мнил... И не влюбил он своего холопа Иванку... дураком его и всяко обзывал... и порол его люто и утошить хотел...»

Андрейка закаплялся, заволновался:

— А ты не врешь? — сказал он тихим, дрожавшим голосом.

— Ладно! Слушай!

«...А у боярина была дочка, красавица неопишанная, а звали ее — забыл как — только была она очень добрая и пожалела молодого холопа. Пожалела да и полюбила. Отец выпорот его, а она приключит, ручками белыми обовьет, мудри ему погладит...»

Сорвало рогожу ветром и овчину, глаза заслепило снегом. Оба парня вскоцили, крепко обругавшись. Снежное море гудело, бушевало, сбивая с ног. Вот уж не во время-то! Накинув на себя снова рогожу и овчину, Андрейка, прижимаясь к товарищу, нетерпеливо спросил:

— Видать, красивая была девка-то?

— Обожди... не торопи... — угрюмо проворчал Мелентий, устремившись в розвальнях потеплее и поудобнее.

— ...Да! Стало-быть обовьет его белыми руками...

— Уж ты говори про то... Буде. Ври дальше!

— Слушай! Не мешай!.. Так трех-то и зародился. Видимость стала у красавицы... Боярин то приметил, позвал дочь и спросил ее: «кто тот злодей, который опозорил весь наш род?»

Тяжелый вздох вырвался из груди Андрейки. Он перекрестился.

— Ты чего?

— Так... вспомнил... Уж до чего мне жаль эту боярыню. Словно ты меня деревянной шилой пилишь...

— Ну, ладно. Горюй, Фома, што пустая сума! Больше я не буду тебе рассказывать... — обиженно проворчал Мелентий.

— Христом богом молю!.. Любо ты рассказываешь... Все сердечко у меня запылало...

Мелентий:

— Коли так, — молчи! И уж очень боярин любил свою дочь... Помереть за нее готов был. И вот дочь и говорит ему: «коли ты не тронешь его, — скажу, а коли тронешь, в омут головою брошусь». Боярин почесал затылок и заплакал... «Могу-ли, дочка, я того Кавна в живых оставить?» «Коли так, простись со своей дочкой! Без него я не могу жить!» Стой, Андрейка! Не стаскивай с меня рогожи! Чего ты возишься?

— Да уж больно умна девка! Говори, говори!..

— Стало быть, боярин так и этак, а ничего не поделаешь, пришлось помиловать парня... И вот привели его к боярину... А он, как вошел, так и поклонился боярину в ноги — «не хочу, мол, боярин жить на белом свете, совесть меня замучила, хочу умереть; коли ты не убьешь меня, сам наложу на себя руки». Испугался боярин его слов. «Нет — сказал он — я не буду тебя убивать, да и тебе не дозволю себя убивать...» И приказал он поселить парня в своих хоробах. «Я богат — сказал он — чего ты только хочешь, все тебе будет». Парень сказал: «мне ничего не надо, токмо едва ли я останусь жить на белом свете...» Боярышня плачет день и ночь, слыша такие его

слова. «Чего же ты хочешь, чтоб тебе не умереть?» — спросил его боярин. Тогда парень сказал: «Хочу, чтобы боярышня была моею женою». Боярин, как рыба об лед бьется. Биhsя, колотился, да и согласился... «Несите, девки браги праздничной, стращайте, девки, обед свадебный!»

Андрейка еле-еле переводил дыхание. Бровь ему ударила в голову. Он крешко сжал руку Мелентью.

— Легше, сатана! Пальцы сломилшь!..

— Говори, говори! Какой конец! — задыхаясь, прошептал Андрейка.

— И вот однажды, в солнечный весенний день, на Красной торке, они повенчались... А боярин в этот же день умер... Не перенес такого стыда.

Андрейка облегченно вздохнул, несколько раз перекрестился, за «ушовой души боярышня».

— Ну, а что же стало с холопом?

— Хозяином в вотчине заделался сей холоп.

— Хозяином? — живо переспросил Андрей.

— Да. Хозяином. И сказал он своей жене: «все одно я жить на свете не буду!» Пришла на боярышню новая беда — напасть. Сердце, как сказать, петухом зашело, заныло — нет мочи! «Что ж тебе надо, чтоб ты жил и дитятка нашего дождался?!» Тут холоп стукнул кулаком по столу и сказал: «Хочу я всех холопов и людей из вотчины разогнать. Пускай живут сами по себе, а мы с тобой сами по себе.. Пускай они нам не мешают.. Тогда я и дите свое ждать буду и растить его буду...» Думала она думала да и сказала: «Ладно, делай, как знаешь!» Из горла кус вырвал!

Андрейка обнял Мелентия и облобызал:

— Спасибо, брат! И про непогоду я забыл... Хорошо кончилось. Славно!

Утром войско двинулось дальше. Вьюга стала утихать, но все дороги за ночь так замело, что на каждом шагу приходилось расчищать путь. Толпы даточных людей с лошадками накидывались на сугробы, отбрасывали в стороны снег.

Как и всегда, наибольший порядок и стройность в походе соблюдали стрельцы. Пешие и конные отряды их, каждый в тысячу человек, разбившись на сотни, бодро и ровно шли в своих полках, подавая другим пример.

Андрейка всегда любовался ими, и сердце его радовалось, что в рядах московского войска есть такие молодцы. С такими не страшно, непременно победить!

В последующие ночи на темном небе появлялись огни — бледные сполохи — воины, осеняя себя крестным знаменем, шептали один другому разные страшные предсказания — общее мнение было таково, что впе-

реди государство ожидают лютые войны, что много людей поляжет в боях с проклятым врагом.

Ночи, озаренные сплнми, зелеными и желтыми лучами, неотступно сопровождали войско.

## VII

Двадцать второго января 1558 года утром русское войско перешло границу вблизи города Искова.

Под звуки труб и набатный гул московские ратники вступили в ливонскую землю.

Черными живыми крестами в сером, унылом воздухе закружилось торластое еоронье. Низко волочились космы облаков над пустынными полями и темными буграми холмов. Заметно потеплело. Воздух стал влажным, как это бывает перед таянием.

С пыканьем и свистом ертоульные рассыпались по окрестностям.

Ливонские власти не чинили помехи — границы были открыты.

Углубившись версты на три внутрь страны, осторожный, неторопливый Шиг-Алей собрал около себя воевод, чтобы рассуждать: кому и куда идти. Один отряд войска под началом князей Куралгина, Бугурлина и боярина Алексея Басманова уже до этого ушел на север, к Нарве. Ему было наказано расположиться в крепости Иван-города, впредь до особого уведомления. Теперь перед воеводами была задача разбить войско на небольшие отряды, чтобы они разошлись по прирубежной полосе Ливонии, предавая огню и мечу орденские земли.

Шиг-Алей напомнил приказ царя: не осаждать крепостей; совершать пока разведывательный поход; при пологое и разорении сел и деревень щадить черный люд, т. е. латышей, ливов и эстов, но жестоко наказывать ливонских дворян в их вотчинах и деревнях. Дерпт решено было не брать осадой, а «попугать». За это дело взялся сам Шиг-Алей.

О завоеваниях речи не было. Шиг-Алею царь доверил заключать договоры с Ливонским магистром, коли к тому повод явится. Для себя Иван Васильевич считал унижительным вести переговоры с «князьками и пошамми» немецкими.

Настоящей войны при таких условиях не предвиделось. Да и со стороны врага не было ни малейшего признака противодействия.

Шиг-Алей послал воеводу Барбашина с отрядом из русских и татарских полков действовать вдоль литовской границы. Отойдя несколько верст от рубежа, они должны были разделиться на мелкие отряды и разорять

ливонские земли, «под носом у литовского короля».

Шиг-Алей более всего полагался на татар. Он знал, — они пощады христианам не дадут. Чем больше убытка они наделают неприятельской стране, чем больше побьют народа, тем скорее магистр запросит мира. Напуганное ливонское дворянство заставит своих правителей поклониться царю. Таков был обычай татарских нашествий.

Андрейка, Мелентий и Васыка Кречет пошли с пушкарским караваном при войске Шиг-Алея. Войско это направилось напрямик к крепости Дерпт, а потому и наряд Шиг-Алей взял с собой не мало.

Ночью нависло ужас зарево.

В окрестностях Дерпта горели деревни. Татарские всадники — черные, гибкие, стрелю поносились по опустевшим улицам и поджигали деревянные, крытые соломой дома, пуками горящей пакли на конях.

Обоз, с которым шел наряд Андрейки, к вечеру стал в роще на бутре, недалеко от Дерпта. Пушкари бездействовали. Издали, откуда-то доносились протяжные крики татарских и казачьих всадников и отдаленные топоты множества коней. Андрейка тосковал о том, что ему не приходится испробовать своего наряда в огневом бою. Изредка слышались выстрелы самопалов и пищалей, еще более раздражая нетерпеливых пушкарей.

К пушкарям прискакал гонец:

— Готовься! Из крепости вышли!

Розвальни с нарядом подтянули на пригорок. Отсюда отлично был виден замок. Пушки взвалили на подставы. Вдали, около замка, метались люди с факелами. Их было много. Лязгало железо. Слышались крики. Топот коней. Около замка началась схватка.

Воевода дал приказ пушкарям сделать залп по крепости.

Андрейка заложил в пушки ядра.

Блеснула молния, последовал удар. На стенах замка с факелами заметались люди. Видно было, как спустились на цепях мост, отворили ворота... Факелов в поле около замка не стало видно.

В ворота хлынула толпа ливонских ратников. Снова — вой трубы.

Пушки Андрейкиной десятии сделали еще залп. Теперь по толпе в воротах.

Прискакавший из-под замка Васылий Грязной остановился. Достал тряпку, подошел к Андрею.

— Завяжи!..

— Эх ты лобызнули, Василь Григорыч!..

Андрей заботливо стер снегом кровь со лба у Грязного, и принялся завязывать ему рану.

— Каленою стрелой ахнули, дьяволы! — ворчал Грязной. — Да уж мы их побили немало... Помнят нас!.. Полны рвы нарублено их у крепости... Злые, демоны!

В полночь все затихло.

Приказ был не разводить костров.

Холодно. Начинала пробираться дрожь: Андрейка и Кречет, как и в ясные ночи, укрылись под рогожами и войлоком, и, сидя на корточках спиной к пушкам, задремали. Так теплее. Правда, дышать трудно, но все же лучше, нежели в шалаше.

По очереди караулили.

Царь, получив вести о переходе войском ливонского рубежа, строго-настрого запретил продажу вина, гусель гудение, русалочьи игрища, шпыры, плясание, сопели, ворожбу, блудеяние в соблазн другим, срамсловие и всякие иные «бесстыдные дела»...

Во всем государстве был объявлен великий пост. Мясо везли только войску, а в Москве, городах и вотчинах — «едение телес» было запрещено.

Колокольный звон гудел над Москвою круглые сутки.

Приуныли шуты и скоморохи. Нельзя уж стало им потешать народ на базарах, в кабаках и на свадьбах своими «бесовскими чудесы», «глумами и шеснями»... Даже сопели, гусли и домры пришлось убрать. Строг царь-государь! Веда, коли слушаешься! Пристава, да сторожа, поди, только того и жгут. Везде они! По улице идешь — хоть шалки не надевай. Недаром говорят: «у царя колокол по всей земле».

Притихли и на посадах. Того нельзя, другого нельзя. Гляди в оба! В церкви не только ругаться и драться — разговаривать запретили. За каждое слово бранное клади деньгу. Поны оживились. Так и смотрят за богомольцами, а ведь известно: «от зора отобьюсь, от приказного откуплюсь, а от попа не отмолюсь!»

Кто не знает, что бог любит праведников?! Однако, бес все около ходит, да и на грех наводит. Не хочешь соблазна, а он тут как тут. Слыханное ли дело — срамсловие запретить! А без него, как без молитвы. Одним словом, рад бы в рай — да грехи не пускают.

Порядки строгие пошли, неслыханные: думай только о боге!

— Тесно стало жить! На просторе только волки воют, — подтрунивали втихомолку пересмешники.

Опустели площади, улицы, кабаки... Торжища — скудные, невеселые. Приедут мужики, привезут сена, либо овса, либо звериных шкур и прочего, померзнут, да и опять уедут.

В Китай-городе обширные гостинные ряды и лавки, ранее оживленные улицы, площади и сады — опустели. Не столько торговых людей, сколько нищих и бродячих собак.

Даже в Кремле безлюдно. А уж чего-чего только тут не было! Сквозь толпу мужиков, холопов, стрельцов, монахов и иных людей трудно было пробраться. Сюда шли покупать, продавать, писать челобитные, полюбоваться красотой дворцов и соборов, на других посмотреть и себя показать. Во всю глотку выкрикивали, бывало, бирючие новые указы царя, размахивая палками и прикрепленными к ним, вырезанными из меди или железа, гербовыми орлами. Нищие тянули жалобные песни. Сновали в толпе юродивые, отбивая хлеб у нищих и домрачеев. За юродивыми, с громким плачем и причитаниями, всегда следовало много женщин, оплакивающих этих «угодничков». Купцы у дверей громко расхваливали свои выткы, холсты, кольца, румяна, белила и прочие товары. Много было «походячих» торговцев, которые, посохом расчищая себе дорогу, старались перекричать «сидячих» купцов. Покупатели, давая третью часть запрашиваемой цены, старались зеркнуть продавца, торговались с ним «в голос».

Теперь же Кремль имел совсем иной вид. Стены дворцов и храмов, словно вымытые, ослепляют своей белизной. На площадях и улицах чистота, все вычищено, подметено. У ворот, у зеленого склада и сторожевых пушек стоят чисто одетые стрельцы. Нищих и бродячих собак из Кремля изгнали. Никакого шума и беснования нигде не услышишь. «Скучно!»

Кремлевские стены приняли грозный вид, везде стрельцы и караульные пушкари.

Царь Иван Васильевич теперь сам наблюдает за благочинием в Кремле, за тем, чтобы люди помнили о войне. Бездельники стали побаиваться кремлевских порядков. Полны были народа только кремлевские монастыри и соборы. Там шли торжественные молебны о ниспослании победы русскому оружию.

Спас-на-Бору — древнейший храм, ровесник Москвы — любимое место моления самого царя Ивана. От большого кремлевского пожара после покорения Казани собор сильно пострадал. Иван Васильевич обновил его и соединил особым тайным ходом с дворцом. Из своих побоев он проходил жильем в собор.

В тот день, когда получено было известие о переходе русскими войсками рубежа, Иван Васильевич с Анастасией молился в храме Спаса в приделе Гурья, Самсона и Авива. Этот придел был подобием такого же придела в Софийском новгородском соборе.

Царь был одет в темномалиновый становой кафтан, на груди шаперсный крест, в руках посох индийского дерева. Лицо суровое, задумчивое.

Царица в таком же темномалиновом, атласном платье, с золотой обшивкой; на шею бобровая оторочка, и жемчужное ожерелье. Анастасия была бледна и заплакана. (Шептались придворные, будто царь побил ее за то, что она не хотела идти в собор.)

Митрополит Макарий в темносинем бархатном облачении встретил царя и царицу крестом и евангелием. Хор чернецов зашел громкую хвалебную стихирю.

Моление шло о ниспослании победы московскому войству. Митрополит громко восклицал:

«...Тогда сразились цари Ханаанские в Фанаахе у вод Мегидонских!»

«...Звезды с путей своих сошли!»

«...Тогда ломались копыта конские от бега!..»

«...Прокляните Мероз, прокляните жителей его за то, что не пошли на помощь господу, на помощь господу с храбрыми!..»

Иван стоял на царском месте, исподлобья, следил за митрополитом. Почему-то вспомнился ему старец Вассиан, его неприятель к митрополиту. (Что-то глаза у митрополита невеселые. А старца Вассиана не лишне на Соловки усадить. Видать, не скоро он умрет.)

Внизу, у царева помоста, находились ближние бояре и царедворцы. Все они усердно, на коленях, молились, боясь взглянуть на государя.

Царица на своем месте, на левом крыле, сидела в кресле. Она предпочла бы молиться в дворцовой молельне, вдвоем с мужем.

В храме полумрак. Лампады ласкают колеблющимся пламенем иконы византийско-русского пошиба<sup>1</sup>. Свечи освещают только алтарь, его внутренность и царские места. В полумраке вспыхивают зловещим блеском глаза царя. Он недоволен нестройным шепотом чернецов, их неовратным видом. Бояре и все придворные стоят на коленях, не решаясь подняться.

Все приметили, и в особенности Анастасия, что царь сделал только одно крестное знамение. Стоял неподвижно и смотрел с недоброй усмешкой на усердное моление бояр. Митрополит старался не видеть лица государя, но это ему не удалось. Нельзя было, выходя на амвон и произнося молитвы «в народ», не смотреть на царя.

Но вот служба кончилась. Митрополит благословил подошедших к нему Ивана Васильевича, царицу и вельмож.

<sup>1</sup> Стиля.

Царь пошел по коридору дворца, сопровождаемый митрополитом.

— В ту пору, отец, когда мы творим молитву, сабли и копья наших воинов секут и пронзают телеса и льют кровь... О чем же ты молился?

Митрополит растроганно ответил:

— О тебе молюсь, великий государь... о воищах наших.

На лице Ивана легла тень.

— А не сказано ли в книге Паралипомон: «...и взяли пленных, и всех нагих из них одели из добычи — и одели их, и обули их, и накормили их, и напоили их, и помазали их елеем, и посадили на ослов всех слабых, и отправили их в Иерихон, к братьям их...».

— Сказано, батюшка, Иван Васильевич, сказано!

— А замолишь ли ты, святитель, окаянства наши?

— Господу угодно, чтоб меч правды покарал нечестивых... Государева воля — божья воля.

Царь покачал головой:

— Благо, когда меч правды в надежных руках, а если нет?!

— Великий государь, владыка наш!.. Ум человеческий не объемлет многого; боюсь аз согрешить перед всевышним, посягая на мудрость, ему принадлежащую.

Царь, обернувшись к Анастасии, сказал:

— Притомилась, парница? Пойдем в покои.

Он низко поклонился митрополиту, позвав его на вечернюю трапезу.

Толпа стольников, стряпчих и дворян стояла поодаль, ожидая царя; сенные боярышники, крайчая, «верховые» боярыни ожидали парницу.

Царь пошел впереди своей свиты.

За ним парница, окруженная провожавшими ее боярынями и боярышницами.

В своих покоях Иван сказал парнице:

— Не ответил мне святой отец!.. Помогись-ка ты обо мне... Твоя молитва чище святительской — без понуждения, от сердца. Великия прегрешения падут на главу мою... Шиг-Алей жажен и зол... С крестом на шею он не стал добрее к христианам, нежели когда был в исламе.

Немного подумав, добавил:

— А ныне царек, гляди, еще лютее. Уж и в самом деле — не худо ли это? Басманов Алексей доносил мне перед походом... Магистр, мол, того токмо и ждет, чтоб на весь мир кричать о нашей лютойсти... Бояре-изменники будто бы тож... Мысль у моих недругов лукавая, чтоб напугали мы всех... Э-эх, кабы самому мне побыть там, да по-

смотреть. Может и впрямь мы сатану тепшим?! Ну, храни тя господь!

Он поцеловал Анастасию и отправился на свою половину.

Несколько дней войско Шиг-Алея просто-яло под Дерптом без дела. Андрейка в эти дни верхом на коне странствовал по окрестностям в поисках съедобного. Однажды в лесу встретил он старого латыша, который нес на себе громадную охапку валежника. Андрей попросил провондить его в ближнюю деревню. Тот сначала с удивлением посмотрел на парня, а потом согласился.

Андрей спешился, взвалил валежник на спину коня, и пошел рядом со стариком, который назвал себя Ансом.

Дорогою в деревню Анс рассказал Андрею, что и он ранее бывал и жывал в Пскове и в Полоцке. У него есть две внучки-сиротки, которых отправил он в Полоцк к своему брату.

— Мень-то, старого, кто тронет? Бому я нужен? А девушкам опасно...

— Царь не велел зорить и обижать вас... — сказал Андрей.

— Несчастье всегда за спиной латыша. Немцы отучили латышей спокойно спать.

Беседуя, дедушка Анс и Андрейка добрались до деревушки.

Изда его была невелика. Разделялась коридором на две половины: одна — жилая, другая — кладовка. В жилой комнате стояла большая печь; вместо трубы — дыра в потолке. Все жилище почернело от копоти, как на Ветлуге, в колычевских деревнях. У стены — скамьи, а перед ними резной дубовый стол. Вот и все.

Дедушка Анс залег лучину, усадил Андрея на скамью и налил ему в кружку меду.

Видно было, что накишело у старика на душе — захотелось ему высказать все, что он думает о вторжении русских. Затопив печку и присев около нее на обрубок дерева, он начал тихим, старческим тоном рассказывать о вековечных страданиях латышского народа. О том, как латыши давно когда-то жили, не думая о войне, и как явились закованные в латы, хорошо вооруженные немцы и завоевали их и сделали их своими рабами, они все истребляли огнем и мечом, истребляли целые племена, города, села... Чтоб не стать рабами, надо быть сильнее нападающего, а латыши не думали об этом. Старик тяжело вздохнул: «не будут же русские теперь за это бить нас?!». Да и не боится латыш смерти; часто сам он просит о ней своего бога...

— Скажи ты и своим... Нечего у нас взять, и пускай они не жгут наши избы и

не портят наших девушек, как немцы. Перкунь, ваш бог сердитый, и он может наказать за это, поразит громом и молнией за неправду... Одну деревню нашу вчера рыцари разорили... сожгли... убивали... обижали девушек... За что? За то, что мы с вами не воюем.

Андрейка нахмурился:

— Разбойники, а не рыцари!..

Дедушка Анс грустно улыбнулся.

— Есть песня у нас, а в ней поется, как любит латыш свою родину... Песня та говорит: «беже, благослови латышскую землю, дорогую родину и весь прибалтийский край, где поют песни латышские девушки, где собираются латышские парни; всем и всюду дай счастья! Мы никому не хотим зла...»

В это время раздался сильный стук в дверь.

Старик заторопился, вышел в сени, открыл.

Андрейка слышал грубые окрики вошедших, угрозы... Он встал, взялся за рукоять сабли... Старик появился в избе, а за ним ввалилось трое ратников, во главе с Василием Кречетом...

— Тебе чего?! — крикнул ему Андрей.

Кречет опешил, попытился назад. Попятились и его товарищи. Старик сердито топнул на них ногой: «убирайтесь, воры!»

Андрей подошел к Кречету и тихо сказал ему: «зарублю!»

Кречет повернул, а с ним и его друзья.

Старик кивнул в их сторону: «видашь, добрый человек!»

Андрей стал доказывать, что лихо люди везде есть: и в войске их немало, но есть много, много честных воинских людей, которые заступятся за латышей, которые не позволят обижать бедных, безоружных крестьян. Андрейка осуждал и царя — зачем он назначил воедем ополчения татарского царька Шиг-Алея. Татарские ханы нестари грабят не только иноверцев, они грабят и убивают своих же татар... И давно ли казанские ханы перестали разорять его, Андрейку, родину — нижегородскую землю.

Дедушка Анс понял его. Он приветливо сказал:

— И у нас такое есть... Лихие люди и у нас бывают. И грабят своих же и предают их... и золото за то получают от немцев... У нас латышская Лайме дает счастье, по богины Нетайме приносят нам зло и несчастье... А Пукис ей помогает... Пукис — нечистая сила... Он делает людей худыми, злыми...

Дедушка Анс поведал Андрейке о том, что многие латыши ушли в Русскую землю и в

Литву — так им плохо жилось на своей родной земле. И недаром же поют латыши:

За русского я отдам свою сестрицу.

В Россию ли я поеду — у меня родня...

И многие латыши во Пскове породнились с русскими, ведали с Москвою торговлю, никогда не ссорились с псковичами.

Говоря это, старик добродушно похлопал Андрейку по плечу...

— Жалко мне, парень, тебя отпускать, — говорил он при расставании. — Вижу я, ты — добрый малый... Спасибо тебе! Оборонил меня от воров...

Андрейке стыдно было сказать, что это не воры, а пушкеры, из одной же сотни с ним... От стыда за товарищей он покраснел, решив по заслугам наказать Кречета.

Расставанье было теплое, дружеское. Андрейка расплатился за сушеную рыбу, которую ему дал старик.

Долго стоял дедушка Анс, провожая глазами удалявшегося по дороге московского всадника.

## VIII

Из военных станов с ливонских земель прискакали гонцы. Они привезли царю от воевод донесения о действиях русского войска. Что писал Данила Романыч, что Шиг-Алей, что Курбский, что Басманов и другие, кроме царя и Анастасии Романовны, доподлинно никто не знал, но эту ночь после прочтения известия от шурина, царь провел беспокойно. Долго он не мог заснуть; несколько раз приходил из своей опочивальни в опочивальню царьцы.

— Да отдохни, государь!.. Притомился уж! — сказала она ему, когда он вдруг в полночь снова явился к ней, держа в руках послание Даниила Романыча и Алексея Басманова.

— Пишут разное, только Данила да Басманов одинаково. Их мысли сходятся и любо мне... Что вижу я?! Простор брани не в пользу идет. Что больше ест касимовский владыка, то больше ему хочется. Буде! Недосол лучше пересола. На всякое дело пужны свои люди. В одном и том же месте бывает кошно по колёно, свиные по рыло, а курице и вовсе поток.

— Сядь, Иванушко, отдохни!

Иван не обратил внимания на ее слова, продолжал, стоя, говорить:

— Да будет так!.. Шиг-Алея, Тахтамышца и Кайбулу отзовем от войска... Дядьку Михайлу тож, а заодно и Романыча... Негоже одного убрать, другого оставить. Поведем дело инако. Думай!

Иван ожидал, что скажет царьца.



Она опять повторила то, что и прежде: царь утомился, ему надо отдохнуть, утро вечера мудренее.

Грустная улыбка скользнула по его лицу: — Не то говоришь, царица!.. — тяжело вздохнул он. — Можно ли спокойно спать?! Можно ли теперь отдыхать?! Каждый час мне чудится, будто мы что-то упускаем... Чего-то недодумали, недосмотрели... Успешь ли так-то?! Если всех сменить, разом, всех воевод — порухи войску не стало бы от того?! Как думаешь?!

Анастасия приподнялась с ложа, села.

— Ни-ни! — замахала она руками. — Не делай так, государь!.. Зла округ нас станет еще более... Брату моему хотел сказать бодрство. Не делай того! Не дразни вельмож! Каков был, таким и останется...

Выражение глубокой задумчивости легло на лицо Ивана:

— Разумно рассудила — тихо произнес он. — Один мудрец сказал некоему царю: «ты щедр, ты оказываешь благодеяния всем без разбора и от того ты безжалостно погибнешь... Не делай слуг своих блудницами! Одного несправедливо награждаешь, сотню делаешь справедливо недовольными». В иное время награды портят людей.. Особливо, ежели награждаешь за то, что слуга твой повинен делать обычаем, по уставу. Нет худшего зла, нежели превозносить слугу, коли он исполнил свой долг. Шиг-Алея, Глинского и Романых одарил добрым словом и буде. Анастасия подтвердила: «буде!»

— А войну поведем по-прежнему... Два войска станут на Ливонии... Одно — под началом Петра Ивановича Шуйского, храброго, умного и сердцем мягкого воеводы. Он должен удобрить покорностью и любовью черный люд, наперекор немцам, да Троекурова дадим ему в придачу... Пускай идут к Дерпту!.. А другое войско пусть остается у Иван-города и добивается моря. Туда — Куракина Гришу, — человек он наш — Бутурлина, Данилку Адашева, да Алексея Басманова — им дела хватят... Мстили мы магистру и епископам, в досталь. Ныне надо воевать и управлять, а не наказывать, чтоб крепка держава была в отвоеванной земле. У простых людей — большие глаза, хитрые, все видят. Забывать того воеводам не след. Теперь будем воевать рыцарские замки и города.

Из опочивальни царицы Иван ушел довольный, успокоившийся.

Возвращаясь к себе, он шептал: «Шуйский, Буракин... Данилка... Басманов... упрямые, храбрые. Гоже! Гоже!»

«Попусту горячусь! Анастасия права!» — подумал он и улыбнулся, когда вспомнил

обычные упреки, произносимые женой: «горяч ты, пылок, весь в свою матушку!..», «покрываешься ты пеною, как бонь, из-за пустого», «привык ты жить в постоянной боязни обид в своем детстве, я, став царем, по вся дни наполнен страхом!»

Анастасия учила его:

Худо на верить никому, не худо быть осторожным и уветливым... Всю не обижать людей.

Иван Васильевич любил слушать ее плавную речь. Ее слова успокаивали его, охлаждали в нем гнев.

Нередко он призывал в свои покои шутов и заставлял их ругать себя, судачить о нем, называя его всяко... Шуты говорили ему в лицо все, что им приходилось подслушать у бояр, и прибавляли кое-что и от себя. Иван молча вынимал им, сляясь подавить в себе гнев и бешенство; иногда это ему удавалось, а иногда он схватывал свой посох и принимался неистово колотить шутов. Выгнав их вон из своих покоев, он с торжествующим видом шагал по своим дворцовым палатам. Если же, перенеся шутовские обиды, он с миром отпускал шутов, тогда целый день ходил мрачный, неудовлетворенный.

Ливонские послы Таубе и Краузе, вернувшись к себе домой, писали об Иване, как о человеке «с коварным сердцем крокодила». И это ему стало известно. Он рассказывал это с растерянным, обиженным видом Анастасии.

— Я знаю, что лукав я и зол, и многие окаянства обуревают меня, но... могут ли обвинить меня мои судьи, что не ставлю я благо царства превыше всего?!

Анастасия на это говорила, что «дурное в тебе, князюшко, все от дурных людей... Сиротой вырос... Из чужих рук смотрел... Вот и блажной стал!»

Анастасия не любила Глинских. Она выросла в скромном, небогатом и богобоязненном семействе. Она не раз осуждала в глаза царю его мать, великую княгиню Елену. Царь молча слушал ее, не возражал, а к дяде Михаилу — после того — начинал придираться, держать его в опале.

Ложась спать, Иван нередко подолгу со слезами молился, чтоб смирил его бог, простил ему все его шрегрешения.

Один немецкий принц сказал после встречи с Иваном Васильевичем, что внешность московского царя такова, что его немедленно можно признать за повелителя, хоть бы он и оказался в толпе четырехсот крестьян, одетый в простонародное платье.

Когда Ивану перевели слова принца на русский язык, он просил и, помолившись на иконы, произнес:

— Хорошо, чтобы я был не токмо с виду повелитель, но и по делам своим!

И теперь, стоя перед божницей, он молился, дабы вершить ему дела, достойные правителя. Ливонская земля должна была быть возвращена Российскому государству, но не разорением и душегубством, а доброю политикою и воинскою доблестью. Воевать надо «не с чужною, а с правителями» — с гермейстером, архиепископом, командорами и лютерскими попами...

Однажды утром Параша из окна увидела толпу, бежавшую по площади к ратуше. Слышался женский плач, крики мужчин. Появилась верховая стража, расчистила дорогу для проезда и пешеходов.

Подобное происходило в Нарве только во время пожаров и городских празднеств. Но пожара не видно и на башне ратуши не вывешено знака и не слышалось набата.

Празднества справлялись вечером и не в такой мороз. И зачем на руках дети, и эти вопни?!

Наскоро одевшись, Параша побегала вприд, но у шаружной двери ее остановила Клара: — Стой! Куда ты?! Не выходи!.. Убьют!

Старуха рассказала: в Нарве получено известие о буйстве и жестокостях московитов, ворвавшихся в Ливонскую землю, и будто бы татарская орда под началом русских князей движется и к Нарве.

Параша едва овладела собой, чтобы не выдать свою радость, не обнять и не расцеловать Клару за эту новость. Спохватилась во-время. Клара грустно вздохнула:

— Меня убьют, а ты живи... Ты молодая.

— Но кто же тебя убьет? Ты наша, русская.

— За то и убьют. Изменницей меня считают... Лютеранка я и от лютерской веры ни за что не отрежусь. Пытай меня, жги на огне, а свою веру не променяю я на вашу... языческую...

Она указала рукою на площадь:

— Гляди! С детьми пришли... плачут... варвар-царь не пощадит никого. Крови ему надо! Ненасытное чудовище! Хоть бы сдох он там! Хоть бы проказа его взяла! Воят люди, а что может сделать фогт или ратман?

В это время сверху, из своей башни, спустился пастор.

Он был бледен, но сдержанно спокоен:

— Близиется суд божий! Знал я, что тот час близок... Бывал я в Московии, бывал в Новгороде, во Пскове... Везде у воевод видел я алчно оскаленные волчьи пасти. Слабости князей наших могут стубить всех нас...

И, взявшись за голову, он в отчаянии прошептал:

— Что я могу сделать. Молиться?! Только молиться. Но и бог не на стороне грешников. Не кто иной, как сами рыцари, предали государство! Сам сатана вразумил Московита напасть на нас!

Клара плакала.

Параше стало страшно. Кругом паника, смятение.

Послышались пабаты, тревожные, торопливые — один удар заглушает другой.

Параша почувствовала жалость к пастору, к доброй Кларе, к женщинам и детям ливонским.

Руссов обернулся к ней:

— Иди в свою келью. Не случилось бы беды!

Она поклонилась пастору и ушла.

В своей комнате уткнулась в подушки и заплакала. В душе была радость, что скоро можно снова вернуться в родную станицу; увидеть там отца, Герасима... Но ей хотелось, чтобы все это прошло мирно, без войны, без кровопролития... Она часто слышала, как ливонцы проклинают ее родину, проклинают ее веру и царя. Не раз она вступала в спор с хулителями Москвы. В Нарве были люди, которые по другому говорили о Москве и о московском царе... Не все так думают, как пастор и Клара. Это известно и Параше.

Дом, в котором она жила, каменный, с башнями, с подвалами, обнесенный высокою оградюю похож на замок, и принадлежал Генриху фон Боллепбах. Желтолицый, старый вельможа, вот уже два месяца приходит к ней в комнату, ласкает ее, добивается добровольной любви; он не хочет приневолить ее силою, он не такой. Ему хочется, чтобы она его полюбила. Он требует этого. Об этом ей говорила Клара. Он по-русски научился говорить только: «слушай», «я хозяин», «я лублу тинья». Во всем другом переводчицей была Клара. Она уверяла, что если Параша обратится в их веру, то господин Генрих ее возьмет себе в жены, он богат, и все богатство оставит после смерти ей, Параше.

Девушка слышать не хотела об этом. Она умоляла Клару ничего не говорить ей про Генриха.

Клара развела руками, покраснела:

— Как же я не буду говорить, когда мне приказано?

Клара вздумала учить Парашу немецкому языку. Это было и любопытно, и время проходило незаметно. Памятью Параша отличалась хорошей, и за два месяца она выучила многие слова. Она уже могла говорить по-немецки «я хочу домой», «отпустите меня», и многие другие слова.

Из разговоров с Кларой она узнала, что господин Генрих — фогт Тольсбургский. В этом округе ему подчинены все начальники. Он всем управляет и собирает земские волостельские доходы с подданных округа. Он же и судит ливонцев в своем округе. Он — фогт. После магистра орденских земель фогты — наивысшие сановники.

На улице, за окном, поднялся сильный шум. Параша подошла к окну, увидела, что в толпе происходит схватка. Трудно было понять: кто с кем дерется и почему. Было только видно, что конная стража ограждает одних и избивает других.

Какая-то женщина перебежала через улицу к дому Генриха Колленбаха, желая укрыться во дворе; за ней гнались люди с палками.

Параша быстро сбегала вниз, отворила дверь и, впустив в нее женщину, закрыла дверь на засов.

Женщина упала на колени, обняла ноги Параше.

— Встань!.. Зачем ты! Встань!

Женщина поднялась, но она не умела говорить по-русски. Параша повела ее по лестнице к себе в комнату и спрятала за печкой.

Скоро послышался нетерпеливый стук в дверь. Параша открыла. Вошла Клара, бледная, испуганная:

— Ты спрятавшая в нашем доме эстонку!.. Подумай, — что ты наделала?!

— За ней гнались с дубьем.

— Но ведь она же эстонка... язычница!

— За ней гнались разбойники.

— У нас в городе нет разбойников. У нас есть орденские братья... Где она?

— Добрая душа у тебя, Клара... Зачем же хочешь ты, чтобы ее убили?

— На замок господина Генриха падет худая слава...

— Клара, подумай, что ты хочешь. Отдать на погибель неповинную голову!

— Ах, ты не знаешь! — со слезами крикнула Клара — Эсты всегда виноваты!.. Господин фогт за ослушание бросит нас с тобой в тюрьму.

— Пускай! — упрямо возразила Параша. — Я не боюсь.

— Что мне с вами делать!.. — зарыдала Клара, убегая из комнаты.

Вскоре явился пастор и спросил Парашу:

— Где она?

— Кто?

— Эстонская женщина?

Параша заинтересовалась — зачем ему знать это? Он ответил, что как пастырские переживания, он не допустит убийства и надругательства над человеком.

— Я уведу ее в свою келью.

В глазах пастора светилась грусть.

— В Московии духовное лицо не будет спасать... Ваши священнослужители — холопы деспота-царя... Тебе не понять наших обычаев.

Пастор взял за руку эстонскую женщину и отвел ее к себе в башню.

Клара сразу повеселела:

— Слава богу! Она язычница. Пастор обратит ее в лютеранство. Не захочет пастор отпустить ее на волю. Так и этак она спасена, а мы не виноваты.

.....

Рюссов писал:

«Московит начал эту войну не с намерением покорить города, крепости или земли ливонцев. Он хотел только доказать им, что он не шутит и хотел заставить их сдерживать обещание».

Перо застыло в руке пастора. Внизу послышался шум, хохот, музыка, топанье танцующих. Генрих сегодня справляет день своего рождения. (Который уже раз в этом году!) Тяжелый вздох вырвался из груди Бальтазара.

— Ах, Нарва, Нарва! — тихо говорит он сам себе. — Твоя судьба висит на волоске, а безумцы ликуют... «Мэнэ, тэкел, упарени!» Исчислен, взвешен и разделен!<sup>1</sup>

Течение мыслей пастора прервал страшный крик, раздавшийся где-то внизу. Кричала женщина. Бальтазар взял светильник и пошел по лестнице вниз. У двери комнаты, где находилась пленница, он остановился. Кричали в этой комнате.

Пастор со всею силою толкнул дверь, остановился на пороге. В комнате был мрак.

Прежде всего пастору бросилась в глаза стоявшая в углу, на столе, русская девушка.

На полу, став на одно колено, склонился господин Колленбах. Тут же, около него лежала обнаженная пища.

Пастор укоризненно покачал головой. Колленбах с трудом поднялся и, шатаясь, подошел к пастору. Он похлопал Бальтазара по плечу и пьяным голосом произнес что-то по-немецки.

Параша крикнула пастору:

— Спасите! Боюсь его!

Пастор нагнулся, поднял пищагу и вывел хмельного Генриха под руку из комнаты. Колленбах размахивал кулаками, кричал, стараясь вырваться.

Когда они вышли, Параша заперла дверь. «Скоро ли придут наши?!» — дрожа от страха, думала девушка. Она стала на колени

<sup>1</sup> По библейскому преданию, во время пира эти слова были начертаны на стене таинственною рукою, в виде предсказания последнему вавилонскому царю Валтасару.

и принялась усердно молиться, обратившись лицом к Иван-городу.

Из окна ей хорошо было видно построенную Иваном Третьим на Девичьей горе каменную крепость Иван-города. Глаз радовали тройные стены крепости и широкие трех- и четырех-русные башни, которых было целых десять. На них временами появлялись караульные стрельцы. За стенами высились куполы церквей. Клара объяснила, что называется та церковь — Успенской, и что русские в ней хранят «чудотворную икону» Тихвинской божией матери. Ей-то мысленно и молилась Параша.

Утром плакала Клара. Ее оскорбил Колленбах. Он винит ее в том, что Параша дичится. Клара, озлобившись на него, но секрету рассказала, что господин Колленбах имеет жену. Живет она в другом замке в Тольбурге. Есть у него и наложницы: одна — бывшая уличная певица, другая — цыганка, купленная им в Литве. Клара убеждала Парашу быть стойкой, не уступать «старому ослу», как назвала она своего господина.

С этого дня они еще более подружились. Она передавала все новости, которые слышала на базаре, в лавках, в клерке. Поговаривали, что московское войско удалилось из пределов Ливонии, и что в Вендене собирается чрезвычайный сейм для сбора дани московскому царю. Скоро будет заключено новое перемирие с Москвою и теперь уже надолго.

— Тогда — молвила Клара — господин Генрих побойтся держать тебя в неволе... Ратманы не захотят гневить царя. Ты можешь пожаловаться нашему ратману Брумгаузену. Он с царем дружит. Во дворце у него бывал. Другой ратман, тоже немец, Арнт фон Деден, часто говорит о мудрости вашего Ивана. Он, как и Брумгаузен, сторонник Москвы. Не бойся! Ты будешь счастлива! Оба ратмана не в ладах с господином Колленбахом и бывшим нарвским фогтом. Они заступятся за тебя, коль скоро будет перемирие.

Параша рассказала Кларе о том, что с ней было:

Вечером ее заставили плясать... Чтобы не злить страшного Генриха, она плясала по-московски с таким-то хмельным рыцарем... Она нарочно привинулась веселой, беспечной. Лихо прыгивала каблучками и кружилась. Полуодетые, растрепанные бесстыжие женщины шли вино с пьяными рыцарями, садилась к ним на колени и хохотала, глядя на Парашу... Она уложила удобную минуточку и убежала к себе в комнату; за ней вслед прокрался этот безумный Колленбах. Ворвался... Она вскочила на стол и выбила ногой из его рук проклятую шпагу... Тогда он стал умолять, стоя на коленах... Она закричала... Спасибо пастору!..

Глубокою ночью, в непроглядной темени, подходило московское войско к Иван-городу. Черной ленте его, казалось, и конца не будет. Андрейка часто поворачивал своего коня и с любопытством смотрел вдаль на белую равнину, чтобы увидеть — где же войску конец? Но из темноты, словно из земли, вылезали все новые и новые кони, люди, розвальни и туры.

Кони, нехотя, через силу, тащили, за собою нагруженные добычею сани. В морозном воздухе гулко разносился по полям скрип полозьев, топот и фырканье копей, людские голоса. Все чувствовали усталость после продолжительного перехода от Дерпта до Иван-города. Тянуло на отдых, к настоящему добродню сну. Надоело уже зябнуть в снегах и считаться сушеной рыбой да хлебом.

Рядом с Андрейкой верхом ехал Мелентий. Впереди — дворянин Кусков, а еще впереди — Василий Грязной. У него болели зубы. Он обвязал щеку тряпкой, съезжился и всю дорогу потихоньку стонал. Андрейка натер себе ногу сапогом, нога ныла. Мелентий исподтишка смеялся и над Грязным и над Андрейкой:

— Дьячки вы, пономари, а не войны.

— Полно потешаться... Не услышал бы!

— Гляди, башка, он весь в ворот ушел и носа не видать... А ведь и войны-то, путем, не было, — одна потеха... Попужали народ — и все тут. Нет! Кабы я царем был — спуску не дал бы, так бы до самого моря напролом...

От воевод приказ: приблизиться к Иван-городу тихо, без дудок и набатов, чтоб не пугать народ. Когда проходили Псковскую землю, пошумели, погалдели, повеселились, а в монастырях и вина попили. Как говорится, — и у отца Власия борода в масле. Монастырские погреба — прибежище неиссякаемое. Да и сами чернецы богу не даром молятся. Псковские колокола до сих пор в ушах звенят. Царек Шиг-Алей таким охочим до церковных служб оказался — прямо измучил всех. Ни одной церкви не пропустит, чтоб войско не остановить. Царь Иван хоть того святым сделает! Его бояться, как оказалось, не только в Московском царстве, но и в Ливонии. При одном его имени трепещут немецкие бюргеры. Детей им пугают.

Иван-город уже стал виден и Нарва тоже. В Нарве огней больше — богаче она.

Ертоул уже давно в Иван-городе — почлег готовит войску и еду.

— Эй, пушкарь, слезай с пушки! Довольно спать! К немцам приехали!

— Вылезай, кот, из печурки — надо олучи сушить!

— Полно вам гаддеть! — недовольно проговорил заспанный пушкарь, вылезая из-под рогажи.

— Чего гаддеть!.. Иван-город!.. Гляди!.. Вона там!

Вот уже плетни, валы, избенки сторожей... Из сугробов выглядывают бревенчатые церквушки, дома, овины. Лошади, почувя жильё, оживились, зафыркали... Люди слезли с розвальней, пошла пешком... Все встрепенулось, все возрадовалось... близок ночлег!

## IX

Ливонское рыцарство тринадцатого марта съехалось в городе Вольмаре.

Много свечей сгорело, много пота было пролито, много гневных речей прозвучало под каменными сводами мрачного Вольмарского замка.

Магистр Фюрстенберг, морщинистый, усталый, старческим голосом напомнил рыцарям «о славном прошлом Ордена». Он настаивал на том, чтобы все военные силы собрать воедино и двинуть к границам ливонским. Он говорил, что спор между Орденом и Москвою можно разрешить только в открытой войне.

Депутаты Риги, Дерпта и других городов не разделяли взгляда магистра.

— Если такой смелый государь, как Густав Шведский, не смог одолеть москвитя, то где же нам отваживаться на войну — заявил один из представителей Риги. — Не лучше ли заключить мир с Москвою?

Послы Риги прямо объявили, что Рига не считает себя обязанной защищать других, разбрасывать свои силы по Ливонии. Рига и другие приморские города могут защитить себя своими стенами, имея возможность всегда получать с моря продовольствие и оружие. Рига выдержит напор русских, а остальные города каждый пусть защищается, как умеет.

Ревельские послы тоже требовали заключения мира с Москвою.

Но... мир требовал денег!

На столе чрезвычайного орденового ландтага лежало письмо папы Шиг-Алея.

Шестьдесят тысяч талеров!

Каждый рыцарь почитал высокою доблестью, величайшей христианской добродетелью — поношение «восточного варвара — московского паля». —

Имя «язычника-москвитя» не раз упоминалось с опаской.

Провинциальные магистры, духовенство и все дворянство, ругая Ивана и москвитов, превозносили свои добродетели, свое собственное «недосягаемое благородство».

Всем хотелось мира, но никому не хотелось денег давать.

Угроза нашествия?! Да, она пугала, возмущала, но ведь и в самом деле, у рыцарей есть крепкие неприступные замки. А может быть до этих замков москвиты и не дойдут?! А может быть, что-нибудь случится, что помешает москвиту напасть на Ливонию? А может быть... Да мало-ли что может быть! Не лучше ли не торопиться?!

Магистр и архиепископ твердили одно:

— Деньги, или войско?! Коли мир, — не жалейте, братья, денег на такое великое дело! Родина в опасности!

Один бургомистр, толстый, в черном бархатном камзоле, вытаращив глаза, басисто прокричал:

— Лучше нам потратить сто тысяч талеров на войну с Москвией, чем платить один талер дани московскому деспоту!

Нашлись храбрецы, поддержали его; поднялся шум. Они требовали самим, первым, напасть на Московию.

— Соберем войско — кричали они, размахивая кулаками — и после пасхи, ранней весной, двинемся опустошать Московскую землю. Отомстим за пролитие немецкой крови. Наши отцы обращали в бегство этих варваров. И теперь они не так сильны, чтоб нельзя было их победить. Нам помогут шведы, датчане...

Раздавались речи, что немцы — народ наступательный. В этом и есть источник всего хорошего, что они сделали. Кто истребил Полабских славян? Кто открыл после того путь немецкой христианской шпиге в Чехию и Польские земли?! Разве забыли благородные рыцари, как гордый архиепископ Като писал из Майнца римскому папе о славянах: «Хотят ли они того, не хотят ли, а все-таки, должны склонить свои выи немецким князьям». И разве немецкий святой праведник Бонифаций, величайший и усерднейший проповедник христианской веры в Германии, не называл славян «самым жалким и отвратительным племенем». В Россию христианство должно прийти с немецким мечом. Русские считают себя христианами, но они хуже язычников. Немцы — народ благородный, великий, возвышенный, на челе которого бог положил печать своего духа и даровал самую продолжительную жизнь между всеми народами.

— Немецкий народ уже однажды владычествовал над миром! — кричал рыжий в синем камзоле рыцарь с крысиным ртом. — Вспомните Оттона, времена императоров Франкских и Гогенштауфенов! Разве не оправдали они свой титул «распространителей царств?»

Воипственность храбрецов заразила немногих; напрасно выхватывали они шпаги и грозно размахивали ими. Напрасно поминали ими второй «священной Римской империи»<sup>1</sup> и немецких императоров. Злобные выкрики, проклятия, гордые возгласы о славе орденового оружия, не могли уже шоднять духа в приунывшем рыцарстве.

Худой, бледный дворянин, вскочив с своего места, сказал:

— Мы прменяли полотно и замшу рыцарских одежд сперва на камлот, потом на сукно, наконец на бархат. Украсили жен своих перлами и дорогими алмазами, а сами обрядились в золотые цепи, отказавшись от стальной кирасы. Цветущая Ганза возит к нам заморские вина и разные роскоши и тем губит и старцев и молодежь... Вечные праздники в городах и замках! Вечные слезы в деревнях! Чего мы добьемся при такой жизни?!

Молчание было ответом захудалому дворянину. Его выкрики некоторым сановитым рыцарям показались даже дерзкими.

Заговорил бургомистр города Дерпта, высокого роста, чернокудрый красавец — Антоний Тиль.

Хлопнув с сердцем рукою по столу, он сказал громко и властно:

— Довольно! Много дней мы толкуем, как помочь себе, и ничего не выдумали. Позор! Скажу одно: кого бы ни пригласили мы к себе на защиту — никто за нас не захочет бескорыстно воевать. Так или иначе придется нам отвечать своими собственными головами и кошельками! На одних вкнхтов надеяться — безрассудно. Если вы немцы, то отдавайте все свое частное достояние на пользу родной Ливонии; все украшения жен своих; золотые цепи; браслеты; все, что у нас есть дорогого в запасе, все продадим! На эти сокровища найдем войско. Сами все соберемся вместе и смело пойдем навстречу неприятелю, чтобы или победить, или погибнуть. Не станем поступать, как прежде делалось: каждый свой угол берет, и враг мог поодиночке всех нас побить. Похоже ли это на немцев?! Если мы решимся поступить так, как я говорю, биться в открытом поле, то не опозорим своих предков. И не так дешево будет стоить новое укрепление городских стен, постройка новых валов и башен. Нужно много средств и времени для того! Да и беспечны иной раз самые сильные и обширные укрепления.

Тиль вспомнил ряд случаев из истории, он указал на падение *Константинополя*, *Офена* и других мощных крепостей. Лучше поме-

<sup>1</sup> Империя объединенных германских наций.

ряться с врагом в открытом бою и с честью пасть, чем бежать от врага и уклоняться от битвы.

Тиль своею речью навевал еще большее уныние на ландтаг. Никто не поддержал его. Глубокое молчание, пожимание плечами и вздохи рыцарей были ему ответом.

Вдруг в палату вбежал человек и испуганно завопил:

— На небе знамение! Погибли мы все, погубили!

С этими словами он в страхе выбежал обратно на улицу.

Ливонские вельможи, наглядывая на плечи шубы, торопливо вышли из замка.

Посеребренные луной мирно спали маленькие домики. Величественная тишина царила в городе. По небу медленно ползла громадная звезда с огненным хвостом палодобие метлы. Зеленые мертвящие лучи ее наводили ужас.

Прискакавший верхом на коне седобородый астролог сказал, запыхавшись:

— Гибель грозит Ливонии!.. Сия метла выметет всех нас из приморской земли.

Сказал и снова скрылся в узких переулках.

Дрожь от страха, бледные, смущенные, вернулись рыцари в замок. Торопливо, с неожиданным усердием, наперегонку начали раскопеливаться.

Город Дерпт отвалил десять тысяч, Ревель, Рига и другие — пятьдесят тысяч талеров. Счетчики не успевали собирать деньги.

Ландтаг единогласно решил снарядить в Москву посольство, чтобы оно отвезло поскорее деньги царю и заключило бы с ним новый договор о перемирии на вечные времена.

Фюрстенберг, однако, все еще не теряя надежды, на вооруженную борьбу с Москвой, рассылал курьеров по всей стране; от командора к командору, от города к городу скакали они, взывая о помощи, побуждая к военным действиям против Москвы, но если сам ландмаршал Ливонского ордена Христоф Нейенгоф фон дер Лейс отстранялся от похода на русских, чего же можно было ждать от рядового рыцарства?

Курьеры возвращались к магистру ни с чем.

Утром во вторник, на первой неделе великого поста, Параша узнала, что в Ивангород вошли русские войска.

С радостью она узнала и то, что Колленбах уехал в *Тольсбург*, на берег Балтийского моря. Клара говорила, что всю ночь ливонские рыцари совещались в замке: как бы им оборониться от «москвитов».

**Клара** вчера приводила с собою красивую, **бойкую** девушку, немку... — Худенькая, смуглая, с черными, как вишня, глазами. Звать ее Генриетта. Эта девушка говорит по-русски. Отец ее, Бертольд Вестерман, ездил в Москву, возил и ее с собой. Он крупный норвежский купец и ведет постоянную торговлю с Новгородом, Псковом и Москвою. Они жили с отцом в Москве целый год, пока не продали всей меди и селитры. Ее отец все это перекупил у приезжего германского негодянта.

Генриетта ругала магистра и архиепископа, что они не дают отцу зарабатывать деньги, мешают ему торговать. По ее словам — в ратуше ганзейские и германские купцы потребовали у фогта деньги, чтоб покрыть свои убытки. Товары их захватили в устье Наровы орденские канеры, и купцы от того пришли в упадок и не на что им выехать в свою землю.

Фогт сказал, что не надо возить товары в Москву, но он напишет все же магистру, а денег у него нет. Нечем ему покрыть убытки купцов. Немцы пригрозили жалобой на имя императора Фердинанда.

Ратман Иоаким Крумгаузен принял сторону немецких купцов. От этого получилась еще большая разногласица.

Произошла озлобленная перебранка немецких купцов с фогтом. И многие норвежские бюргеры стали на защиту обрабленных немецких купцов. Они были недовольны своими властями.

У Генриетты нежный, ласковый голос и добрые глаза.

В то время, когда Параша раздумывала о Генриетте, на улице поднялся шум. Опять толпы народа! Был праздник и прекрасная весенняя погода, теплая, солнечная. И потому Параша не придавала значения этому шуму.

Но вот в комнату вбежала Клара. Она, задыхаясь от волнения, с трудом проговорила:

— Хмельные рыцари задумали что-то недоброе. Колленбах нейдет, пойдем в город. Посмотришь сама. Теперь я не боюсь своих хозяев. Все равно! Пойдем! Внизу дожидается Генриетта. Посмотрим сами, своими глазами, что там?

Параша обрадовалась случаю вырваться на свежий воздух, на волю. Впервые выйдет она на улицу из своего заключения, не как пленница.

Наскоро одевшись, девушка последовала за Кларой. Внизу, действительно, дожидалась Генриетта. Увидев Парашу, она бросилась к ней и расцеловала ее.

— Идемте к крепостной стене... Туда повалил весь народ.

Полною грудью вдохнула в себя весенний воздух Параша. Закружилась голова.

— В глазах у меня все вертится... дома и люди... Поддержите меня!..

Генриетта и Клара подхватили ее под руки.

— Это пройдет... — успокоила Генриетта. — Со мной так-то сплошь да рядом бывает... Сырой здесь город и шумный.

Вскоре Параша стала чувствовать себя лучше. Не так уже резало глаза синее небо и солнце, не так дурманил весенний воздух и не так пестрило в глазах от множества людей.

Снега в городе почти не было. В канавах журчала вода, бежавшая по склонам в Нарову. Голубиные стаи кружились в воздухе. Грачи сустились на площадях. Над городом тяжелой громадой высилась башня Вышгорода (замка) «Длинный Герман». Зубцы крепостной стены и башен четко выступали на бледногубом небе. Теперь Параша могла лучше рассмотреть и этого страшного «Длинного Германа». Она насчитала шесть «житьев». Разверзлось широкое жерло ворот в толстых стенах замка; зловеще зияла его глубокая мрачная каменная глотка, из которой с топотом и криками вылетали всадники.

Выструганными из дерева мечами мальчишки шлепали друг друга, изображая войну с «москвитами».

У крепостных стен столпился народ. На стене тоже люди; прикрывая ладонью глаза от солнца, они напряженно смотрели вдаль, на тот берег, в Иван-город.

Параша уловила едва слышимый церковный благовест. В волнении она сжала руку Генриетты. Немка поняла ее.

— Ни, ни! Боже упаси! Не крестись! Беда будет. В Нарве все церкви разорены, а попы изгнаны.

— Это наши!.. Как близко!.. — с трудом переводя дыхание, прошептала Параша.

— Шш-шш! Молчи!.. — Генриетта потрозила пальцем.

Клара подслушала, что говорят мужчины, и вернулась к девушкам встревоженная; она тихо сказала:

— Рыцари идут... Стрелять хотят в Иван-город по русским богомольцам... Смотрите! Вот они!..

Среди улицы, по самой грязи, топя громадными сапожницами со шпорами, нетвердой походкой шла толпа пьяных рыцарей. В руке каждого из них был лук, а в колчане, перебинтованном через плечо, торчало множество стрел. Лица их лоснились от пьянства и помады. Они громко хохотали, толкая друг друга. Сзади них лапскнехты вели закованных в цепи мирных жителей из русского квартала Нарвы.

— Спасайтесь, девушки! — крикнула Клара.

Клара, Параша и Генриетта бросились бежать в один из переулков. Рыцари заметили это, и двое винулись за ними, но в канаве поскользнулись и упали в грязь. Раздался хохот, свист, ругань.

Вскоре рыцарей не стало слышно — они прошли мимо.

Параша дрожала от страха.

— За что они хотят убивать наших?! — со слезами спросила она Клару.

— Пьяные!.. Они друг в друга и то стреляют, а в московских людей и подавно.

— Они убьют!..

Генриетта строго посмотрела на Парашу.

— Место ли, время ли о том говорить?! Помни, ты — русская... да еще в стане своих врагов...

Параша замолчала.

Клара сказала, нахмурившись:

— Теперь можно всего ждать... Помни и то, что я против закона выпустила тебя на волю... Будет худо тебе, а мне и того горше, коли узнают.

А вот и стена! На ней толпа рыцарей. Они достают стрелы, натягивают луки, прячась за толпою русских пленников.

Клара знала ход на стену поодаль, вправо от рыцарей. Она повела туда девушек. Через несколько минут они были на стене, попросшей мохом и кое-где от древности обсыпавшейся. Отсюда очень хорошо было видно внутренность мощной русской крепости Ивангорода, его площади, дома, церкви. Отсюда было видно и бурлящие потоки водопада, низвергающиеся по гранитным скалам в стремнину реки Наровы, темносиняя вода которой сверкала на солнце белизной пенящихся волн. Воздух наполнен был неумолчным ревом этого водяного чудовища, бушевавшего в золотистом сиянии весеннего утра.

— Боже, как сегодня хорошо! — сказала Генриетта.

Параша видела, как в собор по площади тихо идут богомольцы. Их много. Тут же, недалеко от собора, стояли на привязи кони. Иногда на площади проходили люди с кошками.

Вдруг на нарвской стене раздался дикий крик, и протяжно, жалобно прозвучали стрелы, шуршащие рыцарями в Ивангород. Параша и Генриетта ахнули от испуга. Вот упала одна лошадь, заматаясь люди у собора. Поднялась тревога.

Хохот и пьяные восклицания немцев, стоявших на стене, огласили воздух. Рыцари с веселыми лицами наблюдали за тем, как люди в испуге мечутся на иван-городской площади.

Параша закрыла глаза:

— Уйдемте... Не могу!..

И не слушая предупреждений Клары и Генриетта, она несколько раз набожно перекрестилась.

— Если бы у меня была пицаль, я бы побила бы ваших рыцарей!.. — сказала она громко, с негодованием, сходя по каменной лестнице со стены.

Андрейка возвращался из осиновой рощи, таща за собою в санках связку жердей для шалаша. Белые, как лебяжий пух, пласты снега становились синеватыми, местами разорванными на части. Весело резвясь в солнечном сутреве, говорливые ручейки сбегали по желобкам и трещинам с высокого берега в реку Нарову. Распутища в полном разгаре. Трудно было по грязи и по обнаженной земле тащить в гору сани.

Нарова вздулась, потемнела — вот-вот тронется. Около берегов образовались широкие закраины. В кустарниках насвистывали снегири, юлили синицы в прутьяхках.

При самом въезде в Иван-городскую крепость монастырь с двумя колокольнями: одна высокая, другая приземистая, широкая — обе каменные с отлогим основанием, уходящим глубоко в землю.

Из-под монастырской слободы в гору тянулись толпы богомольцев. Среди них можно было видеть ратных людей, проживавших в шатрах на взгорье близ монастыря, под защитю стен от северных ветров.

Весенний воздух и мерный, спокойный великопостный благовест настраивал людей на молитвенный лад. Какая война?! Душа жаждала мира, тишины, дружбы, всепрощения. Скоро пасха!

Андрейка тоже собирался сегодня в церковь и потому спешил поскорее добраться до того сада, где он с товарищами задумал поставить шалаш. Вот уже потянулись серые, обитые тесом дома монастырской слободы. А вот и березовая аллея, ведущая на площадь.

Никогда порубежный страж Московского государства, неприступный для врага Ивангород, не знал подобного множества народа, как то произошло с приходом войска. Проезжие дороги превратились в пешеходные. Телеги и воза с трудом пробирались сквозь толпу. «Эй, поберегись!» — то и дело отдалало воздух. Тут же бродили свиньи, жеребята — стригунцы, козы, ягнята... Около монастыря скрипели сухие, надтреснутые голоса нищих, сидевших на пути у прохожих с деревянными чашами. Кашички-перехожие тянули «лазаря».

Купцы, помолившись на все четыре стороны, развязывали товары. На лотках появились уже золотные, мухояровые и иные тка-



ни. Плотники возились с досками, сколачивая лари. Стук топоров и молотков мешался с предвздвигчивым гулом толпы, ржаньем коней, с отзвуками церковного благовеста. Рас-талкивая всех, бродили монахи с иконами. Ратники, отдохнувшие от военных переходов, прогуливались по базару с любопытством по-глядывая на раскинутые в ларях товары.

После многих окриков, шипков, толчков и свиста Андрейке удалось все же добраться до церковного садика, где на скамье мирно беседовали его товарищи.

Нижегородский ратник Меркушка-хлеб-ник встретил его радостной вестью:

— Гераська приходил, Тимофеев, ваш — колычьевский, искал тебя.

Бичева от салазок выпала из рук Ан-дрейки.

— Где ж он?

— В церкви. Сейчас выйдет.

Андрейка опрометью побежал в церковь.

Встреча была братской. Парни крепко об-нялись.

— Жив?!

— В добрый час сказать — в полном здравии.

— И я, бог милостив...

— Вижу, Герасим, вижу... Как ты попал-то сюда?

— Ослодь царя надоумил, а царь народ... Вот я, стало-быть, и живу здесь...

Герасим рассказал о своей жизни в стане порубежной стражи.

Вдруг со свистом, сзади, в плечо Андрейки, глухо вопзилась громадная стрела. Обливаясь кровью он упал на земь. Герасим быстро вы-дернул стрелу. Андрейка успел проговорить «Герасим, убийли!» и впал в беспмятство. Подбежали люди, подняли его, понесли в ближний дом. Вслед за этим на площадь со стороны Нарвы посыпались сотни стрел. Богомольцы, не поместившиеся в церкви, а сто-явшие наружи, в страхе заметались по ули-цам. Многие из них, вскрикнув, падали ра-ненные стрелами. Проклятья и стоны слышались со всех сторон.

Ратники бросились к воеводам, прося их ударить из пушки по Нарве. Воеводы наот-рез отказали. Царь не велел без его разреше-ния начинать вновь войну с немцами. «Пус-кай Ругодив (Нарва) стреляет, мы не будем, пока царской воли на то нет». — Так отве-тили воеводы. — «Потерим».

В Москву были посланы тонцы с донесе-нием о случившемся.

## Х

Площади и улицы Иван-города целыми днями были пусты, только богомольцы по-одиночке, с опаской, пробирались в мона-

стырь. Шны, не доходя, падали. Раненых уносили. Рыцари целые дни разгуливали по крепостным стенам Нарвы, высматривая лю-дей на ивангородской площади и набережной и расстреливая неосторожных.

В воеводской палате ивангородского двор-ца собрался ратный совет. Как быть с Нар-вой?!

Больше всех горячился Никита Колычев.

— С каких это пор повелось, — кричал он, — чтоб русский воин подставлял покорно свою грудь врагу?! Народ требует, чтоб и мы пальцы в них... Нельзя идти против на-рода!.. Сам господь велит нам разрушить до основания Нарву... Будем стрелять день и ночь, а перебежчиков из Нарвы, приходящих под видом друзей царя, подобных купцу Крумгаузену, всех губить и черный люд ихний надо уничтожать... Что за эсты?! Что за латыши?! Никого и ничего не жалеть!.. Все предать огню и мечу, чтоб проклятые ливонцы навсегда запомнили нас, русских... Камня на камне не оставить от Нарвы — вот что по чести надлежит нам теперь сделать... Если мы не будем губить немцев, ратники сами учнут избивать их...

Лицо боярина Никиты налилось кровью, щеки раздулись, глаза сверкали злобою; он грозно потрясал кулаками, обратившись в сторону Нарвы.

Спокойно, с едва заметной усмешкой на губах, следил за ним Алексей Басманов.

После Колычева говорил Куракин. Он был старый воин. Выше всего ставил порядок в воинских делах. По Казанскому походу знал он и военную повадку царя. Иван Васильевич не из тех, что очертя голову, не проведав обо всем, бросаются в драку. Знал он и то, что царь в спорах с Ливонией особенно осторожен, ибо он не хочет сорваться с гер-манским императором.

— Вольно рыцарям бунтовать! — сказал он. — Видит бог, мы не зачинщики... А коли богу и царю станет угодно вразумить рыца-рей — мы послушаем тому благому делу с честью. Вот мой сказ!

Воевода Даниил Адашев поддержал Кура-кина: не идти на поводу у ругодивцев! Без царского приказа ни! ни!

Сабуровы-Долгие и стрелецкие головы Сы-рахозины Марк и Анисим настаивали на том же, на чем и Колычев. Нечего-де ждать царского приказа, а начать немедленный штурм Нарвы, не щадя ни снарядов, ни людей, идти напролом, и повторили то же, что сказал и Колычев: «Не оставит камня на камне от Нарвы и перебит всех мнимых наших друзей» и тоже поминвали ратмана го-рода Нарвы Иоахима Крумгаузена.

Поднялся со своего места Алексей Басманов. Спокойный, чинный вид его смутил многих.

— Чего ради мы будем лезть на рожон? Любо мне видеть вашу ярость, бояре, и слушать речи единомысленные... В них тнев и храбрость — украшению древних княжеских и боярских родов. Но всегда ли мы должны следовать велениям древней крови?!

Глухой говор и шопот в толпе бояр.

Кольчев не стерпел, вскочил:

— Слушать надо народа, воиников! Да и древнюю кровь нелишне послушать!.. Что нам германский император?!

Кто-то ехидным голоском, нараспев, сказал:

— Чепись конь с конем, а свинья с углом!..

Басманов, не обращая внимания на слова Кольчева и этот выкрик, громко и строго продолжал:

— Так и этак слушать надо царя, самодержца! Древняя кровь говорила: «сила закон ломит», а ныне закон силу ломит. Воля божья, а суд царев! Как государь Иван Васильевич прикажет, так и будет.

Помрачнели лица бояр. Кольчев закаплялся, перебрестил рот. На висках у него надулись жилы.

Сидевший в самом углу позади бояр Василий Грязной с озорной улыбкой рассматривал бояр и воевод, ошеломленных речью Басманова. Петирал самодовольно колени ладонями.

Воевода Куракин крикнул весело:

— Добро молвил, Алексей Данилыч!.. Не можно так: што воевода, то норов! Порядок нужен! Единомыслие! Бранное поле — не курятник!

Басманов продолжал:

— А Якимя Крумгаузена и прочих парвских кушцов не троньте! Беду нальвете! Тут цареве дело. Государь ведает...

Кольчев шепнул соседу, боярину Разладину, в ухо: «Измена!» Разладин в ухо же ответил: «Изменив древности, долго ли изменить родине?!

И вдруг глаза Кольчева встретились с черными ягровыми цыганскими глазами чернокудрого Василия Грязного. Вспомнилась зимняя ночь в Москве, пыточный подвал... Никита Борисыч приветливо кивнул головой Грязному... Тот еще приветливее ответил ему. Кольчеву это польстило.

«Что за человек? — подумал он. — Ведь такой красавец и такой весельчак! Только бы ему потешать бояр на пирах, а он... трется сколо двораца, ужом вьется, развивается, прислуживается?! Удивительно!»

Воевода Бутурлин, рыжий великан, хриплым от неумеренного питья голосом провозгласил:

— Задор бывает, когда силы нехватает... А у нас сила есть! Слава богу!

Худоцавый, с раскосыми глазами, богато одетый, князь Афанасий Вяземский, вытянув худую шею из кольчуги, смеясь, сказал:

— Сколько бы мы тут ни толковали, а умнее царя все одно не будешь!.. Клянусь в том!

После совета, расходясь по своим патрам, бояре липли к Кольчеву: вздыхали, сочувствовали ему.

— Так уж у бояр, стало быть, своей головы и нет?! Басманов, Вяземский, Бутурлин, Буракин — ласкатели царские, льстят-ся к нему, говорят не то, что думают... Выслуживаются...

Кольчев, испуганно оглядываясь по сторонам, шептал с беспокойством:

— Домовой меня толкнул! И чего я вылез?! Кто меня спрашивал?! Будьте добреньки, братцы, отойдите от меня... Не подумали бы о нас чего... Не надо казать вида, что мы заодно... Спорить нам друг с другом надо, ругать друг друга матерно... Сам Андрей Михайлович Курбский сердится, коль к нему жмутся его друзья... Схлыпьте от треха!

Ратники не раз хватались за оружие, чтобы ответить ливонцам ударом на удар, но воеводы Куракин, Басманов, Бутурлин и Адашев стояли на своем: «Нельзя, покуда от царя не придут гонцы».

Народ умолял Куракина на коленях, чтоб тот дал приказ пушкарям открыть огонь по Нарве, надо «немчина» пручить!

Куракин теперь был спокоен. На его губах даже появилась улыбка, когда к нему пришли с жалобами на ливонцев посадские. Был он дороден видом, широкоплеч, высок, с пышными седыми будрами и говорил хмуро и вразумительно: «Не время! Обождите! Не время!»

Посадские ворчали:

— Собака и та ласковое слово знает, добро помнит... А немцы все позабыли, и бога позабыли... Уж мы ли их не уважали! Мало ли они, дьяволы, от нас пользовались. И город-то наш — Ругодив. Чего же на них смотреть?! Чего терпеть?!

Воеводский дьяк Шестак Воронин смеялся:

— Водяной пузырь недолог. Надувается-надувается да и лопнет! Так и Нарва, так и немцы. Потерпите, братцы!

Ходить по улицам странноовато. А уж как хотелось бы спускаться на набережную да полюбоваться водопадом и рекою!

Лед тронулся. Глухо наваливаясь одна на другую, со скрипом медленно движутся большие льдины. Шелестят обломки их, буравя

каменные оплечья берегов. На некоторых льдинах, ушливают к морю трупы, зонская падаль, изрубленные шлемы, сломанные сабли... Это с верховьев Наровы. Солнце целые дни освещает пустынные окрестности.

Жители Иван-города, в страхе творя молитву, на все это смотрели издали: из окон, с чердаков, с башен, с колоколен. А уж как обидно встречать весну украдкой!

Андрейке вышла доля и того хуже. Весь обязанный, в темном углу монастырской кельи он метался в жару, бредил... Бредил какою-то громадною пушкой, которая должна сметать всех врагов Москвы...

— Полпуда зелья! — кричал он. — Клади! Сынь! Чего зевашь?! Полпуда!..

Герасим не отходил от него. Нашли лекаря, еврея, бежавшего в Иван-город из своейской земли. Лекарь успокаивал Герасима, уверяя его, что Андрейка выживет, поил больного какими-то травами, делал раненому перевязки, заботливо ухаживал за ним.

Сами воеводы: князь Куракин и Басманов, однажды навестили московского пушкря. Слух и до сих дошел о «смышленном мастере», коего сам царь наградил офиками за стрельбу.

Басманов обещал хорошо заплатить лекарю, если он вылечит Андрейку.

Томительно тянулись дни в Иван-городе. Каждый чувствовал себя в осаде. Нигуда спокойно, беззаботно показаться нельзя.

Базары опустели. Ощущался недостаток в мясе, хлебе. Стали ловить толубей — их есть, «Грешно да ничего не поделашь!» Вот уже скоро две недели, как тянется эта нудная, убогая жизнь у ивангородцев. А топцов от царя все нет и нет.

Иногда Андрейка по ночам бредил Охимой. Кричал, сердился. Герасим потчесывал затылок, покачивал в задумчивости головой. Конечно, у него, у Герасима, есть своя невеста, Параша... Но ведь Андрейка тайно любит боярыню... Он часто говорил о боярыне Агриппине... и вдруг...: Охима!

Долго думал Герасим об этом, сидя около постели товарища. Снова поднялись мысли о плененной ливонцами Параше. Жива ли она? Что с ней?!

Сердце Герасима было полно ненависти к немцам. Трудно становилось дышать от гнева при мысли о тех обидях и несправедливостях, которые чинили ливонские власти на рубежах, где они служили в сторожке. А теперь и вовсе!.. Где же это слыхано, чтоб стрелять в тех, кто с тобою не воюет?! Где же перемирное слово! Параша! Андрей!.. О, если бы царь дал приказ!.. Этого приказа с нетерпением все ждут, все ратные люди в Иван-городе. Народ истомился! Бессильная ярость

тяжелее стопудовой ноши... Окаянные немцы!

В войске уже ропот пошел на Басманова, на Куракина, Бутурлина, Адашева. Кто-то посылал в городе сомнение: «Уж не измена ли?!»

По вечерам, в углу, где лежал Андрей, нудно трепала лучина в свете, шинели угольки, отстрекавшие в подставленную лоханку. Угольки, попавшие в воду, кружились на поверхности, чадили.

Сквозь полумрак Герасиму видно было бледное, неживое лицо товарища. Душили слезы. За что? За что проклятые немцы хотели убить Андриюшу? Что он им сделал?!

.....

Не получая отпора, рыцари чувствовали себя героями! Целые дни верхами развезжали вместе с козными ландскнехтами по улицам, вооруженные с головы до ног. Женщины прятались, страшлись насилия. Кое-где на виселицах видны были повешенные русские пленники.

Сами ратманы, пробовавшие остановить расходившихся рыцарей, — Иохим Крумгаузен и Аридт фон-Дедец, — опасались нападения воинственно настроенной толпы, заперлись у себя дома и уже не делали попыток обуздать нарвское дворянство.

Фогт Эрнст фон-Шелленбург возглавлял рыцарство. Но все же приходилось и ему задумываться о дальнейшем. Ведь даже самый глупый человек понимал, что беспричинный обстрел Иван-города не пройдет даром. Не таков царь Иван! Не таковы «москвиты»!

Немцы с большой тщательностью принялись укреплять замок. На башню «Длинный Герман» втащили пушки. По стенам замка расставили много орудий; углубили рвы вокруг замка. О посаде же, окружавшем Выпгород (замок), застроенном почти сплошь деревянными домами, у рыцарей и заботы не было.

Простой народ понял, что замок в случае осады станет убежищем только рыцарей и дворян, а городское население будет брошено в жертву неприятелю.

Так нередко случалось и в прежние войны. Именитое дворянство и купцы прятались в крепости со своими слугами и любимчиками, а посадский народ оставляли незащищенным.

Среди обывателей поднялся ропот.

Рыцари и ландскнехты бросали недовольных в подземелье, заковывали их в цепи и пытали, выдерживали языки, замуровывали их в кирпичные стены замков, рубили головы.

Параша обязалась на положении узницы. Кларе велено было запереть ее на замок;

кроме воли и хлеба, ничего не давать. Параша узнала от Клары, что Колленбах не вернется в Нарву. Он будет жить в Тольсбурге, пока не кончится война. Пастор Вальтазар прислал форта опустить Парашу на волю, в Иван-город. Форт ответил, что ему дан свыше приказ, чтоб иностранцев из Нарвы не выпускать, пока на то не будет особого распоряжения.

Улицы Нарвы опустели. Жители копали землю, устраивали подвалы, землянки.

Клара, приняв Параше еду, плакала.

— Ой, что-то будет! Что-то будет! Меня убьют... Во сне я видела, будто куда-то провалилась.

Добрые глаза Клары выражали страх.

Параша успокаивала; кто ее тронет? Зачем? Если придут московские люди, она, Параша, заступится за Клару, расскажет русским воинам, как за ней ухаживала Клара, как оберегала ее.

В городе наступила зловещая тишина. Только голоса резвившихся на дворах и улицах ребятишек отчетливо слышны были Параше. Прежде этого не было.

Мальчишки играли в войну. «Рыцари» с ожесточением били «москвитов»; плевали в них.

Параша вспомнила, что теперь вербная неделя, скоро будет пасха! Она подолгу молилась. Во всех молитвах одно и то же: желанно поскорей вернуться опять на родину.

И вот однажды во время ее молитвы вдруг прогремел гром, стены дома содрогнулись, на улице послышался крик. Не успела подбежать к окну, как прогремел новый удар, еще более грозный.

Раздался стук на лестнице. Пастор торопливо спустился вниз из своей башни.

Через площадку бежали мужчины и женщины с детьми. Лица их были полны ужаса.

Дверь распахнулась; на пороге Клара.

— Слышишь!.. Из пушки! Ваши! — проговорила она задыхающимся голосом.

Параша набожно перекрестилась.

— Заступись за меня!.. — тихо сказала старая Клара, взяв руку Парашы. — Но они могут до той поры убить и тебя! Пушка не разбирает! Мне себя не жаль!.. О себе я не думаю.

Клара умоляюще смотрела на девушку.

Богатые люди в повозках и верхами в страхе побежали из города в глубь страны, бросив все на произвол судьбы.

Здоровье Андрейки быстро поправлялось. Пятого апреля он уже стал около своих пушек. От царя пришел приказ взять Нарву. С особым удовольствием вкладывал он в ору-

дия зажигательные ядра, густо обмазанные горючей жидкостью. Однако подошедший к нему сотник велел заменить зажигательные ядра каменными. Воевода пока не велел стрелять отнем. «Мы на хотим карать их — хотим образумить» — вот его слова.

Перепись следующей ночью в челноке через реку Парову в лагерь русских, пятеро эстонцев рассказали, что при первых же выстрелах русских пушек в Нарве произошел мятеж. Черный люд поднялся против рыцарей. Восставшие требовали присоединения Нарвы к Московскому государству. На сторону их перешли и некоторые знатные горожане. Ратманы — Иоаким Крумгаузен и Арихт фон-Дежен — тоже склоняли горожан перейти под власть русского государя.

Рыцари обвинили Крумгаузена и фон-Дедена в измене. Они кричали повсюду на площадях и в замке, что оба ратмана подкуплены царем Иваном. Будто они получили от царя грамоты на свободную торговлю по всей Руси, и теперь надеются на еще большую выгоду и милости. Грозят обоих убить.

Вожак простого народа кричал в ответ:

— А мы что получили от царя?! Какие выгоды?! Видим мы, как живут русские. Мы хотим правды, мира!

Эсты передали воеводам Куракину и Бутурлину желание оставшихся в Нарве эстов перейти на сторону русских.

Вот когда Андрейка понял, почему не следует грешить Нарву отнем. Вот когда он уразумел и присланный из Москвы царский приказ о том, чтобы стрелять «только по Ругодиву, и ливонские села и деревни не воевать. Ругодив нарушил мир, так один Ругодив и должен отвечать». Царь Иван не хочет торопиться, ждет: не образумятся ли рыцари?

Опять нижегородские землянки собрались вместе, поселились в одном шалаше: Андрейка, Герасим и Мелентий.

Вечером восьмого апреля, после долгой и злой стрельбы из пушек все трое собрались у костра. Варили уху в котелке. Позвали в гости эстов, кое-как объяснявшихся по-русски.

— Да... — сказал Мелентий Андрейке, — хватил ты спелой ягоды куманики!.. Как жив только остался!

— Молится кто-то за него... — подмигнул со значением Герасим.

— Одним словом, лежи на боку, да гляди за реку! — усмехнулся Андрейка. — А я ушел развесил... не к месту. Вот и все! Обождите, и мы дадим немцам под дуламы, да под мизинки!.. Свое возьмем!

Эсты засмеялись.

— Хорошие люди и там есть,—показал на них Герасим.— А ты огнем хотел палить без разбору... Чай, и зазноба моя там.\* Не буянь, гляди, со своими пушками... Поостерегись!

— Ты больной все бредил о какой-то громадной пушке...— сказал Мелентий.

— Мысль у меня такая есть,— сконфуженно улыбнулся Андрейка.— Ладно! Ждем-пождем, что-нибудь да и выйдет.

— И Охимушку поминал...— лукаво подмигнул Герасим.

— Ладно болтать! — отмахнулся Андрейка.— Ты уж помалкивай!.. У Охимы жених есть.

Уха поспела. Мелентий вылил ее в большую деревянную чашу. Нарезал хлеба. Парни усердно принялись за еду.

Наступила звездная, весенняя ночь. Из окон монастыря доносилось пенье инок. Дышалось легко, мысли были бодрые, веселые.

Андрейка испытывал особую радость от того, что снова здоров и сидит опять со своими друзьями.

— Не возьму я в толк,— сказал он,— почему льщари на свете живут? Зачем они?

— Бога чтоб обманывать,— произнес один из эстов.— Думать о себе высоко-высоко!..— он поднял руку выше головы.— На самой верхушке, выше всех людей, где Христос... а сами — низко-низко, где ползает жаба...

— М-да, это не по-нашему,— вздохнул Герасим.— Вот наш родной, город Нижним прозывается, а стоит на горе. Смиренным бог помогает.

— Льщари не живучи. Все ветром они просвистаны. Норов соколий, а походка воронья. Надуются и лопнут.

— Простачков они вперед суют... На стене притались за наших пленников. Уж што это за воины! — отставляя в сторону пустую чашу, пожал плечами Мелентий.

— Они поровят сунуть других за себя воевать,— сказал все тот же эст, доходя уху.— И в железо вечно прячутся... Своей крови боятся, на чужую не нарадуются.

— Стало быть, кони чужие, только конут свой. Домовито, нечего сказать,— усмехнулся Андрейка.

— Наш брат все требует от себя, а они, видать, все требуют от других...— Герасим насмешливо причмокнул.— Не выйдет дело-то! Все можно требовать от других, токмо не этого... Тут своей воротяхжкой работать надо.

— И-их, и каких только людей на свете нет! — вздохнул Мелентий.— Вот только не встречал я таких, чтоб кого-либо за себя есть просили... Всякая тварь поровит, чтоб в свой рот, а не в чужой...

— Зато бывает так — в свой получше, а

в чужой похуже. Я на мед послов пошлю, а на мед сам пойду. Бывает!

Все охотно с этим согласились.

— Есть, есть такие-то и среди нашего брата...— презрительно сплюнул в сторону Герасим.

— Таких кистенем крестить, что только себе...— сказал, сдвинув брови, появившийся Кречет,— это самые последние твари! Дармоды! Чужеяды!

Андрейка хмуро посмотрел в его сторону, ибо давно уж приметил, что именно он, Кречет, все поровит только для себя урвать: «Уж кто бы говорил, только бы не ты!»

Разговор затянулся до полуночи.

Огонь в костре угасал. В безветренном воздухе синими струйками шедший дымок от тлеющих углей. Помолвившись, ратники легли спать. Устроили на ночлег и эстов.

## XI

В русском войске вошло в обыкновение,— выйдя из шатра, после сна, смотреть в сторону Нарвы. В это солнечное весеннее утро страстной субботы ратники увидели множество людей, открыто стоявших на стенах крепости и размахивавших белыми знаменами.

Вслед за тем и на ивангородских колокольнях заколыхались такие же длинные белые полотнища.

Герасим и Андрейка рты разинули от удивления. Старый воин, управлявший коня, молвил сурово:

— Мира просят,— и добавил,— уж не впервые!.. Да как им верить! Согласья нет у них. Кабы я был воеводою, силою взял бы мир. Тпру! И-но!

Старый воин вскочил на коня, переkreстился, и тихой поступью поехал к воеводскому двору.

Андрейка и Герасим переглянулись.

— Ужели мир?!

— Буды тут! Круто взяли! Не выпрямишь!..

— И я тож думаю. Попусту, что ль, мы их земли с парядом объехали. Царь не ради забавы наготовил огненных орехов!

— Глянь, глянь, Андрейка! Через реку-то лодка с их стороны плывет... Люди, гляди! И все машут, машут... Чьи такие?!

Парни отбежали от шалаша, приблизившись к берегу. В лодке пятеро: четверо мужчин, одна женщина. В руке у нее шест, а на нем белое полотнище с крестом.

— Ого! Здорово! — весело вскрикнул Герасим и помчался по отлогому берегу вниз, туда, где должна была причалить лодка.

Со всех сторон из крепости по берегу бежали люди.

Окруженные сотниками, у крепостных ворот появились Куракин и Басмапов. Они стали дожидаться нарвских послов у ворот. Высокий, в дорогой серебряной кольчуге и красных сафьяновых сапогах, важный, сановитый, хмуро взглянул Куракин на послов.

Они назвались: Иоахим Крумгаузен и Арндт фон-Дедеи.

Провожатыми их были два простых горожанина: купец Бертольд Вестерман, с ним девушка — его дочь Генриетта; другой — купец Вейсман.

Крумгаузен сказал:

— Бьем челом от имени всего города, чтоб государь нас пожаловал! Пусть государь возьмет нас на свое имя! Мы не стоим за нашего фогта. Он стрелял — мы не могли его унять. Он воровал на свою голову. Мы отстаем от майстера и всей левонской земли. Мы хотим ехать к государю. Купец Вейсман останется заложником.

Андрей и Герасим находились в толпе ратников, около воевод и послов.

— Добро, Яким, добро, Захар! — сказал Куракин, знавший ратманов и раньше, по Москве. — Обсудите в воеводской избе, дело не простое — обсудим сообща, как тому быть надлежит.

Куракин приказал проводить немцев в воеводскую избу. Вестерману с дочерью воевода разрешил поместиться в доме наместника. Поставил около них стражу.

В пасхальную ночь буйно трезвонили колокола; народ толпами бродил по площади и по улицам; шопот, улыбки... Весенний воздух, гордость могуществом родного государства, поднимали в людях бодрое, полное веры в победу настроение.

Никто не опасался теперь спокойно ходить на воле.

Воеводы строго-настрого запретили хмельное, а поны — греховное. Но как не согрешить? Бонь о четырех ногах да и тот спотыкается. И почему-то в святую ночь будто сам воздух наполнен соблазнами, да и девушки смотрят не как всегда. Иной раз кровь в голову ударяет от их ласкового взгляда. Хочется смеяться, хочется счастья! Близилось, сама земля дымит греховной, плотской радостью. Война — войной, а любовь...

Церкви всех вместить не могут — не зарно провести время под колокольный звон в вишневых садах на берегу. А эта самая немка, Генриетта, не девка, а небесное какое-то явление. Ресницы ее бархату подобны... Тонка и пуглива, как козочка. А глаза?! Андрейка стал подбивать Герасима пойти к дому наместника, посмотреть, — может, она не спит, и они ее увидят. Герасим расхохотался.

— Еще ребро у тебя не поджило, а уж ты...

— Мне што!.. — развел руками Андрей. — Я так... Ради тебя... Мне теперь не до этого.

И хотя Герасим ему не поверил, решил идти.

Пробравшись длинной березовой аллеей к дому наместника, парни стали прогуливаться вокруг дома, тайком заглядывая в окна, — темно!

— Спят, — прошептал Герасим.

Андрейка сочувственно вздохнул:

— С дороги, устала...

Робко присели на ступеньку лестницы. Все смешалось: отдаленное пасхальное пенье, гул толпы, бродившей по площади, ржанье сторожевых коней, неумолчный рев водопада. Вода за ночь в реке прибыла. Сквозь деревья виднелся блеск волнистой поверхности, а там, дальше, городские стены Нарвы и сам Вышгород, — громадное каменное чудовище. Его башни кажутся рогами.

Шорохи расплзающейся по прошлогоднему валежищу воды волновали, словно кто-то напештывал на ухо.

— Да... — вздохнул Андрей. — Дела не видать.

Но только хотели они уходить, дверь дома отворилась, и женский голос спросил:

— Скажите, добрые люди, зачем сторожите нас?

Она! Что ответить?!

Герасим произнес равнодушным голосом:

— Отдохнуть малость сели. Да вот и Нарву смотрим. Уж больно быстра, бурлива... И что за река такая?! Беды!

— Шумит дуже... — подтвердил Андрей. — А ты сама-то чья будешь?

— Родилась я в Москве! Там бывала я...

— Немчина дите, а родилась в Москве! Чудно!

— Мой батюшка и матушка жили там. Милостию великого князя... и я жила там.

— На нашу сторону, стало быть, перешла?

— Я и в Нарве была ваша сторона... Русский царь возьмет Нарву — будет хорошо. Пленники там ваши есть... Одну русскую мы хотели к вам взять. Фогт в замок ее запер... Парраша — хорошая девушка... Ваша, русская. Герасим онемел. «Парраша!» — дыхание остановилось.

— Колленбах — злой человек!.. Его надо убить!.. — сердитым голосом продолжала девушка.

— Парраша! — собравшись с силами, прошептал Герасим.

— Я-я! Парраша... Парраша!.. Хорошая!.. Красивая... Дочь казака... казака... Нет, стрелица...

Герасим, овладев собой, стал расспрашивать Генриетту. Андрейка, ничего не слыхавший от Герасима об этой Параше, диву давался любопытству Герасима, вопросительно заглядывая в лицо товарищу. Генриетта подробно рассказала все, что знала о пленной девушке. Когда начался бунт, рыцари схватили Парашу и увезли в замок. Они хотят отправить ее в Тольбург к господину Колленбаху. Этот человек — вельможа, богат. Рыцари у него в большом долгу. Они стараются ему услужить. Они знают, что господин Колленбах хочет ее сделать своей наложницей.

Герасим и Андрейка низко поклонились Генриетте, поблагодарили ее за беседу и нехотя, мешкотно поплелись к себе в шалаш.

В ночной тишине весело перекликались колокола. Герасим хмуро рассказал товарищу о своей невесте.

Воеводы согласились на отъезд в Москву нарвских послов. Они знали, в какой милости у царя немецкий купец Крумгаузен. Знали и то, что Иоахим известен своею честностью, полезно для Москвы торговлею. Однако для надзора послали с немцами двух дьяков.

Послы уехали в Москву в самую распутицу. Воеводы советовали им обождать, но Крумгаузен говорил, что «надо ковать железо, пока горячо». Воеводы выдали им «опасную грамоту».

Стрельба по Нарве прекратилась, хотя и Куракин и Басманов все еще не доверяли нарвским властям, зная коварство немцев.

«Охочие люди»<sup>1</sup> — эсты, латыши и финны — рассказывали, что партия Крумгаузена, — «московская сторона», — вначале, было, одержала победу в ландтаге, потом рыцари ее снова отеснили.

Куракин, Басманов и прочие воеводы хорошо знали, что творилось в Нарве. У Куракина были верные люди там, обо всем ему доносившие. Однажды ему стало известно, что немецкие власти тайно послали просить помощи к Готтардту Кетлеру, коадютору гермейстера, феллинскому командору. Куракин узнал даже и то, что Кетлер дал приказание собирать гаррийских и вярландских помещиков, чтобы поспешить Нарве на помощь.

Куракин зорью, с большим вниманием, следил за каждым шагом немецких правителей Нарвы.

Рижским и ревальским кнехтам пробраться незаметно не удалось. Их подстергали посланные Куракиным под видом нищих лазутчики, в числе которых был и Герасим.

Они близко видели прибывших в Нарву тысячу конных и семьсот пеших латников, хорошо вооруженных, с ног до головы прикрытых железом.

Кнехты, конные и пешие, вошли в город тридцатого апреля.

Лазутчики также донесли и о том, что в нескольких верстах от Нарвы, в оврагах и в лесу, расположился с войском только что прибывший ревальский командор фон-Зеегафен с гаррийским и вярландским рыцарством. Сюда же приехал со своею свитою помощник гермейстера Кетлера.

Московские воеводы поняли, что Нарва обманывает их; но обыкновенно, немцы готовятся нарушить свое слово. Однако воеводы старались не показывать вида ливонским властям, что им все известно. Они отправили в Нарву своих людей объявить населению царскую милость и обещание ограждать их от мести со стороны ливонского магистра. В ответ на это нарвские власти выслали своего нового ратмана, а с ним четырех горожан.

Ратман заявил воеводам:

— Мы не посылали к вам тех, кто поехал к царю. Это ваша ошибка, а их самовольство. Мы никогда не хотели и теперь не хотим отложиться от Ливонии. Власть магистра — единственная законная для нас власть.

Им ответили:

— Тогда вы останьтесь у нас, подождите возвращения от царя тех, прежних ваших послов, с ними и поговорите. Яким и Захар скоро приедут из Москвы и покажут вам договор.

Послы не соглашались на это — ушли обратно в Нарву. Воеводы отпустили их с честью.

— Коли так, господи благослови!.. — сказал с хмурой улыбкой Куракин, даже рукава засучил. — Возьмемся за дубину. Не к лицу русским людям терпеть обиды от стада свиней.

За реку был переброшен небольшой отряд — сторожа под началом Герасима. Хотелось прозерить: нападут на него командоры или нет. Другой отряд ратников был спрятан в засаде.

Зеегафен, увидев русских, тотчас же погнал своих латников против немногочисленной сторожи, которая и отступила к берегу. Тут выскочила засада. Произошла схватка. Обе стороны потеряли несколько человек убитыми и пленными.

Пленные кнехты, приведенные в Иван-город, были равнодушны к неудачам Ливонии. Они сказали:

— Ругодивцы изменили вашему государю. Они появлялись не сдаваться вашему царю и

<sup>1</sup> Добровольцы.

великому государю. А ревальский командор и вовсе не хочет защищать Нарву. Третьего мая он уведет свое войско. Отпустите и нас! Мы тоже уйдем с ним. Хотим вернуться к себе, на родину, в Баварию.

Их обезоружили и отпустили, но только не в Ревель, а на юг, к Пскову. Никто никогда в русском войске не верил ландскнехтам, зная их продажность. Русскому воину было непонятно, как можно торговать собой.

Нарва всерьез готовилась к боям с русским войском. От своих обещаний, от своих послгов, от всякой мысли о присоединении к России нарвское рыцарство наотрез отъезжало.

Всех, находившихся в Нарве русских загнали в казематы, стали подвергать страшным пыткам: выкалывали глаза, отрезали языки. Перевели в башню и пленницу Колленбаха, заковав в цепи.

В городе творилось неладное. Большая часть жителей торопилась спрятаться в замок. Туда шускали с разбором. У ворот дежурило много ландскнехтов. На проход и проезд в замок требовалось разрешение лового фогта.

Черный народ продолжал неготовать. Происходило много столкновений между кнехтами и городекими жителями.

Так прошел беспокойный день десятого мая.

Вечером страшно было ходить по улицам. Воры и разбойники подстерегали прохожих, грабили, убивали.

Ночью Параша, глядевшая из решетчатого окошечка своей темницы в сторону Ивангорода, вдруг увидела внизу, в Нарве, вырвавшийся из одного дома столб огня. Сначала она подумала, что это сжигают мусор; это нередко делали в Нарве. Но потом, когда огонь разросся в громадное пламя, перебрислся на ряд строений, Параша поняла, что начинается пожар. Набежали люди с баграми, с кадушками; их освещало быстро растущее пламя. Ветер рвал огонь в ключки, перебрасывал с одного дома на другой — глазу трудно было уследить за быстрым распространением огня. Теперь уже пламя полыхало в разных концах города.

Толпы народа с пожитками, с детьми бросились к замку. Ворота под натиском толпы распахнулись. Раздался крик, вой, шум в замке. Выскочили сторожа с копьями. Они преградили жителям дорогу в замок. Те, не имея сил справиться с вооруженными, разъяренными кнехтами, смиренно приютились во рву, под стенами замка.

К ночи весь город был объят пламенем.

Огненный шквал метался по улицам, зажигая все, что способно было гореть. Параша видела белавшую по площади перед замком собаку; все дороги ей были преграждены огнем. Сквозь огонь она бросилась к замку, но тут ее заколол копьем караульный у ворот. Видны были освещенные пожарником хохочущие лица немцев — кнехтов.

На девушку напал ужас. Она стала изо всех сил барабашить в железные двери — на стук никто не отвечал.

Герасим, купавший в реке коней, увидел в Нарве огонь. Быстро оделся, собрал поводыя у коней, вскочил на одного из них и помчался вверх по берегу в крепость. Думал известить о том воевод, но когда въехал на площадь, то увидел большую толпу, смотревшую в сторону Нарвы.

Андрейка встретил товарища радостным восклицанием:

— Пошла потеха из винного меха! Гляди! Допировались!

— Не миновать и пушкам шировать! — засмеялся Герасим, соскакивая с лошади, торжественно повел он коней в сарай, ухмыльнулся: «Обождите, расплатитесь вы у меня за Парашу!» Но, поставив коней на место, он вдруг задумался. Огонь не разбирает. Избави бог, Параша... В голове помутилось от страха и жалости.

На площади — столпотворение! В толпе посадских зевал сповали ратники с копьями. На них кричали сотские и десятские; торжественно трубил сбор. Герасим увидел выехавших на конях из ворот монастыря всех воевод. Тут был и Буракин с Бугурлиным, и Данила Адашев, и Алексей Басманов, и другие воеводы.

Войско готовилось к бою. Андрейка убежал к своему наряду. Пушкари шумели поодаль на пригорке, спускали на канатах пушки под гору. Часть пушек готовили переправить на плотах на нарвский берег.

Нарва полыхала. В густоте дыма и огненной бури то скрывался, то вновь появлялся темный каменный замок, впиваясь в Ивангород черными зловещими глазами башенных амбразур.

Посадские женщины Ивангорода плакали, глядя на пожар. Монахи расхрабрились, нацелили на себя сабли; «латинскую ересь» собралась истреблять.

Генриетта, прижавшись к отцу, печальными глазами смотрела вдаль, на пожар: «Стопит все наше добро там!»

Андрейка возился около своих пушек. Ратники вместе с ним перетаскивали волкошей-



ки на бугор, повыше откоса. Отсюда было удобнее всего стрелять по городу.

Выезу, на реке,—суета сует! Толкая друг друга, ратники с бовым азартом бросались в лодки, иные вплавав на досках, иные на снятых с петель воротах, а кто и вовсе поплыл через реку, как был, в одежде. Татарские всадники пустились вплавав на конях.

К Андрею подъехал Басманов, приказал ему открыть огонь.

Андрейке помогал Мелентий. Большого труда стоило установить пушку так, чтоб ядро, перелетев через реку, попало в пригород.

— Надо, чтоб стреляние с сего бугра было возвышенное, дугой. Боли мы так дуло опустим, то в ядре тягости боле будет,—растолковывал он Мелентию.— По причине тягости той, ядро на бегу не долетит, утонет в реке... Приметливое ядро верхнего воздуха ищет. Дух у ядра сильнее, коли наверху. Ставь так, ставь! Гоже! К сильнейшему удару удобно... Засыпай порох! Клади поболее! Первое ядро изгоним, гляди, вон в то место; видишь? Где огня нет.

Андрей поднес фитиль, запалил...

Взметнулось яркое пламя. Со свистом и воем тяжело полетело каменное ядро в город. Андрей согнулся, сложил ладонь трубочкой и стал присматриваться, куда упадет ядро. Вокруг пушки распылялись клубы дыма, пахло селитрой.

— Отчего у нас ядро свищет? Отвечай! — с хитрой улыбкой спросил Андрей.

Мелентий не знал, что ответить.

— Оттого, братец мой, что сильный воздух и ветер. Ядерному бегу он противится; при многом стрелянии воздух разбалтывается, не таков густ будет... В те поры не станет ядра свищущего, но тихо оно полетит и прилежее на ядро смотреть. Ну, клади ядро огненно!.. Проворь!

Мелентий вложил огненное ядро.

Андрейка поглядел пушку.

— Остыла. Дорогая моя! Послужи нам честью! Ну, Мелентий! Валяй, сыпь порох! Еще прибавь. Подтяни рыло у пушки на два пальца... Буде!

Опять выстрел. Теперь по рву близ замка.

— Повтори-ка вдругерядь сам, один, а я пальну из той сиротинушки... Пали каменным ядром, а я огненным...

Вышел приказ о прекращении стреляния. Пушкарки весело засуетились и на стенах и на буграх Иван-города. Наряд, растянувшийся цепью вдоль берега, поднял такую пальбу, что даже церковный благовест заглушил. Земля дрожала от грохота выстрелов; голосов расслышать было невозможно.

В день металы до трехсот медных, камен-

ных и огненных ядер, иные весом в пятьдесят фунтов.

Обозники привезли из пушкарского сарая кадучку с человеческой мочей. Андрей помогил прибитую к шесту тряпку в кадучке и смазал ею отдыхавшие орудия, как в дуле, так и сваружи, чтоб охладить бронзу. Такое охлаждение, как объяснил Андрей завешшим молодым ратникам, наилучшее, делающее пушку безопасной.

Перебравшиеся на ту сторону реки ратники дружно, плечом к плечу, навалились толпою на городские железные ворота, и, продавив их, с гиканьем ринулись в город, сметая на бегу опетившихся копытами немцев.

Впереди всех бежал без шапки с обнаженным мечом Василий Грязной. Громким, боевым криком он подбадривал своих ратников. Сбитые с ног кнехты падали на землю, прося пощады; Грязной рубил немцев направо и налево. Рассвирепевшие воины разбили их наголову, а затем побежали дальше, туда, где еще не успел распространиться огонь. Герасим был недалеко от Грязного. Стрелы и пули свистели вокруг них.

Из бойниц замка началась непрерывная пальба по Иван-городу.

Переправились на пароме в Нарву и воеводы Адашев и Басманов. Они тотчас же послали в Иван-город гонцов, чтобы Куракин отрядил десяток «наипаче смысленных» пушкарей стрелять по замку из пушек, оставленных немцами на городских стенах Нарвы.

Андрей был послан в числе этих десяти.

С шутками и прибаутками они перешли в лодке Нарову. Адашев и Басманов расставили их у орудий.

Андрею досталась невиданная им ранее пушка из красной меди. Громадная «сидячая» пушка, а ядра в сорок восемь фунтов.

Подоседший к нему Басманов спросил:

— Справилсь ли?! Разумеешь ли?!

— П толстота, и длина пристойные, и работа добрая...—с восхищением осматривая орудие, говорил Андрей.— Испытаю с божьей помощью...

— То-то! Не посрами Москву. Наградим. Как шровашьем?

— Андрейко Чохов...

— Ну, ну, послужи царю-батюшке!..

Андрей протер дуло, вложил ядро, засыпал десять фунтов пыщального пороха, помолился богу, чтоб не разорвало. А вдруг эту меру не выдержит? Однако долго раздумывать не приходилось. Быстро зажог фитиль и приложил его к запальной дыре.

От сильного толчка дотронули камни под ногами; густые клубы дыма поплыли над рекой. Что-то горячее ожгло лицо. Пушкарь

затрясся; еле-еле устоял на ногах: «Вот-те и на! Что такое?! Много пороха засыпал — великое насилие пушка претерпела». Андрей вспомнил, что пушки чаще всего разрывает в высоких выстрелах. Он немного снизил дуло.

После первого выстрела тщательно обтер ее. Со всех сторон еще раз осмотрел: «Не дай бог, пропадет такая красавица!» Немного подождав, пока пушка остынет, ласково погладили ее, зарядил по-новому — вложил поменьше пороха. Выстрел получился чище.

Сквозь дым и огни пожарниц он ясно увидел, как от его ядра посыпались кирпичи из стены замка. Сердце возрадовалось у парня.

В Парве темные, закопченные люди тушили пожар, ратники копытами раскидывали по земле горящие бревна и доски. Им помогали жители Нарвы.

Замок, со всех сторон окруженный пожарами, с диким, отчаянным ревом вылезывал из бойниц огонь и железо. Громадные ворота его, украшенные бронзовыми цитами, казались неприступными; мост через ров был поднят.

Тучи стрел золотистыми змейками мелькали в огне пожарница, осылая Иван-город. Одна стрела слегка задела Андреюку.

Иногда вылетали ядра с вершины крепостной башни «Длинного Германа».

В свирепом реве огненной стихии слышались человеческие вопли, вой пров, резкие стоны рожков.

Андрей снова зарядил пушку, направив теперь дуло орудия на железные ворота замка, оболоч которых толпились с самоналами лацкекнхты... Андрей, казалась, сам елился с медью пушки, застыл, затаив ыханье... «Матушка, выручай!» Вот... вот... «Господи благослови!» Закадил фитиль...

Страшный грохот потряс воздух — ядро пробило ворота; немцы полетели в ров; туча пыли и дыма расплывалась вокруг замка...

Андрей, красный, взволнованный, сиял от счастья: к воротам, перебрасывая через ров бревна и доски, устремились русские, завязался бой, жестокий, упорный.

## ХII

Земля жгла ноги. Дышать становилось невозможно. Огонь ревел, метался под порывами ветра. Около головы взвизгивали стралы, так и жди — ужалят!

— Пыль! Несветяимо пыль! Ух! — невольно воскликнул Герасим, когда толпа ратников, предводимая Грязным, очутилась среди огня, спасая обывательское добро и товары на площадях и в нетронутых пожаром амбарах.

Полотно, бочки с воском и жиром, груды железа сваливались кучами в огородах и садах.

Отсюда ратники, не страшась вражеских стрел, спосили добычу на берег.

Роясь в посадском добре, Герасим и Кречет подшучивали друг над другом. Герасим нашел среди рухляди какую-то шляпу с косматым пером и подарил Кречету. Тот надел ее вместо шлема и стал похож на «домового». А Васятка подарил Герасиму слитое из олова чудовище с длинным носом, закрученным трубою в кольцо, и двумя рогами там, где должен быть рот. Толстое, большое чудовище на четырех ногах. Герасим решил, что это ливонский бог, и сначала плюнул в него, а потом бросил в огонь.

Татарские наездники спешили и, грузно переваливаясь в своих мягких салогах, таскали на спинах седла, конскую сбрую; попадая под обстрел, ползком подбирались к берегу, где ожидали их кони и товарищи в челноках.

Герасиму и Кречет стали искать убежища от огня. Зипуны их так нагрелись, того и гляди, вспыхнут. Иван-город осыпал Нарву каменными ядрами, которые шлепались в пожарнице, поднимая столбы искр.

— Ух, жарко! Родимые! Не захохнуться бы!

— Терпи, голова, воеводой будешь!..

— Хушь бы до того чортушки добраться!..

Герасим указал рукой на большой каменный дом с башнями.

По земле ползали синие огоньки, кусали ноги. Едкий дым исходил из тлеющих лоскутьев одежды, белья, разметанных в огне копытами и ветром. Перепрыгивая через горящие балки, ратники добрались до этого дома. Вбежали в распахнутую настежь дверь, поднялись по лестнице. Испуганная кошка ткнулась прямо в ноги, струхнул Герасим: думал — оборотень! Ругнулся перекрестился. В окнах отсвет пожарница; в комнатах, как дном. Наверху, в большом покое, нашли спрятавшуюся в угол какую-то женщину; стоит, дрожит, лепечет, непонятное... Кречет шепнул Герасиму: «Давай пытать?» И, обратившись к пленнице, усмехнулся: «У, ты, ягодка!» Герасим вспомнил о Параше, ему стало противно слушать прибаутки Кречета. Он пошел врозь. Позади послышался женский визг. Крикнул Герасим со злом: «Васятка!» Никто не ответил. Герасим плюнул, выбил окно, стал смотреть в сторону замка и увидел там, среди огня у разбитых ворот человека с развеваемой ветром белою хоругвью.

На приведенье ли?! «Чур-чур меня!» Что за чудо?

В замке переполах.

Из Иван-города смело пришел «изменник-паребежчик» Бертольд Вестерман. Окружившей его, возмущенной его появлением толпе рыцарей, он сказал:

— Меня послали русские воеводы. Они предлагают вам сдать замок и обещают выпустить фогта с его слугами и лошадьми и всех ландскнехтов с их женами, с детьми и с имуществом; а кто пожелает остаться на своих местах, тому царь обещает построить из своей казны дома лучше тех, что у них сгорели.

Рыцари ответили:

— Не бывать этому! Воеводы поступают несправедливо. Перемирие заключено и послы наши в Москве, а они напали на нас, пользуясь случившеюся с нами бедою. Как мог ты перелазить на сторону царя? Разве ты не немец?

Вестерман ушел из замка. Перед ним снова спустили уцелевший мост через ров. Благополучно возвратился он в Иван-город.

Генриетта сидела на берегу и, дрожа от страха, поджидала отца. Вместе с ним она пошла к воеводам. Куракин обнял и поцеловал Вестермана:

— Спасибо, друже! Хотя ты и немец, а хороший человек. Царь одарит тебя за верность. Однако иди снова к немцам... Чего они там юлят, как гостья Федосья! Скажи им, — бог покарал их, а не мы, за их грехи. Пусть каи принимают, пока им дают помилованье, а то, коли не примут теперь, то в другое время оно им не дастся.

Генриетта залилась горячими слезами, вцепилась в отца, не пускает. Вестерман хмурился, закусил губу.

— Коль боишься, так не ходи, иного пошлем... — сказал Куракин. — Есть у нас нарвские немцы, что заодно с нами.

Вестерман, освободившись от объятий дочери, хмуρο покачал головой:

— Не было случая, чтоб Бертольд Вестерман чего-либо боялся... Напрасно так говорить, воевода... Пойду я.

Он тихо сказал Генриетте что-то по-немецки. Она вытерла слезы, пошла провожать его до лодки.

Над Нарвою расплзлось великое зарево. Казалось, само небо горит. Ветер приносил с того берега зной, удущивый запах гари и рев огня.

Туда, в этот ад, надев кольчугу и железный шлем, смело, с достоинством, снова отправился Бертольд Вестерман. Ратники, следя за ним, удивлялись:

— Вот так храбрец! Смело правды добивается.

Через голову Вестермана летели ядра и стрелы как с той, так и с другой стороны.

Но ни Бертольд, ни его дочь не замечали этого. Генриетта помогла отцу сесть в лодку. Гребцами были бородатые даточные люди. Они успокаивали плакавшую на берегу дочь Вестермана.

— Ладно, девка, ничего!.. Бог не выдаст, свинья не съест. Стреле места хватит и без нас. Гляди, что простору!

Перешливая через реку, Вестерман почувствовал, как по его плему скользнула стрела. Немец настойчиво преодолевал все препятствия по пути к замку. Опять поднял хоругвь. Заскрипели цепи; мост медленно опустился; в пролете ворот его с нетерпением ожидала толпа рыцарей и горожан.

Вестерман в точности передал все сказанное воеводой.

Молча выслушали его рыцари. Вестерман не заметил в них прежней заносчивости. Бомандор обороны замка и нарвский предикант<sup>1</sup> Зунен вежливо попросили передать воеводе, что им нужно время до утра, подумать.

Вдруг вбежала стража, спустившаяся с «Длинного Германа», и крикнула:

— Наши рыцари идут!

Переговоры с Вестерманом были тут же прерваны. Радостно оживился замок. Вслед Вестерману раздались крики: «Изменник! Смерть тебе! Будь проклят!»

С холодной улыбкой он выслушал оскорбления.

Опять вернулся он в Иван-город. Генриетта крепко обняла отца:

— Теперь уж я тебя никуда не пущу! Если тебя убьют, что буду я делать?! Матери у меня нет, ты один у меня остался.

Причитанья дочери больно было слушать Бертольду. Он сказал:

— Наш кровожадный фогт губит немцев. Бертольд Вестерман на полдороге не останавливается. Если мне придется идти в замок еще и еще раз — я пойду. Горожан надо спасти от тибели. Они наши с тобой братья.

Генриетта знала, что это так, что это — правда.

Воеводы и слышать не хотели об отсрочке. Они тотчас же приказали пушкарям и пищальникам усилить огонь по Нарве. Грохот и свист поднялись с еще более страшной силой. Пороховой дым застилал окрестности густыми низкими облаками.

Гневное лицо Куракина стало страшным. Глаза свирепо блестели; седые брови сдвинулись, рука судорожно сжимала рукоять меча.

— Ступай, храбрый Бертольд, — сказал он окрикнувшим от ярости голосом, — уведошь в последний раз ливонских мухоморов, — мы не

<sup>1</sup> Глава нарвского духовенства.

дадим им ни единой минуты роздыха; пускай не ждут, когда мы подождем под себя их замок. Горе тогда будет твоим немцам! Скажи и посадским в замке, чтоб не надеялись на рыцарей... Между ними и нарвскими горожанами русская сила стоит... Никакие защитники к ним не подойдут на помощь, а то, что сторожа увидели с «Длинного Германа», объяви им: это наши московские воины... идут нам впрок. Рыцарям мало будет пользы от того.

Ни слезы, ни мольбы дочери не могли помешать Вестерману снова переправиться через реку и снова под огнем обох противников пробраться к замку.

— Жаль немцев! — бормотал он в страшном волнении.

Повторилось то же, что и в предыдущий раз. Рыцари упрямо твердили:

— Попроси воевод хоть немного дать нам отдыха — мы сейчас придем гоцца. У нас будет совет, — отговаривались рыцари.

Вестерман в третий раз благополучно вернулся в Иван-город. Все воеводы по очереди обняли и облобызали его, пообещав о его подвиге донести царю. Воины принесли ему из монастыря меда и вместе с ним воеводы выпили по чарке вина за его здоровье.

Бертольд сказал:

— Лучшей наградой будет мне, если вы казните нашего безумного фогта и война кончится, и немцы снова начнут заниматься мирною торговлею с Москвою. И я бы хотел съездить в замок и в четвертый раз, чтобы образумить рыцарство. Я не хочу гибели моих братьев, не хочу, чтобы напрасну проливалась немецкая кровь!

Воеводы развели руками от удивления.

— Твоя воля, добрый человек! — сказали они. — Невольно храбреца — грех. Останавливать еще страшнее, но только не образумить тебе рыцарей. Наш меч их образумит.

Генриетта устала уговаривать отца. Она безмолвно проводила его до лодки и, рискуя быть раненой, осталась на берегу ждать.

Осажденные устроили в звездной палате замка совет.

— У нас мало запасов, — раздалось в ответ из призыв Вестермана. — Немного ржаной муки, сала и масла, да бочки три пива. А пороху так мало, что если хорошенько пострелять, через час-другой, так и ничего не останется. Вдобавок в замке теснота от народа, множество бедных горожан укрываются во рву, они отданы на произвол судьбы. Московиты уже овладели городом. Теперь будут добывать замок, а из своей крепости они палат без устали. На орденских братьев надежда плоха. Какая польза будет всему краю, когда мы станем защищать замок? За-

щитить мы его не сможем, а только прошадем все.

Одетый в бархатное платье, юркий брифмаршалок<sup>1</sup> спросил:

— А кто же поручится, что мы останемся целы, если сдадимся? Русские не сдержат обещания и всех нас перебьют.

— Если же наша такая судьба, — что поделаешь?! — вздохнул предикант Зунен. — Помогнися богу! Уж если погибнуть, то лучше погибнуть в поле, чем в замке.

Одна из женщин громко заплакала. Ее вывели. Рыцари погрузились в глубокое раздумье. Пустые залы замка глухо гудели от лущечной палбы.

Фогт, казалось, еще более постарел в эти страшные для Нарвы дни. Сутулясь, перебирая трясущимися от бессильной злобы руками какие-то бумаги на столе, он тихо говорил:

— Забыл нас магистр!.. Забыл!

Кто-то из рыцарей усмехнулся с горечью:

— Зато царь московский нас не забывает.

С башни «Длинный Герман» прибежали в великом ужасе стрельки:

— Погибли! Несчастные! Одну разорвало, другая сбита с лафета!.. Теперь... Теперь... всего шесть пушек!..

Лица стрельков были черны от порохового дыма; одежда изорвана в клочья; руки в крови. Их было четверо, этих усталых, измороженных людей, напуганных разрывом пушки. Один из них, обессилев, упал на скамью.

Предикант Зунен, обратив свой взор вверх, к куполу замка, рыдающим голосом воскликнул:

— Умоляем тебя, господи! Окажи нам новую милость! Мы теперь оплакиваем свое неразумие и страшимся твоей грозы! О, не посеки нас, но пожди еще мало, может быть, наше сердце исправится и принесет тебе добрый плод!

Рыцари поднялись со своих мест с печально наклоненными головами, и, держа обнаженные шпаги крестом рукояти на груди, в глубоком молчании слушали молитву предиканта.

Когда же он кончил, опять все уселись за стол.

Бледные, в полгуизмятых, потускневших от огня латах, они растерянно переглядывались: что делать! Фогт сумрачно вертел в руках маленький кинжал. Рядом с ним предикант Зунен чертил гусиным пером крестики на обрывке пергамента. Бюргемейстер Герман Цу-дер-Мулен закрыл глаза, поглаживая свою остроконечную бородку.

<sup>1</sup> Чиновник по поручениям в орденском управлении.

В открытое окно долетали дикие вопли оставленных за стенами замка обывателей, рев пламени, разрыв огненных ядер, все нарастающий грохот ивангородских пушек.

Пропитанный порохом и гарью воздух ел глаза.

— Спасенья нет!.. — сказал упавшим голосом Зунен.

— Что же делать?! — тихо спросил фогт.

— Покориться!.. — обронил кто-то в углу слово.

— Никогда! — вдруг в бешенстве ударил кулаком по столу фогт.

В это время внизу затрубили горнисты.

Все встрепенулись. Кто-то радостно воскликнул: «Наши!» Побежали к выходу.

Дверь отворилась. На пороге стоял Вестерман.

— Там наши рыцари?! Подкрепление?!

Вестерман поднял руку вверх:

— Стойте! Это не ваши, а русские! Они перебьют всех вас!

Рыцари остолбенели:

— Московиты?!

— Подкрепление воеводам. Я жду ответа.

Фогт, бледный, задыхаясь от волнения, произнес:

— Мы хотим, чтоб нас не побили, если мы сдадимся...

— За это ручалось, — спокойно ответил Вестерман. — Вышлите для переговоров двух рыцарей и двоих бюргеров. Один из воевод выйдет к воротам...

Пошел сам фогт.

Свидание ивангородских парламентаров во главе с Даниилом Адашевым происходило в галлерее колленбаховского дома.

Стрельба из Иван-города не только не прекращалась, но все усиливалась.

— Почему же ваши стреляют? — спросил фогт.

— Иван-город будет стрелять, пока не дадите согласия о сдаче, — ответил Адашев.

На этом свидании договорились:

«...все кнехты выйдут свободно с имуществом и оружием. Пушки должны остаться в замке. Всем жителям дозволяется выйти из замка с семьями беспрепятственно, если хотят, из города, но без имущества. Имущество будет оставлено тем, кои станут бить государю челом. Русские будут провожать вышедших, чтобы своевольные толпы из московского войска на них не напали».

Поздно ночью закончились переговоры.

Данила Адашев приказал принести образ. Монахи через реку в лодке доставили образ. Данила поцеловал его на глазах у фогта и сопровождавших его рыцарей, поклявшись сдержать свое слово. Он сказал, что никого

не пустит из города, пока не выйдут все обитатели замка. Воевода и рыцари обменялись двумя заложниками.

В полночь завыли трубы, забили барабаны, на шпигле «Длинного Германа» взвился белый флаг.

Стрельба прекратилась.

С визгом и ляганием опустился цепной мост, распахнулись ворота замка.

Согнувшись под тяжестью своего скарба, потянулись из замка горожане, беременные женщины, матери с детьми, хозяйки с курами, поросятами, ягнятами, кошками. Некоторые мужчины везли на тележках больных, убогих. На лицах горожан были написаны страх и недоверие. С опаской поглядывали они на стоявших по сторонам московских воинов, которых рыцари изображали перед тем дикими чудовищами, зверями, такими же «злодеями», как и их царь «кровожадный варвар».

Воеводы Адашев и Басманов лично следили за тем, чтобы выходящим из крепости не было учинено никакого худа в нарушение воеводской присяги.

Рыцари тихо выезжали из ворот верхами, отдавая воеводам честь. За ними потянулись возки с их женами и наложницами, с детьми и скарбом.

До самого утра выходили осажденные из замка. Герасим все глаза проглядел, думая: не увидит ли Парашу.

Басманов послал ертоульных осматривать замок. Пошел и Герасим.

Множество дверей, железных и деревянных, под темными каменными сводами. Некоторые на запоре. В то время, когда его товарищи отыскивали оружие и порохи, Герасим обшаривал все уголки замка, стараясь найти Парашу. Он подходил к запертым дверям в длинных темных коридорах, неистово стучал в них, выкрикивая имя Параша, но только гулкое эхо было ему ответом. Пахло мертвечиной. Нападало отчаяние. Неужели и ее убили, а может быть, увезли, и он не заметил этого, стоя у ворот?!

Долго в одиночестве бродил по замку Герасим, бегал по лестницам, поднимался во все башни, вспугивая летучих мышей и крыс. Ратники, забрав с собою все, что можно было унести, давно ушли.

Он устал, измучился, потеряв всякую надежду найти Парашу. В изнеможении сел на скамью в темном подвале и задумался: «Неужели убита или сгубла в огне?»

Слезы подступили к горлу:

«Ахти мне, злосчастие, горе-горинское! Ино лучше мне лишиться житья того одно-

кого! Ино кинулся я в Нарову и утопну в ней!»

И вдруг Герасим услышал где-то поблизости, в подземелье, стон. Вскочил, прислушался и на носках, соблюдая крайнюю тишину, пустился на поиски.

С большим трудом в земляной стене нашел он дощатую дверь. Она не была заперта. Герасим толкнул ее. Дверь с треском распахнулась. В полумраке Герасим увидел лежащую на сеничке женщину.

— Паранька! — крикнул Герасим. — Ты ли?!

Наклонившись, он разглядел бледное, худое лицо старухи.

— Добрый человек!.. Дай воды!.. Вон там кувшин!.. Умираю!..

Герасим подал кувшин. Старуха прильнула к нему и принялась жадно глотать воду. Герасим поддерживал кувшин.

— Спасибо! — тихо молвила она.

— Уж ты не русская ли?

— Русская, батюшка, русская... Ох!

— Да чем ты недужишь?

— Ой, спинушка! Мочи нет. А ты, никак русский?!

— Из Иван-города... воинский человек...

— О ком ты тужишь?

Герасим рассказал старухе про свое горе:

— Да неужли это ты и есть? — удивленно спросила старуха, слегка приподнявшись.

Мутными глазами смотрела она на него и причитывала: «Ой, какое горе!»

— Какое горе? Что ты?! — испуганно схватил ее за руку Герасим.

— Как же на горе?! Вон, видишь, вон

видишь, сеничек. Вот там вчера и она была, а сегодня ее увезли... Завязали рот, связали руки и увезли... А уж как она вскружилась о тебе!

— Про кого ты?! — удивленно спросил Герасим.

— Про шее же, про Парашу... Она мне поведала о своем женихе... Стало быть, ты и есть! А может, другой кто?!

— Я!.. Я! — забормотал Герасим.

Он еще раз переспросил старуху о том, откуда она знает Парашу... Не ошибается ли?

— Помилуй бог! А уж и добра она, и сердечна, таких я девушек и не видывала... Не любить ее не можно! Чудо милое, хоть ты и москвит, но ты не такой, как нынче... Тот ты или не тот, пожалей старуху, не убивай!.. Что могла я, то делала ради нее!.. За это рыцари меня и бросили в подвал. Она поведала бы сама, да вот увезли ее...

— Куда увезли?!

— А бог знает куда! Будто бы в Тольсбург. Господин Колленбах фогтом в Тольсбурге.

— А как ее звали?

— Параша!.. сказала я тебе!.. Ваша она, из Пскова.

Герасим, словно ума лишился. Не помня себя, бросился бежать из замка.

Когда воеводы осмотрели все казематы и тюрьму и увидели там трупы замученных рыцарями русских людей, они глубоко раскаялись в том, что так безнаказанно выпустили из города немецких солдат и правителей города.

Русские войны поклялись отомстить немцам за это.

## Конец второй части

*(Продолжение в следующем номере)*

## Весна

Непрочный снег уже теряет в марте  
Свой цвет,

свою былую белизну.

Земля в неровных пятнах.

Как по карте,

По ней войну изучишь и весну.

А высота еще покрыта белым,

Далеким, незапятнанным снежком.

И «Юнкерс» вьется с ревом ошалелым,

Наступнутый проворным ястребом.

Вокруг —

свинца и пламени скрещенье.

Глухой

разрыв

и взлет земли во мгле,

Но тем острее и глубже опущенье

Земного, материнского тепла.

Все невесомей небо голубое,

Все явственнее лепет горных вод.

Но длится бой, и крепнет голос боя —

Вперед несется краснофлотский взвод.

С дрожащим свистом пролетают мины.

Враги у перелеска залегли.

Сияют горы.

Тень сошла с долины,

И солнце подымается вдали.

Отбит рубеж.

Стихает перестрелка.

Единственное облачко плывет,

А вдалеке, настойчиво и мелко,

Татакает привычный пулемет.

Моряк плащом на землю лег родную,

Он чувствует приморский ветерок.

К родной земле прижался он вплотную,

Винтовку положил на буторок.

И за лопатиной наблюдает зорко,

Не отрывая пальца от курка.

Он глаз не сводит с дальнего пригорка,

А рядом с ним,

на склоне буторка,

Земной весны знакомая примета —

Цветок младенческой голубизны.

Ни свежести подснежника

ни цвета

Не тропило дыхание войны.

Уже давно умолкла канонада.

Подснежник приглянулся моряку,

И, осторожно, руку сняв с приклада,

Он тянется к весеннему цветку.

Он подымает голову с опаской,

И пуля пролетает у виска.

Он хмурит брови под железной каской,

И боль земли ему вдвойне близка.

Он встал.

И по невидимому знаку

За ним встает неутомимый взвод,

И моряки бросаются в атаку,

И две ракеты рвутся в небосвод.

Врагов потнали дальше,

к перелеску.

Освобождая землю от оков.

Весна еще способствовала блеску

Моряцких ослепительных штыков.

Вокруг ручьи, проталины и пятна —

По ним весну изучишь и войну.

Войдем в блиндаж.

Уныло и невнятно

Бормочет враг, очнувшийся в плену.

Он смотрит вверх косым

и тусклым взглядом,

Как жалкий зверь, привыкший

к полумгле.

А рядом трупы.

Восемь трупов рядом.

Они лежат, прижав к чужой земле.

Севастополь

# Чай с пирожками<sup>1</sup>

Детей везли в автомобиле  
В морозный день, под свист пурги,  
Согрели чаем, напоили  
И к чаю дали пироги.

Их усадили очень чинно  
Вокруг овального стола.  
Брестом украшенный мужчина  
Следил за ними из угла.

Болтая под столом ногами,  
Смотрели с трепетом они  
На чай, на блюдо с пирогами  
И на сидящего в тени.

Царил подчеркнутый порядок,  
Уютно было и тепло.  
Пылал камин, и чай был сладок,  
Звенели ложки о стекло.

Чтоб чуда не развеять шумом,  
Ребята, робко шепеча,  
Жевали пироги с изюмом  
Под наблюденьем палача.

Хлебали дети чай из блюда,  
И ждал эсэсовец в углу,

Пока они не задохнутся  
От нищизни, поданной к столу.

Он всматривался долгим взглядом  
Во всех  
И в каждого из них.  
И вдруг,  
Подкошен быстрым ядом,  
Мальчишка вскрикнул и затих.

И вслед за ним второй мальчонк  
Упал с гримасой неживой.  
Его сестренка, вскрикнув тонко,  
На стол склонилась головой.

Четвертый, задыхаясь тяжело,  
Еще тянулся к пирожку,  
А опрокинутая чашка  
Уже лежала на боку...

Их увезли в автомобиле,  
Закат январский был багров,  
Их трупы наскоро свалили  
В глубокий загородный ров.

Зияет в сердце эта яма  
И звонким голосом детей  
Кричит  
и мстить зовет упрямо  
За эти семьдесят смертей.

<sup>1</sup> Описываемый случай произошел в городе Феодосии.

Севастополь



## Карыш

Одна половина холма долго оставалась в тени — седая от раннего заморозка, а рядом — на восточной стороне — уже сверкали на листьях крупные капли, и в лиловом цветке репейника отогревался на солнце красавец-шмель: плюшевый, черно-коричневый.

Тропинка круто подымалась вверх. По тропинке шел мальчик. Дойдя до середины холма, он оглянулся: в низу лежало озеро, просторное и спокойное, как всегда.

Мальчик поднялся еще выше, и тогда стали видны трубы фарфорового завода и брошенные на берегу старые лодки — можно было даже разглядеть черные щели на их днищах. А чуть подалее, налево от завода, блестяли, уходя к северу, рельсы узкоколейки.

Все кругом было спокойно. Даже птицы на холме — в ореховых зарослях — шели по-прежнему как будто и не тудела в тот день земля, вздрагивая от далеких ударов.

Мальчик пошел дальше и вдруг услышал: — Стой!

Из орешника вышел человек с охотничьим ружьем в руках. Мальчик поглядел на него, на ружье и сказал:

— А я вас знаю. Вы — Кузнецов, с нашего завода.

— Ты что тут потерял? — строго спросил Кузнецов.

— Я дядю Васю ищу.

— Это что еще за дядя Вася?

Мальчик улыбнулся.

— Небось, знаете: один у нас дядя Вася.

Кузнецов помолчал, разглядывая мальчика.

— Товарищ Кузнецов, а что вы тут делаете? — спросил тот.

— Смотрю да слушаю.

Мальчик тоже прислушался: земля продолжала тяжело вздыхать от далеких взрывов. Когда взрыв раздался сильнее, птицы замолкли — ненадолго, — а потом опять начали петь.

— Ну-ка, обожди, — сказал Кузнецов, прислонил ружье дулом к кусту орешника и,

сложив у рта ладони, свистнул — три раза подряд. Через некоторое время издалека, из лесу донеслось:

— Ого-то-го-о-о!

Кузнецов опять взялся за ружье.

— Я теперь — арестованный? — с интересом спросил мальчик.

Кузнецов не ответил.

Мальчик начал разглядывать ружье в его руках.

— А что, можно немца застрелить из такого ружья?

На этот раз Кузнецов, хоть и не сразу, ответил:

— Очень просто. Почему не застрелить?

А потом добавил сердито:

— Экой ты речистый. А ну, помолчи, я тут — при деле, со мной не разговаривай!

И они замолчали. По-прежнему пели невидимые за листвою птицы, и далеким гулом гудела земля.

Хрустнули сучья, — к орешнику вышел парень в клетчатой кепке, с топором за поясом. Ружья у него не было.

— Вот, — хмуро сказал Кузнецов, кивнув на мальчика: — дядю Васю спрашивает. Отведи, что ли.

Парень постоял, подождал — не скажет ли еще что-нибудь Кузнецов. Но тот молчал. Тогда, вспомнив что-то, парень засмеялся:

— Беда понимаешь, дяде Васе: гвоздей не захватили с собой. Пилы, топоры есть, а гвоздя — ну, что ты будешь делать? — ни одного!

Кузнецов и тут ничего не сказал. Видно, не охотник был до разговоров.

Парень сделал строгое лицо, поправил за поясом топор и распорядился:

— А ну, папан, топай за мной.

Мальчик пошел за ним следом, стараясь попасть в ногу. Но это не удавалось, — шаг у парня был размашистый.

— Я — не папан, — обиженно сказал мальчик. — Я — Иван Карыш, пионер.

— Ах! — парень дернул кешку с головы: — великодушно извиняюсь! Так-так-так... Карыш? А я и не знал.

Мальчик шоял, что над ним смеются, и замолчал. И молчал на этот раз долго — до тех пор, пока не пришли в лес, и он не увидел у большой сосны дядю Васю. Дядя Вася в новом стеганом ватнике сидел перед потухшим костром и, нахмутив густые брови, веточкой ворошил пепел: должно быть, думал о чем-то.

Увидав Карыша, он поднялся:

— Ты что — не уехал? А мать?

— Её с эшелона отправили. В город Уфу.

— Ну, глядите на него! Дядя Вася хлопнул себя ладонями по бокам, — от этого полы ватника распахнулись, и Карыш увидел на поясе у дяди Васи большой револьвер. — Глядите на него! Сбежал от матери?

— Нет, не сбежал — ответил Иван Карыш. — Я в тот день в автотроту ушел. Дядя Вася, а что можно из этого револьвера...

— Постой! В автотроту — зачем?

— Немцев бить. А бойцам в автотроте некогда было... Еслиб я на день раньше пришел, — может, меня и взяли б.

— А сюда зачем?

— Немцев бить.

Дядя Вася качнул головой, прошелся взад-вперед. Потом остановился перед Карышем и взял его за плечо:

— Ну, вот что, друг: иди-ка ты скорей домой. Может, еще пристроишься с каким эшелонам и в Уфу попадешь.

Мальчик молчал. Ресницы у него дрогнули, он отвернулся. Дядя Вася нагнулся к нему:

— Ты что?

— Значит, и ты гонишь меня, дядя Вася? — проговорил Карыш.

— Ну, поглядите на него! — сказал дядя Вася таким тоном, что Карыш обернулся: кого это он зовет поглядеть? Но позади никого не было. Парень в клетчатой кешке — и тот ушел куда-то.

— Ты ж меня знаешь, дядя Вася, — жалобно начал Карыш.

— Знаю! — Василий Лутягин, мастер фарфорового завода, по прозванию «дядя Вася» и в самом деле знал Ивана Карыша. Знал и его отца, убитого в прошлом году в бою с белофиннами.

— Я тебя знаю! — повторил дядя Вася: — ты стрелять хочешь. В пемпа стрелять. А дай тебе дело попроще, — тебе не подойдет.

— Подойдет!

— Скажем, надо дров наколоть, а ты...

— И дров наколю!

— Или, например, гвоздей принести...

— И гвоздей принесу.

Дядя Вася опустил на мох у самой сосны и сказал:

— Ну, иди сюда, садись.

Карыш сел рядом. Дядя Вася молчал, думал.

Карыш подождал, погладил мох рукой. Такой мох, мать на зиму закладывала между оконными рамами, чтоб не было сырости на подоконниках; он внизу коричневый, а сверху зеленый. Карыш хотел спросить дядю Васю, если ли у него дома такой мох — для зимы, но тот перебил его:

— Тебе который год?

— Четырнадцатый.

— Четырнадцатый! — с уважением сказал дядя Вася: — а ростом ты маловат... Ну, слушай, — вот какое тебе задание. Знаешь ты в Семихатке Филиппа Иваныча?

— Это, что в кооперативе торгует?

— Значит, знаешь. Сбегай в Семихатку, — думается, Филипп Иваныч еще не уехал, — скажи ему: Василий Васильевич просит, мол, гвоздей двухдюймовых... Ну, килограммов пять. Постой, я тебе записку напишу.

— Дядя Вася, а зачем тебе гвозди?

— Гвозди зачем? — переспросил дядя Вася, положил на колено бумажку и начал писать чернильным карандашом. — Зачем гвозди? — повторил он еще раз, подписался и встал. — Пзбу тут буду строить. Огород городить. Огород огорожу, огурцов насажу.

— Ты меня обманываешь! — закричал Карыш.

— Ну, или, исполняй задание. Я теперь тебе не дядя Вася, а начальник партизанского отряда.

И он протянул Карышу записку.

В Семихатку вели три дороги: одна по шоссе, другая через ржаное поле, третья через болото. Третья была самая короткая, и Карыш пошел по ней.

Болото начиналось сразу за лесом, — очень нарядное, если посмотреть на него издали. Там еще доцветали не убитые морозом красноватые копыя иван-чая; его было много, и рос он стебель к стеблю — длинной полосой — казалось, что это розовый ручей течет к озеру. И по всему болоту торчали зелеными бородавками кочки. Еле заметная тропка путалась между кочками, а в середине болота пропала. Но люди и там проходили, — перепрыгивая с кочки на брошенное кем-то бревнышко, а с него — на другую кочку.

Карыш еще не добрался до этого места, когда услышал в небе далекое жужжание мотора. Оно разрослось, становилось все слышней, — со стороны озера показался самолет. И сразу за ним — еще два. Даже не видя их, можно было сказать: это не наши.

Мотор у нас не тот, и скорость не та, и люди не те... И поет наш самолет по-иному.

Карыш не успел испугаться, — машины, завывая, пронесли над болотом в сторону Семихатки. На брюхе у каждой из них было ясно виден широкий черно-белый крест.

Когда они были уже далеко, передняя машина снизилась, и от нее отделилась беловатая точка. Карыш раньше думал, что бомбы летят быстрее пули, — не поймать глазом. А тут было видно, как блестящая на солнце точка ушла вниз, и над землей сразу же вырос высокий черный столб. Раздался глухой короткий удар, землю тряхнуло, и Карыш, упав на кочку, замер. Прозвучал еще один взрыв, — как будто ближе. «Это — в Семихатку», — подумал Карыш и продолжал лежать, стараясь не двигаться. Послышались еще два взрыва — один за другим. Сколько времени Карыш пролежал на кочке, он не мог бы потом сказать.

Взрывы раздавались один за другим. Казалось, им не будет конца.

Тогда Карыш, не дожидаясь, пока все это кончится, поднялся и пошел к Семихатке.

\* \* \*

Может быть, в Семихатке когда-то и было всего семь хат. А теперь это — большой поселок с клубом, школой и кооперативом.

Кооператив помещался на площади. Там стояла лошадь, запряженная в телегу. От крыльца к телеге бегал усатый низенький человек, носил какие-то ящики, грузил на телегу. Это и был Филипп Иванович.

— Вам записка от товарища Лутягина, — сказал ему Карыш.

— От дяди Васи? Давай, давай, — торопливо проговорил Филипп Иванович, поглядывая на небо: — Вот гады, что делают!

Ящики на телеге подпрыгнули от нового взрыва, лошадь рванулась. Филипп Иванович закричал на нее сердито: «Ну, качайся!»

Карыш подал ему записку. Филипп Иванович прочел влеху:

«Получено от зав. кооперативом поселка «Семихатка» пять кило гвоздей для нужд обороны Советского Союза. Начальник партизанского отряда В. Лутягин».

Лицо у Филиппа Ивановича просветлело.

— Значит, дядя Вася уже при деле? Ну, и я — к нему... вот только доставлю на место казенное имущество.

— А я думал, это Семихатку бомбят, — сказал Карыш.

Филипп Иванович опять глянул на небо. Там около вражеских машин были теперь видны частые разрывы зенитных снарядов, — похоже было, что небо сразмаху прокалывают раскатанной иглой.

— Нет, это станцию... начал Филипп Иванович и, вдруг замолчав, крепко схватил Карыша за руку: фашистская машина вся в черном дыму начала — одним крылом кверху — падать на землю.

— Так! — Филипп Иванович с облегчением вздохнул: — номер первый. За чем вор шел, то и нашел.

Он повернулся к ящикам, пододвинул к себе один из них, отодрал крышку:

— Ну, пионер, подставляй подол. Сегодня товар отпускаю без весу.

Карыш принялся рассовывать гвозди по карманам. Они были большие, как штыки. Или — немножко поменьше.

Филипп Иванович начал привязывать кладь к телеге. Торопясь, он смастерил узел, потом ухватил веревку зубами, — стал затягивать, как можно туже.

— Ну, парень, — промычал Филипп Иванович сквозь сжатые зубы: — беги к Василию Васильевичу, скажи, — и я, мол... — он сплюнул в сторону кусочек веревки: мол, и Филипп Иванович в скором времени...

Все кругом дрогнуло от страшного удара, лошадь опять рванулась, Филипп Иванович торопливо закончил:

— Беги, пионер, беги. Видишь, что делается.

Он взялся за вожжи и, подскакивая на одной ноге, полез на телегу.

Карыш побежал назад — к болотной тропинке.

Он бежал, и ему все ясней становилось, что дядя Вася не станет сидеть на одном месте, его, Карыша, жать: увидев вражеские самолеты, он, конечно, уже ушел — поглубже в лес; а когда к нему соберется народ, — придет Филипп Иванович и другие, — тогда партизаны и начнут воевать по-настоящему.

Он бежал, задыхаясь, вытирая пот, и остановился только на опушке. Из леса слышался частый стук топоров и злое повизгивание пилы.

Карыш стал пробираться вперед, хоронясь, на всякий случай, за кустами, — пока не дошел до знакомого места. Там, у сосны, горел костер, над огнем на высокой рогулке висел жестяной чайник. В стороне — спиной к Карышу — стоял дядя Вася и тесал топором доску. Двое партизан пиляли бревно. Одного из них Карыш узнал: это был рабочий фарфорового завода — Шитиков. А другого — с веселым рябоватым лицом и золотистой бородой — он видел впервые.

За ельником стучал топор, — видно, рубили дерево. Пахло свежими стружками, дымком и еще чем-то необыкновенно приятным: лесным жильем, что ли.

Дядя Вася оглянулся:

— А, товарищ Карыш! Молодец, скоро управился.

Карыш вывалил перед ним — кучей — гвозди из всех карманов. Василий Васильевич выхватил из кучи один на пробу:

— Хорош!

И поглядел на потное лицо мальчика:

— Уморился? Садись чай пить. Я сейчас...

Он взял доску, прислонил ее одним концом к сосне и вколотил в нее гвоздь. Потом вбил другой, третий. И перевернул доску: все гвозди прошли навывлет. Тогда, уже не останавливаясь, он пробил гвоздями — из конца — в конец — всю доску. Одна ее сторона теперь была покрыта железной щетиной. Василий Васильевич схватил щетинистую доску и несколькими ударами обуха прибил ее к бревну — так, чтобы гвозди торчали наружу. И спросил, любуясь:

— Хорош еж?

Два партизана перестали пилить, поглядели:

— Годится!

— До заката управимся, — сказал Лутягин, — а ну, товарищи, давай чай пить.

Чай пахнул дымом, но был очень вкусным.

Пришел Кузнецов, сменившийся с дозора на холме. Он достал из своего вещевого мешка кружку и молча сел к огню.

За чаем всех смешил парень в клетчатом картузе. Звали его, как оказалось, Гошкой. Он все рассказывал про какую-то тетю Мотю, которая вчера заперлась нечаянно в чулане, а ключ потеряла, никак не могла вылезти.

Партизаны, слушая Гошку, смеялись, особенно тот — с рябоватым лицом и бородкой: он все подмигивал Гошке и, казалось, что они вдвоем знают что-то веселое, — по секрету от других. Все было так, как будто война премела где-то далеко, за тридевять земель.

Но когда кончили пить чай, дядя Вася прислушался и сказал:

— Наши по шоссе начали крыть.

И Карышу гул орудий сразу показался другим, — дружелюбным: это, ведь, красноармейцы стояли за длинными зелеными дулами — целились во врага.

После чаю все опять взялись за топоры и пилы. А Карыш стал собирать дрова — в запас — для нового костра.

К вечеру ежи были готовы — счетом десят.

Партизаны попарно взялись за них и понесли куда-то. Впереди шел дядя Вася. А Карыш бежал следом — ему дали нести лопаты, — и он, уже никого ни о чем не

спрашивал: было ясно, что ежи приготовлены для немцев.

Лес стал редеть, впереди открылась широкая, заросшая травой просека. Видно, здесь когда-то прокладывали дорогу, — даже канаву вырыли рядом, чтобы вода стекала. А может, это и теперь была дорога — лесная, по ней, должно быть, возили сено из лесу.

Бревна скинули у канавы, Лутягин командовал «начинай», и партизаны взялись за лопаты.

Тут Карыш не вытерпел:

— Дядя Вася, а откуда ты знаешь, что сюда немцы поедут?

— Ну, это не хитро узнать — сказал Лутягин, и добавил: но шоссе им сейчас идти нельзя, там чересчур жарко. Они попробуют сюда сунуться... Сперва, конечно, разведку пошлют.

Поперек просеки партизаны вырыли в разных местах канавки, положили в них бревна, засыпали землей, но неплотно. Карыш потрогал: из земли упрямо торчали — штычками — гвозди... Он нарвал травы листьев и притрусил ими бревна, чтобы и в пяти шагах ничего нельзя было различить.

Уже начинало темнеть.

— Ну, по местам! — распорядился Василий Васильевич.

И партизаны, взяв кто ружье, кто топор, разошлись, — прячась за деревьями.

— А мое место где? — спросил Карыш.

— Сейчас покажу, — ответил Василий Васильевич, — идем!

Он повел Карыша в лес — туда, где деревья стояли гуще. Шли недолго. Дядя Вася остановился.

— Вот твое место.

Между деревьями уже залег сумрак, и Карыш не сразу заметил перед собой что-то темное, — не то стог сена, не то кучу хвороста.

— Это наш шалаш, — сказал Василий Васильевич, — полезай туда, там тулуп есть, закройся им, как следует. А то продрогнешь...

— Дядя Вася, я не хочу! Вы там без меня воевать будете!

— Чудак! Ты же видел, я всех в караулы послал. И тебе тоже велю караулить наше имущество. Тут у нас тулупы, посуда... Одним словом, — нужные вещи.

— Ты меня все обманываешь!

— Ну, спорить мне с тобой некогда. Приказываю — слышишь? Оставаться в шалаше до моего прихода!

И дядя Вася, повернувшись, ушел, — должно быть, назад — к просеке.

Стало совсем темно. Кто бывал ночью в лесу один, тот знает: в темноте все кру-

гом кажется живым, словно кто-то притаился, шевелится, слушает, ждет. Карыш и сам себе не хотел признаваться, что ему стало страшновато; он полез в шалаш, нащупал в темноте тулуп, сунул руку дальше, — рука наткнулась на стенку из колючих еловых веток. Он с Юра закутался с головой в душистый тулуп и неожиданно заснул. Во сне он сперва все шел по берегу озера. Все шел и шел, и в руках у него были удочки, и солнце палило жарко. Потом он увидел знакомые ворота завода, из ворот серебряными струйками вытекали рельсы узкоколейки. По рельсам громыхал маленький вагон — один без паровоза. Всадник скакал по темному полю к вагону, и скалил зубы, алые от далекого пожара. На нем была бурка, как у Чапаева, он кричал: «В Уфу! Вагон отправляется в Уфу!» А где-то за вагонами стали стрелять. И пожар разгорался все шире, только не удавалось разглядеть, где горит, — свет слепил глаза. Карыш сощурил их, потом раскрыл и не сразу вспомнил, что он в лесу. Прямо в шалаш били косые лучи солнца. Неподалеку стреляли. Он скинул с себя тулуп и выскочил на волю. Никого кругом не было. Только на сосне, прижав к самому стволу, сидел носатый дятел и глядел на Карыша. Где-то опять выстрелили. Дятел быстро побежал вверх по стволу, махнул пестрыми крыльями, скрылся. Ждать дальше было невозможно, — Карыш, пробираясь сквозь кусты, побежал напрямик в сторону просеки. Скоро он услышал голоса. Среди них выделялся густой бас дяди Васи. Карыш пустился еще быстрее.

Дядя Вася стоял на просеке и разглядывал новенький автомат. К другому автомату примерялся, — вешал его себе на шею — Кузнецов. Гошка вертел в руках немецкую каску.

— И что за знак такой: называемая свастика? Вот, ровно четыре виселицы срослись, — ну не бывает поганей! И примерил бы, да не могу. Из-за поганого знака.

Гошка с огорчением кинул каску в кусты. Она покатилась — Карыш провожал ее взглядом — каска легла рядом с зеленым мундиром: это был убитый фашист! И мотоцикл валялся рядом... а недалеко — другой. Карыш не стал больше разглядывать и кинулся к дяде Васе:

— Вы тут без меня! Без меня волосте!

Дядя Вася улыбнулся:

— Ну, разве ж это война? Война — впереди. Мы так, маленько немецкую разведку... вот, видишь, оружия добыли. Теперь и воевать можно.

— Ты меня все обманываешь! — запаль-

чиво закричал Карыш: сам немцев бьет, а меня — в шалаш!

— Тихо! — дядя Вася нахмурил брови, сжал губы, только с глазами ничего не мог поделать — глаза смеялись. — Пстой, погоди: вот, пусть товарищи рассудят... Ребята, я, стало быть, посадил Карыша в шалаш, караулить наши вещи. И что ж? Он кинул все, а сам сюда прискакал.

— Дядя Вася!

— Пстой, дядя Вася был да весь вышел. Теперь я тебе — начальник отряда. Говори: тебя кто с караула снял?

Неизвестно, чем кончился бы этот разговор, если бы на просеке не показался старик с широкой кудрявой бородой; за плечами у него был мешок, в руках — суковатая палка.

— Ваш пропуск! — с шутливой угрозой крикнул ему Гошка еще издали.

— Да это — бакенщик Михеев, — проговорил кто-то.

Старик подошел поближе и тогда только сказал Гошке серьезно.

— Выйди на реку, там у меня... он остановился, как будто задохнувшись, — немцы избу жгут, вот тебе — мой пропуск!

Он снял шапку и спросил:

— Кто у вас за начальника? Принимай пакет!

Потом отогнул подкладку в шапке и вытащил старый конверт.

Дядя Вася взял у него конверт, вынул бумагу. Прочитав, он поглядел на партизан так, что все замолчали.

— Кузнецов, Пахомов — ко мне! — сказал дядя Вася и отошел в сторону. Незнакомый Карышу партизан с рябоватым лицом и Кузнецов последовали за ним.

Они втроем поговорили негромко между собой, посоветовались и вернулись к отряду.

— Ну, товарищи, — сказал Василий Васильевич. — Командование Красной Армии доверяет нам большое дело.

Он помолчал, глянул на партизан, на бакенщика, на Карыша.

— Тут все — свои, буду говорить открыто. Мы должны взорвать мост в тылу у немцев. Сегодня же. Вот... Надо обдумать как лучше это сделать.

Кузнецов обернулся, обвел взглядом партизан, как будто подсчитывал.

Лутягин понял его и сказал:

— В открытую нападать, — это значит провалить все дело. Только шуму надеяться.

— Ночью если... — проговорил Шитиков перешительно.

— В том-то и суть, что ночи ждать не

приходится, — ответил дядя Вася: — тут часы считаны.

Партизаны заговорили:

— Надо взять взрывчатку и пойти туда одному-двум, — чтобы тайно...

— Перестреляют. Нет, тут либо с боем идти — напрямик, либо ждать ночи.

— Ночи ждать не приходится, — повторил Василий Васильевич.

Все замолчали. Прошла минута-две. Лутягин сорвал с себя шапку, вытер лоб:

— Эй, скорей бы думать надо!

Карыша будто что толкнуло.

— Дядя Вася... товарищ начальник отряда, разрешите: я пойду взрывать мост.

Лутягин повернулся к нему с досадой:

— Тебе что тут — игрушки... — начал он, но Карыш не дал перебить себя.

— Я кнут возьму... Или — нет кнута — хворостину. Будто корову ищут. Сперва все по-над берегом, по-над берегом пойду. Чуть что, встречу кого, сейчас плакать: корова пропала... Карыш торопился все больше, спешил досказать: — Я одно место знаю, мы там с ребятами сколько раз... там кусты к самому мосту подходят.

— На словах выходит складно, — усмехнулся дядя Вася.

— Малый дело говорит, — сказал вдруг бакенщик Михеев.

— Дело! Подстрелят его, вот тебе и все дело.

— Что ж, могут и подстрелить, — спокойно ответил Михеев.

— Не подстрелят! — закричал Карыш.

Бакенщик перебил его:

— Погоди, теперь не твоя речь. Теперь речь — моя. Вот как надо сделать, чтоб верней вышло. Парнишка пойдет к мосту с одного края, а я с другого — начну на немцев шуметь, руками махать... Они мной займутся, а тут малый-то...

— Ты руками махать, а немцы — рты разевать: «ах, какой интересный старик!» Рты разинут, винтовки выронят. — Дядя Вася даже отвернулся: — Ну, что ты, дед, как маленький, все равно!

— Ничего не маленький. Немцы винтовок не выронят. Они в меня из винтовок стрелять будут. А дока мной. стало быть, занимаются, малый будет действовать с фугаской.

— Не дело говоришь, дед!

— Ну, тогда ты скажи дело, товарищ начальник! — Михеев насунился, замолчал.

Дядя Вася тоже молчал.

— Тогда вышел вперед рябоватый партизан:

— Василий Васильевич, позволь мне... Карыш верно говорит: если перейти желез-

ную дорогу, — там кусты близко к мосту подходят.

Дядя Вася нахмурился, хотел перебить:

— Нет, ты постой, Василий Васильевич, — партизан затряс рыжей бородкой, заторопился: — Постой, дослушай. Оружие у нас теперь есть. Удастся пионеру проскользнуть к мосту — хорошо. Не удастся — мы всем отрядом... Да, ну, погоди, не перебивай: всем отрядом ударим из винтовок.

— Нет, не согласен, — сказал Лутягин.

— Товарищ Лутягин, — обратился, замнаясь, к дяде Васе Гошка: — Я объясню, как надо сделать. Только ты мне автомат отдай, — почему это его Кузнецов себе забрал? Я возьму автомат и пойду вместе с Карышем.

Карыш — к мосту, а я залягу в кустах и — чуть что — начну немцев из автомата поливать. Приму огонь на себя.

Василий Васильевич присел на пенек, у просеки.

— Ну, ребята, помолчите немножко, — распорядился он.

Все замолчали. Через просеку, обманутая тишиной, перелетела белка, разостлав по воздуху пушистый хвост. Гошка не удержался, свистнул ей вслед и подмигнул Карышу.

Василий Васильевич задумчиво пошевелил носком сапога кленовый лист, — желтый, в багровых брызгах. Все внимательно следили, как он перевернул лист на изнанку, — показались вышуклые восковые прожилки. — Лутягин наступил на них, поднялся с пенька:

— Ну, надо решать. Вот что: с Карышем пойдет Кузнецов, не обижайся, Гоша. Ты горяч, — Кузнецов тут больше подходит.

Через минуту Ивану Карышу дали тяжелый полотняный мешочек.

— Это динамит? — спросил он обрадованно.

— Почтше динамита, — сказал Кузнецов. — Ну, теперь гляди сюда — на шнур.

Он объяснил Карышу, как обращаться со взрывчаткой, как ее закладывать под мост, как держать спички и шнур при зажигании.

— Он до-отказа короткий — шнур-то. Как только загорится, — не вздумай мешкать.

— Ну, конечно, не вздумаю, — ответил Карыш.

Партизаны столпились вокруг него. Только Гошки не было. Гошка ушел стругать из орешника рукоятку для кнута. Скоро он принес ее: по толстому пруту кора была вырезана затейливо — винтовой нарезкой. Гошка привязал к пруту тугую крученую бичевку — и откуда только взял! — с узлом на конце. Кнут был готов. Карыш ждал,

что Гошка теперь хлопнет бичевкой по осенним листьям и крикнет лихо:

— Ну, и кнут!

— Или что-нибудь в этом роде. Но Гошка протянул кнут молча, глаза у него были грустные.

Карыш стал прилаживать полотняный мешочек себе на шею, под рубашку. Все теперь следили за каждым его жестом, как за минутой перед тем — за движениями Василия Васильевича. Он стоял красный от удовольствия.

Кузнецов подал ему коробку спичек, Карыш спрятал коробку в левый карман, — правый оказался дырявым, — это его пробили гвозди Филиппа Иваныча.

— Вот, ты и воевать начал, — сказал дядя Вася изменившимся голосом.

Все немножко помолчали, как будто ждали чего-то.

Солнце стояло уже высоко над лесом. На лапах у елок заблестела влажная паутина. Пахло грибной сыростью, палым листом, — осенью.

— Вот ты и начал воевать, — повторил Василий Васильевич.

Карыш не знал, как ответить дяде Васе. Надо было что-то сказать, а что — он не знал. И потому стоял молча и глядел на новый кнут. Коричневая полоска коры круто обрывалась: поближе к веревке рукоятка была гладко оструганная, белая и, должно быть, скользкая. Карыш потрогал: она и в самом деле была скользкая.

— Ну, — сказал Василий Васильевич, подошел к Кузнецову и снял шапку. Кузнецов тоже снял свою шапку, и они три раза поцеловались.

Тогда и Карыш снял фуражку и тоже три раза поцеловался с дядей Васей.

— Пошли, — сказал Кузнецов.

— Я на тебя надеюсь, помни, товарищ Кузнецов, — крикнул им в догонку Василий Васильевич.

По просеке пришлось идти недолго. Кузнецов свернул в сторону, на узенькую тропку. Тут под ногами были видны вдавленные в землю коровьи следы, а по лицу били колючие влажные ветки. Но скоро ветки раздвинулись, ели сменились березками. За березками знакомым веселым блеском сверкнула река.

Кузнецов не сразу повернул к ней. Он продолжал идти лесом и часто останавливался, прислушиваясь. Ветер донес с реки запах дыма. Это был не тот чистый, хоть и горьковатый запах, который мы слышим, когда горит дерево, когда топится печь. Какой-то едкий смрад вилтался в него, может быть,

то горела одежда или шерсть в колхозной избе.

Кузнецов, прячась за березами, подошел поближе к реке. Он прислонил ладони к глазам, взгляделся и сказал Карышу:

— А ведь это михеевский дом догорает.

Карыш не сразу увидел пожар. Горело на том берегу. Светило солнце, сверкала, морщась под ветром, река, — и от того не очень заметны были злые языки огня. Над пожаром кривым черным пальцем торчала закопченная труба. Она уцелела и казалась непомерно высокой: огонь уже успел сожрать стены.

Кузнецов стоял, глядел. Карыш хотел было потянуть его за рукав, но тот сказал негромко:

— Смотри, сынок, смотри. Это наших людей жгут. Хорошенько смотри: у тебя от этого рука крепче станет.

Потом вздохнул:

— Ну, пойдём. Отсюда — уже недалеко.

Карыш и сам хорошо знал эти места. Скоро, — поближе к железной дороге, пойдет осинник, ольховник, кусты — конец лесу.

Среди кустов шли согнувшись, а кой-где пробирались ползком.

Теперь уже ничто не заслоняло реки, и она видна была всем своим привольным простором. Вдали на реке краснел гнутыми кружевными пролетами железнодорожный мост. Раньше Карыш не раз бежал сюда с ребятами. По мосту гремели поезда, паровоз с выпяченной богатырской грудью летел вперед, как в бой. Когда состав исчезал, увлекая за собой ворох пыли и песку, ребята взбирались на насыпь и прикладывались щеками к разгоревшимся патруженным рельсам: рельсы долго пели, дрожа, — никак не могли успокоиться. Доносился последний слабый толчок — это паровоз прошел стрелку... рельсы затихали, и кто-нибудь из ребят, первый вставая со шпала, говорил:

— Айда!

Под насыпью собирали теплые, пахнувшие гарью куски шлага с узорными острыми краями, — условливались, что это — редкие камни; набрав их полные пазухи, бежали к реке купаться. Купаясь, подплывали к устоям моста, — камень у самого берега был выдолблен водой, и сюда, в круглую выбоину, Карыш прятал банку с червяками — для рыбной ловли.

Теперь на мосту стояли немецкие солдаты. Чтобы подойти к мосту с той стороны, где у самого берега густо рос ивняк, надо было перейти насыпь.

Карыш решил отойти от моста подальше и тогда уж подняться к железной дороге.

А Кузнецов выбрал куст и устроился за

ним, лег на животе, положив перед собой автомат. Отсюда мост был виден, как на ладони.

— Смотри, сынок, вернись целым, а то рассержусь, — сказал Кузнецов и попробовал улыбнуться.

— Вернусь, — ответил Карыш, щелкнул кнутом по кусту и пошел вперед.

Он шел опушкой леса, прячась за березами и кустарником.

Поровнявшись со старой путевой будкой, которая уже несколько лет стояла пустой, он подошел к насыпи и поднялся наверх.

И тут услышал вдруг хриплый протяжный возглас:

— Ха-ааль!

Карыш остановился: из будки вышел немец в мешковатой зеленой шинели и погрозил ему пальцем. Карыш заныл, как и собирался:

— Я корову ишу... Корова потерялась...

— Короф-ф, — проворчал немец, разглядывая мальчика. Потом повернулся к будке. Но на ходу остановился и закричал Карышу что-то по-своему, махнув рукой в сторону. Карыш понял: велит итти подальше от моста.

— Хорошо, хорошо, — торопливо заговорил он, — «гут», — вспомнил он немецкое слово.

Фашист опять хрипло пролаял что-то, открыл в будку дверь, шарнул за порог. Карыш не вытерпел, побежал. Перескочив через рельсы, он скатился вниз и кинулся к ивнякам.

Немец вернулся из будки — с винтовкой. Должно быть, за пей он и ходил. Держа дуло вниз, он пробовал затвор. Потом вскинул винтовку и оглянулся: где же мальчишка?

А Карыш уже полз в зарослях ивняка, прижимаясь к самой земле. Немец выругался и выстрелил — наугад.

Карыш полз дальше, сбивая коленки в кровь об острые сучки. Скоро тяжелый полотняный мешочек у него на шее стал мокнуть от пота. Карыш снял его и понес в руках, осторожно придерживая пальцем шнур, вставленный во взрывчатку: ему все казалось, что шнур может выпасть, а как выправить обратно, — неизвестно. Заботы о шнуре успокоили его. Теперь он пополз уже не так торопливо, выбирая дорогу, — обходя сухие сучья.

Через некоторое время он решился выглянуть, раздвинул ивняк и приподнял голову. Путевая будка осталась далеко позади. Зато немцы на мосту были теперь видны уже совсем ясно. Они стояли парами — по двое у каждого края перил. Винтовки с широкими штывками они держали у плеч прямо, как на ученья. Один из солдат слегка повернулся — штывек его вспыхнул на солнце и погас.

Карыш пригнулся, пополз дальше. Скоро он услышал шелест воды. Река в этом месте поворачивала, и даже в ясную погоду волна с тихим ропотом забегала на песок.

Ивняк кончился там, где начиналась размытая рекой полоса песку.

И здесь Карыш остановился. Он еще раз нащупал мешочек со взрывчаткой, вынул из кармана и проверил спички. Спички были сухие. Он опять поднял голову и глянул на мост. Кроме солдат, теперь у самых перил стоял еще один фашист с какими-то бесчисленными нашивками: на рукаве, на воротнике, на левом кармане мундира. Должно быть, это был их начальник — фельдфебель или ефрейтор. Лениво шурясь, разукрашенный нашивками фашист глядел прямо перед собой — на кусты ивняка. Карыш приник к земле. Прошло несколько минут. Карыш снова выглянул: немец по-прежнему шурился и глядел на берег.

И вдруг Карышу стало ясно: даже если немец отвернется, если даже он отойдет куда-нибудь в сторону, — все равно к мосту не добраться. Как бы тихо он ни вышел из ивняка, — солдаты заметят. Двое из них стоят лицом в эту сторону, двое — в противоположную. Им видны все подступы к мосту.

В первый раз за весь день Карышу стало по-настоящему страшно.

Ползти назад — невозможно. Он лежал, — в двух шагах от него равнодушно шелестела река, сквозь ивовые прутья видел был мирный ее блеск, — он лежал и думал, что теперь делать.

Будь у него граната, он мог бы бросить ее сразу. Правда, такой мост гранатой не взорвешь.

Ждать здесь, пока стемнеет?

Далекий гул, похожий на шум ветра в хвойном лесу, донесся из-за реки, стал нарастать, и Карыш понял, почему нельзя ждать до ночи. Это шумели — еще очень далеко — колеса вагонов: шел к мосту немецкий поезд, впервые по этой земле.

Солдаты на мосту поднянулись, еще прямее выравняли у плеч винтовки. Впереди их стал ефрейтор с нашивками. Это ведь шла им подмога, — снаряды или войска.

Ефрейтор в нетерпении шагнул вперед. Четверо солдат глядели ему вслед — в сторону далекого поезда. Теперь-то уж им было не до ивняка! Карыш выскочил из кустов. Пробежать надо было всего несколько шагов. Еще на бегу он вытащил из кармана спички и держал их в левой руке, — в правой была взрывчатка. Под мостом он сразу же кипуче к знакомой выбоине и сунул туда взрывчатку. Сердце у него колотилось гулко, где-то у самого горла. Мост стал гудеть — сперва



еле заметно, потом все сильнее. Карыш чиркнул спичку, она сломалась. Тогда он выхватил из коробки сразу несколько штук, зажег и поднес к шнуру желтенький огонек. Шнур затледел сразу, запахло горелой тряпкой. Дольше оставаться нельзя было ни одной секунды. Мост уже подрагивал от гула приближающегося поезда. Карыш выглянул из-под моста. По-прежнему перед ним, переливаясь на солнце, сверкала река и кивали на берегу ивовые прутья.

Карыш кинулся к ивию. Короткий крик раздался где-то над ним, и всей кожей своей он почувствовал: сейчас в него выстрелят. Он споткнулся и упал. Это его спасло: пуля с противной вкрадчивостью пропела неподалеку.

Он вскочил. К нему уже бежали с моста немцы — двое. Они целились в него, но больше не стреляли: видно, надеялись взять

живым. Впереди был эфрейтор. Карыш еще успел разглядеть его вытаращенные глаза и рыжеватые, должно быть, небритые щеки.

В это время со стороны леса застучал автомат.

«Кузнецов», подумал Карыш... Нестерпимый белый огонь рванулся к небу с оглушающим грохотом. Карыш мельком увидел падающий в реку красный пролет моста, — и сразу все кругом начало звенеть и тихо меркнуть, пока совсем не стало темно.

\* \* \*

Еще не открывая глаз, он услышал:  
— Будет жить!

Он поглядел, кто это говорит, и сразу же опять закрыл глаза, — больно было смотреть на снежно белые стены и ослепительный халат наклонившегося над ним седого человека.

Н. ДЕНИСОВ

Подполковник

## Воздушные бои с немцами

Империалистическая война 1914—1918 гг. внесла в общее понятие о ведении боевых операций несколько весьма важных факторов. Одним из них является рождение военной авиации. Впервые за всю историю войн в этот период времени возникла новая форма борьбы — воздушные сражения. Говоря о зарождении нового вида боя — воздушного — мы сознательно опускаем единичные случаи применения авиации несколькими годами раньше во время Балканских событий. Там действовали невооруженные самолеты-одиночки, их главной целью была воздушная разведка. Тогда же были сделаны и первые попытки бомбометания. Воздушного же боя, как такового, в те времена не существовало.

За годы империалистической войны, по сути дела, родившиеся в ней военно-воздушные силы воюющих сторон росли чрезвычайно быстро. Общее понятие: самолет — в короткий срок преобразовалось в представление о самолетах-бомбардировщиках, разведчиках, истребителях. Последний тип машины предназначался для воздушного боя, для уничтожения самолетов неприятеля. Истребительная авиация воюющих государств, насколько могла по своему вооружению, летно-тактическим данным самолетов и квалификации летчиков, выполняла возложенные на нее задачи. Надо сказать, что, хотя по сравнению с нынешним развитием воздушных флотов истребительная авиация мировой войны 1914—1918 гг. находилась на довольно низком уровне, все же размах ее боевой деятельности характеризуется весьма значительными цифрами. Достаточно упомянуть, что в воздушных боях за все годы войны участвовало около 100 000 самолетов. Только завершенных воздушных схваток, закончившихся гибелью хотя бы только одного самолета, насчитывается свыше 9000.

В этом новом виде боевого воздействия на противника родился и некий прототип воздушного бойца. Речь идет о летчике-истребителе и воздушном стрелке бомбардировщика. Первая категория бойцов выдвинула начальное понятие о воздушных снайперах — «ассах». Таким именем называли летчиков, имевших не менее 10 побед в воздушных боях. Авиационная история

донесла до наших дней имена некоторых наиболее выдающихся мастеров воздушного боя того времени. К ним относятся, например, французский летчик Рене Фонк, сбивший 75 немецких самолетов. Отдельные дни он одерживал до шести побед в воздушных боях. Англичанин Менок сбил также 75 вражеских машин, Бишон — 72, немецкий «асс» Рихтгофен — около 80. Довольно значительное число летчиков имело по несколько десятков побед. А всего одними «ассаами» воюющих государств было сбито за время войны свыше 5 000 самолетов. Цифра довольно показательная, но к ней мы вернемся несколько ниже.

Казалось бы, что при таком количестве пилотов-мастеров боя, проведенных ими воздушных боев и уничтоженных самолетов, должен был накопиться столь богатый опыт, что взгляды на тактику и технику воздушного боя не должны были бы вызывать неясностей по большинству вопросов, связанных с применением истребительной авиации в общей массе военно-воздушных сил. На деле оказалось иначе. Послевоенный (войны 1914—1918 гг.) период времени примечателен целым рядом дискуссий и спорных высказываний довольно видных и авторитетных авиационных специалистов о характере воздушной войны, о роли в ней того или другого вида авиации. Одна за другой рождались различного рода воздушные доктрины, выпускался ряд брошюр и книг по вопросам ведения воздушных операций. Не ставя себе задачей разбор этих доктрин, остановимся лишь на некоторых взглядах немецкого авиационного руководства на способы и приемы воздушного боя, поскольку это необходимо для лучшего анализа освещаемого статьей вопроса.

В свое время, еще задолго до прихода гитлеровской клики к власти, в Германии вышла книга под популярным названием: «Что должен знать немец об авиации». Скрывшийся под псевдонимом автор, несомненно, был человеком, близко стоящим к руководящим авиационным кругам страны, и в завуалированной форме отражал взгляды немецкого авиационного командования. Этот труд весьма высоко оценивал роль истребителей по сравнению с ролью других видов авиации:

«...Истребительные эскадры имеют задачей борьбу за господство в воздухе, они разыскивают противника в воздухе, атакуют его и должны уничтожить возможно большее количество неприятельских самолетов. Борьба за господство в воздухе должна вестись наступательно. Область воздушного боя должна лежать впереди своих войск, чтобы дать возможность работать своим разведывательным и прочим (подчеркнуто нами.— Н. Л.) самолетам. В каком месте должна действовать главная масса истребителей, может решить только высшее командование. Оно применит их там, где ему важно получить возможно более подробные разведывательные данные. Если после обеспечения своей разведки в распоряжении имеются еще свободные истребительные силы, они должны быть применены там, куда противнику надо не дать заглянуть».

Итак, казалось бы, немецкое командование возлагает очень скромные задания на соединения своей истребительной авиации — обеспечение воздушной разведки да, если представится возможность (?), прикрытие своего расположения. Однако упоминание о том, что «область воздушного боя должна лежать впереди своих войск, чтобы дать возможность работать... прочим самолетам», — не случайно. Именно в этой замаскированной форме и надо искать подлинное решение вопроса о способах применения истребительной авиации в воздушной войне. Ее усилия, не говоря об этом прямо, немецкое командование рассчитывало, в первую очередь, обратить на завоевание господства в воздухе путем воздушных боев, на сопровождение своих бомбардировочных эскадр к целям, подлежащим разрушению, на прикрытие с воздуха своих наземных войск и важных тыловых объектов. Истребитель, по взглядам немцев, должен был являться хозяином воздуха, основным самолетом, диктующим свою волю во всех воздушных операциях.

В свете этих взглядов неслучайно то обстоятельство, что большинство немецких летных школ готовило именно летчиков-истребителей. В частности, когда в дальнейшем гитлеровским главным штабом разрабатывался план быстрого завоевания Англии с помощью невиданно крупных, многодневных воздушных налетов на Лондон, в которых должно было участвовать не менее 10 000 самолетов одновременно, — выяснилось «досадное» несоответствие количества выпускаемых авиапромышленностью бомбардировщиков с подготовленными летными кадрами. Последние, будучи натренированы как истребители, нуждались в переподготовке. Это несоответствие усугублялось еще и взглядами, довольно прочно осевшими в среде фашистского летного состава, что пилот бомбардировщика — это нечто похуже на «извозчика», тогда как истребитель является «рыцарем воздуха».

Пришедшая к власти гитлеровская клика вместе с ее авиационным вожаком — Герингом всячески старалась проверить на практике качество своего воздушного флота, квалификацию его пилотов. Для этой цели ею в свое время была организована экспедиция воздушного легиона

«Кондор» в Испанию. В этот легион вошло значительное число летчиков истребительной авиации. В воздушных боях, действуя на стороне мятежников, немцы проверяли свою тактику, приемы воздушной хитрости, испытывали новые образцы вооружения, делали соответствующие выводы о качестве своих самолетов-истребителей. Многие, что применялось немецкими летчиками в голубом небе Испании не раз повторялось ими и в нынешней войне с нами. Там же немецкое авиационное командование с деятельной помощью геббельсовского бюро пропаганды возродило начавший было угасать культ «ассов». Национальными героями Германии провозгласили нескольких летчиков-истребителей, осыпали их поощрениями и наградами вплоть до специально придуманного ордена «дубовых листьев», всячески подогревали общественное мнение вокруг имен таких пилотов, как Мельдерс, Удет и другие, одновременно выдвинув их на крупные руководящие посты в воздушном флоте.

Как всю, так, в частности, и истребительную авиацию, фашистское командование еще раз проверило при захвате Польши, где в силу ряда известных причин ей не пришлось пролить большой крови за господство в воздухе, а потом и над полями Франции и Англии. Между прочим, воздушные налеты на Лондон явились в то же самое время и организованной в весьма крупных масштабах проверкой одного из последних типов германских истребителей — «Ме-110», о котором речь будет ниже. Сравнительно легкие победы над Польшей и Францией не могли не отозваться некоторым образом на воспитании летного состава фашистской авиации и, в особенности, кадров истребительных частей. В тактических приемах гитлеровских летчиков превалирующее значение стали получать наглые, основанные на своеобразном воздушном нахрапе, уловки, разбойничий подлый обман противника, выпячивание броска вперед, вместо хорошо продуманного, основанного на метком огне, воздушного маневра. Все это в последующих встречах с советскими летчиками сказалось в полной мере, и фашисты воочию смогли убедиться в несостоятельности своей системы воспитания.

Для полноты анализа воздушных боев, разыгравшихся за последнее время войны с фашистами, надо сказать несколько слов о самолетном парке немецкой истребительной авиации, с которым она вступила в войну с нами. Основные типы истребителей германской авиации выпускаются двумя фирмами. На юге Германии, в Мюнхене и Аугсбурге, расположен ряд заводов фирмы Баернше Флюггейверке (BFW). Главным конструктором здесь работает инженер В. Мессершмитт, специалист по типу истребителя. Многие марки самолетов-истребителей известны под его именем. К войне эта фирма подготовила для немецких авиачастей два типа истребителей. Во-первых, — одномоторный моноплан «Ме-109», обеспечив его скоростью около 460—480 километров в час и дальностью полета до 720 километров. Этот самолет обладает сравнительно высокой скоро-

подъемностью, поднимаясь на 3000 метров за две минуты, и большим потолком, достигающим 11000—11400 метров. Машина вооружена пушками и пулеметами. «Ме-109», выпущенный фирмой в 1937 году, во время испанских событий, являлся одним из наиболее современных скоростных истребителей воюющих сторон. Другой моделью фирмы служит двухмоторный моноплан «Ме-110». Обладая сильным вооружением, способностью взлететь на борт до 600 килограммов бомб, идя на скорости 450—470 километров в час, он имеет радиус действия, значительно больший, чем у других самолетов-истребителей. Дальность полета «Ме-110» (с полной нагрузкой и на скоростях, близких к максимальным) — около 1500—1600 километров, но при пилотировании самолета на более экономических скоростях летчик может несколько повысить эти цифры. «Ме-110» задуман, как многоцелевая машина, на которую можно возложить задачи и самостоятельного воздушного боя, и разведки, и бомбардировки. Например, встретив при налетах на Лондон сильное сопротивление со стороны английских «Спитфайров» и «Харрикейнов», немецкое командование, на определенном этапе, стало направлять на город группы самолетов, составленные почти только из «Ме-110».

Второй фирмой, снабжающей германскую истребительную авиацию, является самолетостроительный концерн Хейнкель-Арадо. По имени его совладельца и главного инженера — Хейнкеля и присвоено имя некоторым типам истребителей, выпущенных с заводов концерна. Здесь был изготовлен одномоторный моноплан «Хе-112», в последующем модифицированный в «Хе-113». Машина снабжена мотором жидкостного охлаждения, придающим самолету скорость до 600 километров в час на высоте 5000 метров. Обладая дальностью полета до 800 километров и хорошим вооружением, этот тип истребителя, кроме того, был оснащен большим количеством современных пилотажных и навигационных приборов, допускающих ночную боевую работу. При выпуске этого самолета со стендов завода немецкая печать хвастливо пророчила ему славу «короля воздуха». Насколько оправдались надежды фашистов, мы покажем дальше, на конкретных боевых примерах.

Говоря о самолетном парке истребительной авиации, нельзя умалчивать о ее моторах. Мотор — сердце истребителя. Он сообщает ему нужную скорость, дает преимущества в пилотаже и маневре, от работы мотора зависит весь боевой полет истребителя. Авиамоторная промышленность Германии, исходя, повидимому, из общих взглядов на боевое применение истребителей, рассчитанных на легко достижимое навязывание своей воли воздушному противнику, строила и снабжала части, в противовес стремлениям авиамоторной промышленности других стран, невысокими моторами. Это обстоятельство не могло не наложить известного отпечатка на тактику немецкой истребительной авиации. Как она сказалась в деталях, и пра-

вильна ли была эта линия, мы увидим при разборе некоторых боевых эпизодов.

\* \* \*

Воздушное сражение, начавшееся 22 июня 1941 года, продолжается и по сей день. Оно не имеет тех форм, которые принимали подчас воздушные сражения над Испанией, над степями Халхин-Гола и частию во время «воздушной битвы за Англию», над Лондоном. Те бои примечательны большим количеством самолетов с обеих сторон, сражающихся в одном месте и в одно и то же время. На Халхин-Голе бывали дни, когда в разыгравшейся воздушной схватке участвовало по 250—300 самолетов. Бой шел от самой земли до потолка самолетов, «столбом», распространяясь всего лишь на несколько километров в стороны. В нашей отечественной войне с немцами такие бои не наблюдаются. Но означает ли это отсутствие боевой активности истребительной авиации или такое уменьшение ее количества, что воздушные бои сделались явлением редким, случайным? Отнюдь нет! Воздушное сражение, происходящее над полями битвы отечественной войны, непохоже на все, что имело место до сих пор в боевой истории авиации потому, что оно происходит на колоссальном фронте, от Белого до Черного морей; простирается на многие сотни километров в глубину. Очаги этого сражения кажолпневно возникают повсюду: над скалами Кольского полуострова, над лесными чащами Карелии, над Финским заливом и Валдайской возвышенностью, над полями Украины и на подступах к Москве, над черноморскими волнами и в Донбассе. Каждый день в воздух поднимаются сотни самолетов, встречаются отдельными группами в жестких схватках. Обе стороны неустанно борются за господство в воздухе, которым должны быть надежно обеспечены боевые операции наземных войск.

Это сражение распадается на несколько периодов, обусловленных как временем и создавшейся на фронтах обстановкой, так и теми методами, с помощью которых достигались победы в воздушных боях. По времени, условно, все происшедшее в воздухе бои можно разделить на три группы. В первую входят схватки, характерные для лета и части осени прошлого года. Это был период успешных наступательных операций фашистско-немецких полчищ, обусловленных внезапностью вероломного нападения на Советский Союз и создавшимся в результате этого некоторым численным перевесом в силах.

Что происходило в это время в воздухе? Эскадры фашистских бомбардировщиков и истребителей, по сути дела начав войну, первыми ринулись на нашу страну, обрушивая бомбовые залпы на города, мирное население, наши аэродромы, коммуникации и войска передовой линии. Немцы пытались этим первым воздушным нападением устрашить советских людей, посеять панику, одним ударом сломить наше сопротивление. Наши доблестные соколы-летчики смело встретили воздушный напор врага, самоотверженно вступая с ним порой в неравные по силам схватки.

Тяжесть борьбы с немецкими пиратами для наших истребителей, помимо неожиданности нападения, усугублялась еще одним, крайне важным с тактической точки зрения обстоятельством. Дело в том, что совсем незадолго до начала войны многие наши истребительные полки получили новую материальную часть, как, например, отлично зарекомендовавший себя в последующих боях, скоростной и высотный МИГ. Всякое оружие, а тем более современное воздушное, требует известного времени для того, чтобы им овладели бойцы и со всем присущим им мастерством могли применять его в бою. Война же разразилась как раз в тот момент, когда период освоения новой материальной части многими летчиками еще не был закончен.

Для немцев это было лишним козырем в их авантюристической игре. И свою воздушную тактику они пытались строить так, чтобы возможно полнее использовать некоторые свои преимущества. Например, в первых воздушных боях немцы всячески старались перенести очаг схватки в нижние слои воздушной сферы, к земле. Их расчет был прост: МИГ — машина высотная, на бреющем полете она менее маневренна, развивает меньшую скорость. Однако уловка врага была быстро отпарирована. Наши летчики применили метод комбинированного боя. МИГи дрались с немцами на больших высотах, а в нижних ярусах врага встречали более маневренные истребители. Надо сказать, что последние, несмотря на свою кажущуюся по сравнению с мощным МИГом меньшую боеиспособность, во всех боях с немцами показали отличные качества. Подтвердим это примером. В первый день войны на Южном фронте одна из частей, входящих в группу полковника Галунова, вооруженная этими самолетами, сбивла в воздушных боях 13 фашистских машин, потеряв при этом только одну свою. За короткий срок ею было уничтожено 67 самолетов врага. Вспоминается один эпизод первых воздушных боев. Фашистского летчика, взятого в плен с одной сбитой машины, везли в тыл. Мимо пролетало звено наших истребителей с большими, нарисованными белой краской цифрами на рулях поворота. Фашист, завидев их, тревожно вжал голову в плечи и проводил звено испуганным взглядом. Позже, на допросе, он сказал:

— По нашей эскадре был приказ: встретившись в воздухе с советскими самолетами, у которых на хвосте большие цифры, — в бой не вступать, а немедленно уходить на свою территорию.

Признание фашиста, как нельзя лучше раскрывает всю тактику немецких «ассов», крепко получивших по зубам в первых же схватках. Свою наглость они очень быстро сменили на трусость, вежливо называемую их командованием «осторожностью».

В первых же боях выявились некоторые весьма интересные особенности современного воздушного боя. В империалистическую войну 1914—1918 гг. он характеризовался строгой индивидуальностью. Даже начатый в группах, он немедленно превращался в бой один на один, в хаотическую,

неуправляемую схватку. Он строился, главным образом, на маневре и схватках на самых коротких дистанциях, порядка 10—15 метров. Так как бой был индивидуальным, соотношение сил по количеству встретившихся самолетов не приобретало порою решающего значения. В бою сражались воздушные «рыцари». Ими никто не командовал, боем никто не управлял. Весь исход схватки зависел от опытности отдельных пилотов, а порою решающую роль в нем играла чистая случайность.

Уже многие бои над Испанией, Францией и Англией, а еще больше развернувшееся воздушное сражение в нынешней отечественной войне, внесли новые данные, которыми в известной степени характеризуются современный воздушный бой. Каковы эти данные? Сильно возросли скорости самолетов. Это исключило резкий маневр. После атаки машины разворачиваются с большим радиусом, за время разворота скоростной противник может уйти на значительное расстояние, а при недостаточном внимательном наблюдении и вовсе исчезнуть из поля зрения летчика. Эти значительно возросшие скорости изменили характер самих атак, предпринимаемых в современном воздушном бою летчиками обеих сторон. Атаки зачастую становятся безманевренными, прямыми или, как их иногда называют, «кинжальными». Не случайно, что на протяжении всей войны бои с применением фигур высшего пилотажа — явление чрезвычайно редкое. В особенности это заметно на немецких летчиках. Наши воздушные бойцы еще в первой фазе войны заметили, что немцы ведут бой преимущественно на пикировании или виражах. Такие фигуры высшего боевого пилотажа, как иммельманы или ранверсманы, фашистами не применяются. Это отчасти можно объяснить и некоторыми летными недостатками немецких истребителей. Многие из наших летчиков, которым довелось в ходе боев «попробовать» трофейные немецкие машины, свидетельствуют, что они тяжелы в управлении, утомляют в полете, неспособны к четкому высшему пилотажу. Вполне понятно, что в связи с этим немцы строят свои тактические приемы боя на упрощенном маневре.

Вторым примечательным фактором, изменившим характер современного воздушного боя, надо считать применение в нем мощных огневых средств. Борт нынешнего истребителя оснащен большим количеством не только пулеметного, но и артиллерийского вооружения. Стрельба основана на целом ряде расчетов, ведется с помощью различных прицелов. Огонь истребителя — мощный, сосредоточенный — заставляет летчика особым образом строить свои атаки, встречать своего противника пулями и снарядами на весьма больших дистанциях. Правда, во многих случаях этот огонь в силу неточности прицеливания, рассеивания и т. п. на значительном удалении цели от стрелка мало действителен. Но все же известная заградительная огневая зона создается, и не учитывать ее нельзя. Немцы в первых боях особенно часто прибегали к методу открытия огня с дальних дистанций, рассчитывая, видимо, с первых же секунд схватки поколебать решимость

наших истребителей, заставить их производить беспорядочные маневры. Железная стойкость и упорство наших летчиков, противопоставленные этому приему фашистов, всегда побеждали. Подойдя на близкое расстояние, на котором каждая пулеметная очередь, каждый пушечный снаряд убийны, наши летчики-истребители брали верх над немцами и если не сбивали их на месте, то вынуждали к позорному бегству с поля боя.

Конструктивная живучесть современных самолетов (не только истребителей, но и других типов) значительно возросла. Имеющиеся специальные прикрытия бензиновых баков, протекторное устройство их, уменьшают опасность при пулевых пробоях. Многие типы самолетов частично бронированы. Конструкция крыльев и фюзеляжа позволяет продолжать полет при наличии многочисленных пулевых пробоин, а иногда и пробоин от снарядов авиационных пушек. Несомненно, эти обстоятельства также сказались на особенностях воздушного боя. С одной стороны, высотные скорости и мощное бортовое вооружение, располагающее всевозможными боеприпасами (зажигательные, бронебойные, трассирующие), делают бой быстротечным; с другой,— живучесть самолета иногда затягивает схватку (в особенности при обоюдном упорстве сражающихся) вплоть до полного израсходования горючего или запаса патронов и снарядов, причем последнее привело в первые же дни войны к новому средству воздушного боя, неожиданному для немцев,— тарану. Но о нем мы подробнее скажем несколько позднее.

До начала отечественной войны в авиационных кругах многие считали, что будущие воздушные бои будут характеризоваться большими высотами, что они, в основном, найдут свое решение на потолке самолета, чуть ли не в той толще воздуха, которую называют стратосферой, или во всяком случае — в ее нижних слоях, т. е. на высоте 9 000—11 000 метров. Война наступила. Редкие бои возникали на этих высотах. Если они и происходили, то в большинстве случаев между истребителями-перехватчиками и бомбардировщиками. Истребители с истребителями обычно дрались на средних и малых высотах. Это, как мы уже говорили выше, зависело от тактики немецких летчиков. Летая на снабженных невесомыми моторами самолетах, они стремились перенести очаг боя в нижний ярус. Бой вели либо бреющим полетом, либо — при встрече с нашими истребителями на значительной высоте — немедленным пикированием с целью увлечь за собой вниз наших летчиков.

Наличие на бортах самолетов более совершенного пилотажного оборудования позволяло как атакующей, так и обороняющейся стороне для ведения воздушного боя широко использовать облачность. Владея слепым полетом, летчики могли скрытно подойти к намеченной цели, атаковать противника, прикрываясь облаками, в случае необходимости уходить в них, скрываясь из глаз неприятеля, и потом снова

появляться в очаге боя. Это применение к своеобразной местности в воздухе — к облакам, маскировка в них оказалась на целом ряде тактических приемов. Подкарауливание в облаках, внезапные атаки в окна разорванной облачности — это были наиболее излюбленные способы немецких летчиков-истребителей с самых первых дней войны. Часто их «Хе-113» применяли и такой метод. При низкой облачности они летели в нижнем слое облаков с таким расчетом, чтобы через них можно было рассматривать местность, ориентироваться и наблюдать за воздухом ниже себя. Сверху же они были надежно прикрыты непресматриваемой толщей облака. Когда их полет происходил над облаками, немцы опять-таки пускались на хитрость. Спрятав весь самолет в верхний слой облачности, они сверху, на чистом пространстве, оставляли лишь кабину машины. Этим приемом они делали свой самолет малозаметным, а сами могли наблюдать за воздухом довольно хорошо.

Наконец еще один важный фактор сыграл значительную роль в тактике современного воздушного боя. Речь идет о средствах связи и, в первую очередь, о радиостанциях, установленных на самолетах. Авиационная техника создала ряд приспособлений (наушники — телефон, ларингофоны и т. д.), при помощи которых стало возможно управление воздушным боем по радио и с земли, и непосредственно в воздухе. Практически в нынешней войне это позволило наводить истребители на воздушную цель с земли, командовать ими в воздухе с флагманской машины и т. д. А все вместе взятое решило вопрос о групповом воздушном бое. Правда, в первый период отечественной войны группового воздушного боя в чистом виде не было, но некоторые элементы его имели место с первых же воздушных схваток.

Наметилось деление дерущихся отрядов истребителей на ударную и скрывающую группы, наблюдались поиски наиболее удобного боевого порядка (строя) этих групп, который обеспечил бы в достаточной степени летчиков наблюдением за воздухом, взаимной поддержкой в бою, легко выполнимым маневром. Например, немцы широко культивировали в своей истребительной авиации полет строем, составленным из нескольких пар самолетов. Их «Ме-109» обычно появлялись, идя друг от друга на большом интервале (до 100—120 метров) и сравнительно малой дистанции, порядка 10—15 метров. Соседняя пара самолетов располагалась чуть выше и сзади, на интервале до 150 метров. В такой парной тактике был свой смысл. Идя этим строем, фашисты старались полнее обеспечить себе наблюдение за воздухом и, в особенности, за наиболее опасной для истребителя полусферой — находящейся за хвостом самолета. Обычно левый ведомый наблюдал вправо, а ведущий, наоборот, просматривал левый сектор. Большой интервал позволял без режкого маневра защитить хвост соседа от внезапной атаки истребителя. В случае опасности напарник ведущего сразу сокращал интервал и увеличивал дистанцию до 80—100 метров, дер-

жасть у него в хвосте и обороняя таким образом всю заднюю полусферу.

Мы привели несколько эпизодов, характеризующих особенности разыгравшихся с началом войны воздушных боев. Однако следует заметить, что все же, несмотря на размах боевых операций в воздухе, на появление целого ряда особенностей в тактических приемах борьбы истребителей с истребителями или с бомбардировщиками, вплоть до тактики боя большими группами, исход воздушных боев во многом зависел от индивидуального мастерства летчиков, от их умения, сочетать пилотирование и огневые средства своих самолетов со смелостью, отвагой, инициативой и выдержкой в бою.

Почти все схватки, начавшиеся групповым способом, немедленно переходили в бой один на один или два на один, причем немцы всегда предпочитали последнее и вообще входили в сражение только при явном своем преимуществе в количестве самолетов. Нам известны сотни фактов, когда наши славные летчики, самоотверженно дерясь с фашистами, шли в лобовые атаки и малыми силами одерживали крупные победы над многочисленным противником, били его во всех положениях и при любой воздушной обстановке. Повторять эти эпизоды здесь вряд ли нужно. Тактика наших воздушных бойцов все время совершенствовалась, оттачивалась в самом ходе боев. Наши летчики во время схватки с противником, одновременно с поражением большого количества его самолетов, пристально наблюдали за повадками фашистских летчиков, изучали их приемы, находили слабые места, а затем перестраивали свою тактику боя. Все это делалось не где-нибудь в школе или лабораториях, а тут же над полем битвы, на аэродромах передовой линии. Будет уместным в качестве показательного примера подобной боевой учебы привести опыт работы действовавшей на Юго-Западном направлении истребительной эскадрильи капитана Андреева. В первых боях с фашистами командир заметил, что не все летчики его подразделения с одинаковым мастерством сражаются в воздухе. Некоторые пилоты, не учитывая огневой силы противника, напрасно подставляли свои самолеты под пули, маневрировали вяло, заходили в атаку не с той стороны, откуда следовало бы заходить, зная слабые места вражеских машин. Капитан Андреев не ограничился одними словесными разборами этих боев. Он вместе со всеми летчиками подробно рассмотрел на занятиях, организованных между боевыми вылетами, применяемые немцами на этом участке фронта тактические приемы, используя трофейные немецкие самолеты (сбитые эскадрилей в предыдущих боях). Он подробно продемонстрировал, где находятся наиболее уязвимые их места, а потом над своим аэродромом провел несколько показательных учебных боев, «воюя» то в роли «Ме-109», то в роли летчика, пилотирующего тип самолета, находящегося на вооружении эскадрильи. Затем, планируя боевые вылеты, Андреев брал под свое личное наблюдение тех пилотов, которые были менее искусны в воз-

душном бою, известным образом опекая их во время схватки с противником. Результаты такой учебы не замедлили сказаться. Уже к концу второго месяца войны на счету летчиков эскадрильи было 26 сбитых немецких самолетов самых различных систем.

Воздушные бои с немцами в этот первый период времени были характерны большим напряжением сил всего летного состава нашей истребительной авиации. Изучая тактику и повадки врага, осваивая поступающие с самолетостроительных заводов новые типы машин, наши летчики дрались мужественно, самоотверженно. Борьба была серьезной, и многие огорчения приходилось испытывать нашим летчикам. Были известные потери. Но ведь война есть война. В боях закалялись и мужали наши летчики-истребители, с каждым днем все сильнее и сильнее организуя отпор фашистским воздушным армадам.

Немцы получали с каждым днем все более чувствительные удары. Их спесь была сбита. Они стали избегать полетов одиночными машинами или малыми группами. Их бомбардировщики стали появляться только в сопровождении истребителей. Фашистские хваленые машины «Ме-109», «Ме-110» и «Хе-113», быстро изученные нашими истребителями, гибли десятками. Всего за этот первый период времени немцы потеряли около 20 000 летчиков и штурмовиков. Значительное число их представляло собой лучшие кадры немецкой истребительной авиации. Но враг сосредоточивал на направлениях главного удара крупные авиационные силы, густо обеспечивал их своими истребителями, продолжал упорствовать в своем стремлении иметь полное господство в воздухе. Воздушное сражение шло с переменным успехом. Противник, имевший инициативу на земле, стремился всеми способами поддержать свои наземные войска и инициативой в воздухе.

\*\*\*

С началом осени воздушная война разгорелась с еще большей силой. В это время, убежденный в полном превосходстве своих сил, временно оккупировавших часть территории нашего Союза, гитлеровский главный штаб предпринял наступление на Москву. Естественно, что оно не могло не быть поддержанным авиацией. Для этого на западном направлении фронта были стянуты крупные авиационные соединения. В частности, здесь действовал и большой воздушный флот под командованием фашистского фельдмаршала авиации — Кессельринга. Этот период времени для других участков фронта знаменуется появлением в воздухе самолетов вассальных Германии стран — венгерских, итальянских, финских и т. д. Румынская авиация еще раньше действовала на южном фронте, весьма неудачно пытаясь противопоставить нашим истребителям свои устаревшие тихоходные типы ИАРов и «ПЗЛ-24». Итальянские пилоты преимущественно летали на Юго-Западном направлении, держась большими группами «Фиатов» под прикрытием немецких «Ме-109». Очевидно,

немцы все же не могли полностью доверить войду в воздухе на этом направлении итальянским фашистам и, как в пехоте держали сзади бросаемых в бой «национальных» частей своих эсэсовцев с пулеметами, так и в небе «поддерживали» действия «национальной» авиации своими боевыми машинами. Нашими летчиками зарегистрировано немало случаев, когда спускавшихся на парашютах со сбитых самолетов итальянских или венгерских пилотов немцы расстреливали в воздухе.

Ценой оголения других участков фронта германское авиационное командование стянуло на Западное направление, против Москвы, большие авиационные силы. С этого момента усилились и налеты с воздуха на нашу столицу. В отдельные дни количество немецких самолетов, пытавшихся бомбардировать город, доходило до 250—300 машин, шедших несколькими волнами, по 50—60 самолетов в каждом эшелоне. Нам хорошо известно это стремление немцев запугать население Москвы, поколебать стойкость советского народа и войск, действующих на фронте. Москва осталась Москвой, а воздушный флот фашистов понес серьезные потери. Достаточно сказать, что благодаря совместным действиям наших истребителей и зенитчиков немцы проникали к городу только одиночными машинами, оставляя на подступах к Москве после каждого налета десятки сожженных нашим огнем бомбардировщиков. Скажем, в обычный боевой день 27 октября из состава фашистской эскадрильи, направлявшейся к городу, было уничтожено 47 самолетов. Число внушительное и весьма показательное для действий немецкой авиации, которая ценой любых потерь стремилась хоть чем-нибудь помочь своим наступающим на Москву наземным войскам.

Все осенние месяцы — октябрь, ноябрь — примечательны большим напряжением боевой деятельности в воздухе с обеих сторон. Надо сказать, что к этому времени в приемах воздушного боя уже с достаточной ясностью выкристаллизовался новый способ борьбы с вражескими самолетами, навешивающий ужас на фашистов. Речь идет о воздушном таране. Впервые в истории авиации он был применен русским летчиком Нестеровым в дни первой империалистической войны. Несколько случаев тарана было зарегистрировано в воздушных боях в Испании и на Халхин-Голе. В нынешней же отечественной войне он получил широкое распространение, явившись едва ли не массовым способом борьбы в руках наших советских летчиков. Сейчас трудно установить, кто первый применил таран в этой войне. Известно, например, что еще 22 июня прошлого года в воздушном бою с немцами, разыгравшемся над одним нашим аэродромом, летчик Бутелин, израсходовав весь запас боеприпасов и сбив два немецких самолета, отважно таранил третий и погиб смертью храбрых, уничтожив еще один вражеский самолет вместе с его экипажем. На таран наши летчики идут, не очертя голову, не так, как пробуют изобразить это присяжные фашистские писакы, характеризую этот смелый и самоотверженный способ борьбы,

как порыв отчаяния. Нет! Наши летчики-истребители применяют таран только после того, как весь боевой комплект патронов и снарядов израсходован, а воздушный бой еще не закончен, еще надо драться с противником.

Таран — слово морского происхождения. Оно означает — удар живой силой своего корабля по кораблю неприятеля. Анализируя все происшедшие случаи воздушного тарана, следует сказать, что под ним подразумевается поражение противника не только живой силой самолета, но и другими средствами, которыми он располагает сам по себе, без действия бортовых орудий. Таран в воздушном бою — особый прием, основанный отнюдь не на мощи удара атакующего, а на его летном мастерстве, тонком пилотаже в самой сложной воздушной обстановке. Можно назвать десятки имен наших летчиков, осуществивших таран в нынешней войне. Бутелин, Здоровцев, Талалихин, Зайцев, Лукьянов, Терехин, Сероштан, Мартищенко, Зосимов, Катрич, Уваров, Андреев, Киселев и многие другие таранили вражеские самолеты различных систем, применяя каждый свой способ. Некоторые таранили дважды. Иногда это был удар плоскостью своего самолета по какой-либо части неприятельской машины. Иногда это было обрушение винтом хвостового оперения у вражеского бомбардировщика или истребителя. Реже таран осуществлялся лобовым ударом. Суммируя весь накопленный опыт, можно подразделить таран на три основных вида. Самый несложный с точки зрения техники выполнения, но безусловно опасный для жизни атакующего — это таран прямым ударом. С помощью подобного ударного тарана противник уничтожается в воздухе одной массой атакующего самолета. Меньшую опасность для нападающего представляет таран «чирканьем», частичный. В этом приеме летчик старается ударить по жизненной части вражеской машины какой-либо одной частью своего самолета — крылом, стойкой шасси и т. д. Отламывая у противника часть плоскости, стабилизатор или просто нарушая центровку машины врага, истребитель старается этим сделать неприятельский самолет неуправляемым и свалить на землю. Третий, более распространенный, но требующий, наряду с отвагой, высокого летного мастерства, — это таран безударный, при котором самолет противника разрушается лишь с помощью легкого контактирования обеих машин. Обычно при этом способе атакующий делается жертвой после «отрубания» ответственных частей его самолета винтом нападающего. Это способ, как мы уже упоминали, немцам без тонкого пилотажного мастерства атакующего, ибо хотя подобная атака и весьма скоротечна, но все же распадается на ряд последовательных приемов; ошибка при выполнении каждого из них может привести к неудаче.

Оба самолета идут на высоких скоростях, перемещаясь в пространстве в каждую секунду на 130—150 метров. И та и другая машина маневрирует. Надо уловить момент, чтобы «рубнуть» винтом противника, успеть отвалить в сторону и



остаться невредимым, надежно поразив своего врага. Опыт многих истребителей «таранщиков» подсказывает, что наилучшим способом в этом виде тарана является подход к противнику сзади. Уравняв скорость своего самолета со скоростью неприятельской машины, атакующий слегка поворачивает, целясь винтом по хвостовому оперению вражеского аппарата. Как только почувствуется легкий удар, надо немедленно отваливать в сторону. В этом кратко рассказанном приеме есть ряд чисто технических моментов (как и когда убрать газ, на каких оборотах должен работать мотор, с какой стороны подходить к атакуемому самолету, в какую сторону, вверх или вниз, осуществлять уход и т. д., и т. п.), которые вряд ли могут интересовать широкий круг читателей. Во всяком случае надо сказать, что десятки проведенных нашими летчиками воздушных таранов показали: враг их боится, ибо каждый таран кончался, как правило, гибелью вражеского самолета со всем его экипажем, наши же летчики в подавляющем большинстве случаев выходили из атаки невредимыми и их машины нуждались в очень несложном и коротком по времени ремонте. Обычно он сводится к замене винта. Однако было бы ошибочным считать, что таран — это новый, единственный способ воздушного боя, который в будущем сможет заменить собой пулеметно-пушечный огонь истребителей. Это неверно. В бою метким, прицельным огнем можно поразить за один вылет несколько (а не один) вражеских самолетов. Таран наши летчики применяли и будут применять лишь в тех случаях, когда на их машинах в ходе боя иссякнет боекомплект, а поразить врага нужно будет какой угодно ценой.

В осеннем периоде воздушного сражения немцы ввели в действие свои новые самолеты. Это был истребитель «Me-115», который сначала появился под Ленинградом, а потом и под Москвой. Что это за самолет? По сути дела, это не какой-то новый, оригинальной конструкции, истребитель, а известным образом модернизированный вариант не раз битого нашими летчиками «Me-109». Фашисты поставили на эту машину более мощный мотор, несколько «зализали» детали машины, улучшив этим ее аэродинамические качества и повысив скорость. Сделали и некоторые перестановки вооружения, снабдив самолет скорострельной пушкой. Однако допрежнему на этом улучшенном варианте фирмы мотор был невысокий и, хотя самолет имел солидный потолок (более 11 000 метров), маневрировать и вести воздушный бой на высотах фашистские летчики не могли.

Немцы очень осторожно вступали в бой на «Me-115». Их обычно пилотировали старые, уже имеющие боевой опыт летчики, но и они, как правило, ввязывались в воздушную схватку лишь в том случае, если на их стороне было очевидное превосходство в силах и положении в воздухе. Но даже, когда силы были равны, «Me-115» норовили уйти или держаться в стороне, уступая место для боя «Me-109». Это весьма показательно для тактики врага. Желая

создать впечатление исключительной мощности своих новых истребителей, фашисты старались нападать вдвоем или вчетвером на один наш самолет. Стоило лишь вынудить их к открытому бою на равных условиях, и «короли воздуха» после нескольких атак горели, сбитые нашими МИГа, ЛАГГа или Яками. Вот два типичных примера боев с «Me-115», проведенных одним нашим летчиком на Западном фронте. Однажды командир эскадрильи капитан Даргис барражировал с группой МИГов над станцией выгрузки войск. К концу патрулирования он отбил налет двух эшелонов «Юнкерсов». Одному из самолетов третьей волны бомбардировщиков, пришедших в сопровождении истребителей «Me-109», удалось сбросить большую бомбу в район станции. Боеприпасы у Даргиса кончились. Он решил итти на таран. Догнав фашистский самолет и ударив его крылом своей машины по хвостовому оперению, Даргис заставил его пойти штопором к земле, но и сам на мгновение потерял сознание. Придя в себя, он увидел, что ему «на хвост» надели два незнакомых по типу вражеских истребителя. Это и были «Me-115», до сего времени не вступившие в бой. Находясь выше, они все время следили за ходом схватки и теперь спешили воспользоваться легкой добычей. Пикируя, они навалились на Даргиса всем своим огнем и подожгли его машину. Даргис успел приземлить горящий самолет в лесу, выскочил из кабины и остался невредимым, хотя оба «Me-115» дважды прошли над местом посадки, обстреливая его из пулеметов.

Вторая встреча капитана с новыми немецкими истребителями произошла при других обстоятельствах, и он дал достойный реванш врагу. Барражируя со своим звеном над линией фронта, Даргис заметил выше и сзади себя две точки. Круго развернувшись, он пошел к ним на встречном курсе. Случилось так, что на развороте один из ведомых несколько оторвался от капитана и остался ниже. Увидев атакующих два МИГа, фашисты попытались избежать лобовой встречи и свернули в сторону. Даргис узнал в них «Me-115». Это были совершенно новенькие, блистающие краской машины с пиратскими крестами и стального цвета свастики на плоскостях и хвостовом оперении. Очень похожие на «Me-109», они отличались более толстым, сигарообразным фюзеляжем и резко очерченным хвостом. Даргис быстро сблизился с врагом и дал длинную, змейкообразную очередь. Подбитый фашист тут же пошел к земле, а напарник, последовавший было за ним, был тут же атакован внизу младшим лейтенантом Родионовым.

Ряд воздушных схваток с новым типом немецкого истребителя еще больше подтвердил, что современный воздушный бой весьма скоротечен. Если он и завязывается между группами самолетов, то сразу переходит в бой между преследующим и уходящим. Длительного воздушного боя с большим количеством атак и использованием различного рода фигур высшего пилотажа и в этих встречах с противником не отмечалось. На «Me-115», повидимому,

учитывая эту особенность боя, немцы еще больше придерживались «парной» тактики, пытались отклонить во время схватки своими двумя самолетами одну нашу машину, «заклатить» ее между своими и таким путем добиться успеха. Маневренность наших истребителей, их взаимная выручка не раз спасали положение, и битыми оказывались фашисты.

В этот очень напряженный период воздушных боев немцы пускались на всякого рода уловки и хитрости, чтобы превосходящими силами одержать победу. Зная золотое правило наших летчиков-истребителей всегда спешить на выручку товарищу, фашисты нередко прибегали к такому коварному приему. Придя довольно значительной группой истребителей к линии фронта, они разбивались на две части и завязывали между собой «воздушный бой». Подобная имитация была рассчитана на то, что пролетавшие мимо наши истребители обязательно подойдут ближе, чтобы помочь попавшему в беду товарищу. Излюбленными приемами фашистов были и разного рода ложные падения вниз «листом», штопором и т. д. Маскируя этим свой выход из боя, немецкие летчики, снизившись до бреющего полета, отходили несколько в сторону, а потом вновь набирали высоту, стараясь незаметно напасть на наших летчиков. Использование солнца и облаков для осуществления внезапности нападения также продолжало иметь место. Но во всем поведении немцев теперь все чаще и чаще стала проскальзывать некоторая опаска.

За первые месяцы войны фашистская авиация понесла большие потери. Гитлеровское командование убедилось, что воздушная война с советскими летчиками дело опасное, трудное, что некоторое превосходство в воздухе создается немцами воздушным флотом ценою огромных усилий. Советская авиация оказалась сильнее, смелее, выносливее и гораздо боеспособнее, нежели немецкая. Целым рядом приказов Геринга и Гитлера в их воздушных сляках стал вводиться некоторый новый порядок. Гибель многих, ранее прославленных, фашистских летчиков вызвала, например, распоряжение, по которому старший командный состав авиации, начиная от майора и выше, не имел права подняться в воздух без особого на то распоряжения. Среди рядового состава, в особенности, истребительной авиации, стали широко распространяться своеобразные «памятки» о тактике советских летчиков. В записных книжках сбитых нами фашистских летчиков рядом с личными заметками начали появляться рисунки наших самолетов, схематические изображения отдельных положений, могущих возникнуть в воздушном бою, и т. п. Эти и многие другие факты красноречиво говорили, что немецкая авиация ищет каких-то новых путей в своей борьбе за превосходство в воздухе. Но оно с каждым днем ускользало из рук фашистов. Собранные под Москву гитлеровские полчища заколебались под мощными ударами частей Красной Армии. Начался разгром врага и на земле и в воздухе. Бросая военное имущество, орудия, танки и самолеты, оставляя тысячи убитых и су-

дорожно цепляясь за промежуточные рубежи, немецкая ударная группировка стала откатываться назад, на запад. В воздухе явно наметился перевес сил в нашу сторону. Наша авиация накопила огромный боевой опыт, получила на вооружение новые типы мощных истребителей и бомбардировщиков. Кадры наших авиационных частей были крепки духом, воевали мастерски и отважно. За осенние месяцы немцы лишились нескольких тысяч боевых самолетов вместе с экипажами. В воздушных боях и во время ударов по вражеским аэродромам наша авиация выбила более 10 000 фашистских пилотов, штурманов, воздушных стрелков. Этот колоссальный урон сильно подорвал боеспособность немецкого воздушного флота. Отказавшись от наступательных операций, он перешел к обороне. Воздушное сражение вступило в новую фазу, отличительной чертой которой было уверенное завоевание превосходства в воздухе советской авиации и ее истребительных подразделений в первую очередь.

\* \* \*

Разгром немцев под Москвой по времени года совпал с началом холодов. Не рассчитывая, видимо, на столь сильное затягивание войны, гитлеровский главный штаб, планируя свои «блиц-операции» во многом не учел русской морозной зимы. От нее в меньшей степени, чем наземные войска, терпел и их воздушный флот. Гитлеровское командование не обеспечило действующие части своей авиации необходимым специальным оборудованием и инвентарем. То немногое, что было в запасе, оно направило, в первую очередь, на северный участок фронта. Действующие же южные эскадры и отряды должным образом обеспечены не были. Кроме того, фашистский состав не имел достаточного опыта в ремонтной и эксплуатационной работе в условиях погоды с низкими температурами. Многие немецкие самолеты по своим конструктивным особенностям также оказались непригодными для полетов во время сильных холодов. Такой самолет-истребитель, как «Хейнкель-113», в свое время хвастливо провозглашенный немцами «королем воздуха», на ряде участков фронта совсем не мог подниматься в воздух. Его охлаждательная система, состоящая из сети шарообразных трубок, замерзала в полете, приводя летчика к вынужденным посадкам, или вовсе отказывала еще на земле.

Сильно потрепанный, потерявший значительную часть своего самолетного парка и личного состава, германский воздушный флот с первых же недель зимы резко сократил количество вылетов. Боевая деятельность немецкой авиации в это время отмечена малой интенсивностью, почти полным отсутствием групповых полетов. Гитлеровскому командованию, не рассчитывавшему на воздушную войну в зимних условиях, пришлось значительно количество своей авиации оттянуть на тыловые аэродромы, создать там учебные центры для тренировки летчиков, пытаться провести ряд мер для перестановки самолетов с колесных шасси на лыжи. На линии

фронта были оставлены лишь небольшие воздушные заслоны из более опытных летчиков. Все это вынудило немцев значительно сузить размах боевых действий. Проникновение фашистских самолетов за линию фронта стало явлением довольно редким. Но и пролетавшие иногда одиночки, видимо, разведчики, придерживались на своих маршрутах ясно заметных ориентиров. Фашистские штурманы боялись отойти от них далеко в сторону, чтобы не потерять ориентировку. Чаще всего немецкие летчики появлялись в воздухе в погожие, ясные дни. В ненастье, в начале зимы, немецкая авиация на ряде участков фронта не вылетала вовсе. До тех пор, пока основная масса фашистских летчиков не прошла переподготовки на тыловых аэродромах, наиболее напряженными, в смысле размаха действий, были южные участки фронта, как, например, Крым. Немцы старались использовать сравнительно теплую погоду в том районе, чтобы показать, что их авиация существует. К концу зимы фашисты перебросили часть своих воздушных сил на прифронтовые аэродромы и попытались поспорить о превосходстве в воздухе. Советская авиация сразу же дала им должный отпор и в воздушных боях и ударами по аэродромам. Инициатива в воздухе осталась за более опытными и умелыми советскими летчиками, прекрасно справляющимися с трудностями зимней боевой работы в воздухе.

Дело в том, что наши летчики, инженеры и техники из года в год обогащались опытом эксплуатации и ремонта самолетов и моторов в полевых условиях в холодное время года. Этот опыт за последнее до войны время еще более пополнился теми наблюдениями и выводами, которые сделала для себя наша авиация после многих полярных перелетов и за время боевых действий на советско-финском фронте. Прекрасные, безотказные моторы наших талантливых конструкторов гг. Швецова и Микулина с различными принципами охлаждения — воздушного и жидкостного — уже давно рекомендовали себя, как выносливые и приспособленные для любых условий. Кроме того, наши воздушные эскадрильи и полки были заранее обеспечены необходимыми средствами обогрева (специальные лампы для моторов воздушного охлаждения) или подогрева воды и масла (для моторов жидкостного охлаждения). В охлаждающую систему последних зачастую наши механики заливали незамерзающую при очень низких температурах специальную жидкость. Там же, где по условиям базирования этих приспособлений не было, наш технический состав широко использовал различные подручные средства в виде оборудованных своими силами походных водонагревателей, печей, устанавливаемых под мотором и прикрываемых палатками, и т. д.

Работа механиков, безусловно, отличалась большими трудностями, но всегда, при любых условиях погоды, наши истребители были своевременно подготовлены к вылету и выходили в воздух в точно назначенное командованием время. Низкие температуры, как известно, влияют не

только на работу моторов, пилотажного и навигационного оборудования. Сложное стрелковое вооружение в зимних условиях требует особенно тщательного ухода за собой. Так, если авиационный пулемет будет недостаточно хорошо протерт перед вылетом, в воздухе, на высоте нескольких тысяч метров, хотя бы даже дело происходило летом, он может отказать при стрельбе. Чтобы полностью гарантировать пилота, вылетающего в воздушный бой, технический состав службы вооружения перед полетом снимал главнейшие агрегаты оборудования самолетов, в землянках-теплянках удалял с них излишнюю смазку, промывал в специальных растворах и затем снова устанавливал их на боевые машины. Нашим авиачастям в течение зимы пришлось затратить много сил и труда и на оборудование самих аэродромов. Глубокие снега, сугробы делали летную работу на колесных шасси невозможной. Помимо расчистки взлетных полос требовалась еще и укатка их специальными катками с тем, чтобы утрамбовать снег до определенной нормы плотности, способной выдержать тяжесть самолета и не дать ему провалиться на взлете или при посадке. Немало хлопот в зимние месяцы доставляла и необходимость маскировки самолетов и специального транспорта. Летом замаскировать аэродромы значительно легче, чем зимой. В зимнее же время года на белом фоне самолеты и автомашины выделяются весьма заметными пятнами. Нужно было неослабно следить за окраской самолетов под фон местности, окружать стоянки машин снежными стенками, чтобы обезопасить материальную часть от поражения пулями или осколками во время атак аэродромов неприятельской авиацией, укрывать от взора воздушного наблюдателя противника свои самолеты в лесу или кустарнике, проделывая к ним в сугробах специальные проезды для бензозаправщиков и автомобилей, подвозящих горячую воду и масло для заправки моторов. Все это были трудоемкие, довольно сложные работы, которые, однако, полностью окупили затраченный труд. Немецким разведчикам лишь в редких случаях удавалось разыскать, и то после многих рейсов, тот или другой наш аэродром.

Благодаря самоотверженной, энергичной и вдумчивой работе командиров, летчиков и техников, наши эскадрильи были обеспечены скрытным рассредоточенным базированием. Этого как раз нельзя сказать о немецких авиационных частях. Они преимущественно скапливались на считанных аэродромах, у немцев нехватало сил и времени маскировать свои самолеты, для взлета и посадки они прочищали узенькие полосы (и то силами населения оккупированных районов) и развивать активную боевую деятельность не могли. Наши летчики, вскрывая эти базы фашистов, неизменно обрушивались на них мощным ударом и уничтожали значительное количество самолетов, боеприпасов и личного состава.

Большая приспособленность нашей авиации к боевой деятельности в зимних условиях сказалась не только в четкой

работе по подготовке материальной части к боевым полетам, но и в самом ходе воздушных боев. Мы уже говорили, что ряд причин (огромные потери, условия зимы, отвод частей на тренировки и переформирование) заставили немцев сузить размах своей воздушной деятельности. Однако к концу зимы на отдельных участках фронта с их стороны наметилась попытка активизироваться. Чем характерны воздушные бои этого периода времени? Заметно опасаясь встреч с нашими истребителями, фашисты стали предпринимать боевые операции большими группами самолетов, чтобы силой пробиться через наши воздушные патрули к намеченным для нападения объектам.

Поскольку действия вражеской авиации были ограниченными, преимущественно направленными против наших наземных войск, перед истребителями во всю ширь встала задача организации патрулирования над линией фронта. Большинство воздушных боев, протекавших в конце зимы, возникало из встреч наших барражирующих истребителей со значительными по силам группами немецких самолетов. Обычный итог этих боев ярко виден хотя бы на известном примере боя семи наших истребителей под командованием капитана Еремина с двадцатью пятью «Юнкерсами» и «Мессершмиттами», закончившегося полной победой наших летчиков, сбивших семь немецких машин, но потеряв при этом ни одной своей. Дело происходило 3 марта на Юго-Западном направлении фронта. Патрулируя над линией фронта на прекрасных самолетах-истребителях «Як-1», наши летчики заметили приближающийся отряд неприятеля. Самолеты врага шли плотным строем, состоящим из семи «Юнкерсов» и восемнадцати «Ме-109». Немцы спешили на помощь своим наземным войскам. Они собирались бомбить нашу пехоту с пикирования. Им важно было задержать продвижение наших войск, заставить их залечь в укрытия, снизить темп наступления. А тем временем немецкие автоматчики и пехотинцы привели бы себя в порядок, перегруппировались и даже, может быть, пошли в контратаку.

Командир эскадрильи капитан Еремин подал сигнал: «К бою!» Руки летчиков легли на гашетки пулеметов и приводоз артиллерийского вооружения самолетов. Немцев было в три с лишним раза больше. На их стороне было больше возможностей для маневра. Каждый из немецких бомбардировщиков, помимо бомб, нес на себе несколько пулеметов. Самолеты сближались. Первым открыл огонь лейтенант Седов. Он бил по головному «Юнкерсу», в лоб. Шестой снаряд угодил в баки с горючим, и немецкая машина, польнувшись огнем, рухнула вниз. Дерзкая атака семерки истребителей ошеломила немцев. Гибель второго бомбардировщика, сбитого прицельным огнем лейтенанта Скотного, окончательно испугала фашистских летчиков. «Юнкерсы» круто развернулись и взяли обратный курс. Капитан Еремин рассчитал правильно. Первую атаку своей группы он направил на бомбардировщиков, чтобы с первой секунды боя взять инициативу в свои руки. Его замысел раско-

лоть вражеский отряд пополам и бить его по частям блестяще оправдался. Бомбардировщики противника были сразу изгнаны. Но теперь в бой вступили немецкие «Мессершмитты». Их было восемнадцать против наших семи.

Немцы попытались окружить отважную семерку, зажать ее в кленцы. Но с первой же очереди командир эскадрильи поджег один «Ме-109»; второй загорелся, полав под струю огня, направленного лейтенантом Саломатиным. И снова немецкие летчики раскололи строй. Теперь бой завязался сразу в нескольких местах. Фашисты все время норовили зайти в тыл нашим истребителям. Но семь летчиков держались друг друга. Как только фашист пытался перейти в атаку, его сразу отрезвляла пулеметная очередь спешащего на выручку товарищу соседнего истребителя. Еще три «Ме-109» пылающими факелами зашторили к земле. И, наконец, немцы не выдержали. Спасая шкуры, они расползлись по небу. Кто бросился вверх, к спасительным облакам, кто уходил по прямой, кто, стараясь слиться с фоном местности, прижимался к земле брелоющим полетом. Семь советских летчиков в этом неравном бою победили своей отвагой и умением. Уничтожив из двадцати пяти фашистских машин семь, они очистили небо над полем боя. Наша пехота тем временем уже ворвалась в населенный пункт и завязала победный уличный бой с отступающими фашистами. А капитан Еремин, собрав свою эскадрилью, повел ее на аэродром. Свою задачу воздушный патруль выполнил блестяще.

Вслед за боем эскадрильи Еремина на том же участке фронта разыгрался другой. Немцев опять было больше. Их встретил патруль из шести самолетов под командованием майора Бухалова. Двадцать минут продолжалась яростная схватка. Немцы потеряли в ней три машины и ни с чем вернулись восвояси. А свои бомбы они вынуждены были, чтобы облегчить самолеты для бегства, сбросить на головы своей же пехоте. В те же дни на Карельском фронте наш воздушный патруль преградил путь финским «Фоккерам», собиравшимся штурмовать наши войска. Не могла фашистам и их бронированные кабины. Со второй очереди, выпущенной старшим политруком Файерманом, загорелся вражеский самолет. Его напарник брелоющим пошел над лесом. Заметив улетающего «Фоккера», в нагон пошел лейтенант Сорокин. В бою у Сорокина кончились боеприпасы. А «Фоккер», поблескивая крыльями, уходил все дальше и дальше. Тогда лейтенант принял смелое решение.

— Иду на таран,— донес он по радио своему командиру и, дав полный газ, устремился к врагу. Преследование шло на брелоющем полете, в полутора десятках метров от верхушек сосен. Сорокин нагнал «Фоккера» и отрубил ему хвостовое оперение. Вражеский самолет мгновенно клюнул носом, врезался в болото и через две-три секунды взорвался.

Через несколько дней под Ленинградом семерка истребителей лейтенанта Белова сбила одиннадцать вражеских самолетов,

не потеряв ни одного своего. На Калининском фронте пять наших самолетов под командой капитана Дохова преградили путь большой группе немецких бомбардировщиков и истребителей. Заговорили пулеметы и пушки. Воздух наполнился яростным ревом моторов. Дерзкая атака пятерки советских истребителей заставила немцев поспешно бросать бомбы на свои же войска. Но в это время на горизонте появились еще десять фашистских самолетов. Это была резервная группа немцев. Изгибаясь в крутых боевых разворотах, наши истребители не давали врагу передохнуть ни секунды. Слитые одной волей к победе, бесстрашные летчики двадцать пять минут держали врага под беспрестанными атаками. Бой шел на глубоких виражах, крутом пикировании, сложных вертикальных фигурах. Мастерское владение своими боевыми машинами, умелая тактика, меткий огонь, решили исход схватки. Нервы немцев не выдержали и, несмотря на свое численное превосходство, они бросились в спясть. Одна за другой загорались вражеские машины и камнем летели вниз. Наши летчики, преследуя поврежденные самолеты врага добивали их у самой земли. Воздушный патруль капитана Дохова сжег пять немецких самолетов и еще два серьезно подбил. С нашей стороны потерь не было.

Подобными эпизодами примечателен весь конец зимы. Фашисты попытались возобновить свои налеты на Ленинград и Москву. В первых числах апреля более 100 немецких самолетов несколькими эшелонами попробовали пробиться к военным объектам Ленинграда. Из этой затеи ничего не получилось. Более 20 машин было сбито на подступах к городу. Бомбы сбросили лишь отдельные прорвавшиеся экипажи, не нанеся нам серьезного ущерба. В это же время немецкое командование предприняло ряд операций по снабжению своих окруженных гарнизонов с помощью транспортных самолетов. Под одной только Старой Руссой они каждодневно теряли десятки машин. Потери немецкой авиации за этот период активизации ее действий — огромны. За месяц воздушных боев она лишилась 1103 самолетов. Вряд

ли нужно комментировать столь солидную цифру потерь.

\* \* \*

Воздушное сражение продолжается. Воздушные бои показали, какой прекрасной выучкой, летным мастерством и отвагой владеют кадры нашей истребительной авиации, насколько они превосходят немецких пилотов. Вражеская авиация понесла колоссальные потери. Основные кадры немецкой авиации погибли. Части своих воздушных сил фашистское командование вынуждено пополнять молодыми, наименее обученными пилотами. Оно предполагает модернизировать свой самолетный парк, поговаривая о выпуске новых самолетов-истребителей под марками «Юнкерс-188» и «Мессершмитт-210». Вряд ли появление этих машин отразится сколь-нибудь существенным образом на дальнейшем ходе воздушных боев. По крайней мере в майских воздушных сражениях, которые характерны некоторыми особенностями, появление этих «новых» немецких самолетов не зарегистрировано.

За май, в дни которого заметно возросла воздушная активность фашистов они потеряли 1336 боевых самолетов. Добрая половина их уничтожена нашей истребительной авиацией в воздушных боях. Они примечательны крупными столкновениями в воздухе, когда с обеих сторон одновременно появилось по 25—30 самолетов. Такое массирование авиации на узких участках фронта несомненно повлекло за собой повышение удельного веса групповых воздушных боев. Стала выработаться новая, несколько отличная от прошлых месяцев войны, тактика ведения воздушного боя. Наши летчики знают, что враг еще не добит, что его авиация существует, что с ней нужно упорно и настойчиво драться. Возмужав и закалившись в прошедших боях, они готовы к новым схваткам в воздухе, которые несомненно принесут нам окончательную победу над врагом.

Действующая армия.

## Семьдесят пять лет тому назад

### ИЗ «ТВЕНИАНЫ»

Если взять старый комплект «Николаевского вестника», провинциальной южной газеты, выходившей два раза в неделю в городе Николаеве, то в номере от 22-го августа 1867 года можно найти корреспонденцию из Ялты от 14-го числа того же месяца, в которой сообщается, что 13-го августа в Ялту прибыл американский двухтрубный пароход. «Никто не знал зачем и с кем он пришел,—пишет корреспондент.— Час спустя посланный с берега баркас сообщил, что на нем прибыли кругосветные путешественники и путешественницы из Америки.. В бухте нашей в настоящее время три парохода — «Тигр», «Казбек» и американский, названия которого, а равно внутреннего устройства мы еще не успели узнать, по случаю сильного волнения моря...»

Не обошлось без недоразумения. В следующем своем сообщении, помещенном в этом же номере николаевской газеты, корреспондент пишет: «За несколько времени пред этим здесь носились слухи о намерении знаменитого американского генерала Шермана посетить наш край. Как только пароход стал на якорь, с императорской яхты «Тигр» (на «Тигре» только что прибыл с кавказского побережья наместник Кавказа великий князь Михаил Николаевич — А. С.) и с парохода «Казбек» были посланы шлюпки с офицерами для поздравления дорогих гостей с приходом.»

Шермана на пароходе не оказалось, должно быть, к немалому разочарованию моряков, приехавших приветствовать знаменитого генерала и нашедших вместо того группу ничем не примечательных кругосветных путешественников. Мы теперь не можем разделять их огорчения, так как знаем, что в числе туристов находился молодой американский журналист Сэмюэль Клеменс, по милости которого и «двухтрубный пароход» и «кругосветные путешественники» получили литературное бессмертие. Хотя Клеменс уже пользовался у себя на родине некоторой известностью,

как начинающий писатель-юморист,— он писал под псевдонимом «Марк-Твен» — в России о нем никто еще не слышал и его не выделили из круга других пассажиров. По крайней мере об этом не осталось никаких свидетельств.

Американский пароход пришел в Ялту из Одессы через Севастополь. Если бы редактор николаевской газеты был внимательнее, он не дал бы своему ялтинскому корреспонденту предаваться размышлениям по поводу названия парохода и возможного присутствия на нем американского генерала. Четырьмя днями ранее в «Николаевском вестнике» сообщалось о прибытии 10-го августа на одесский рейд «великолепной паровой американской яхты «Квакер Сити», вместимостью в 1600 тонн, с 70-ю пассажирами 1-го класса, состоящими из банкиров, негочантов докторов, и проч., с их семействами, прибывшими сюда из Америки». Пароходы с американскими туристами на южном побережье не были частым событием и догадаться, что прибывший в Ялту пароход был «Квакер Сити» было нетрудно.

Итак, в Ялту прибыл пароход «Квакер Сити». Каждому кто знает «Простаков за границей» Твена, читать об этом на страницах газеты как-то странно. Это похоже на то, как если бы мы прочитали, что прибыл жюль-верновский «Дункан» с Паганелем и детьми капитана Гранта. В действительности, книга Твена составила из путевых писем, которые он посылал в сан-францискую газету «Альта Калифорния». В качестве специального корреспондента этой газеты он выехал 8 июня 1867 года на «Квакер Сити» из Нью-Йорка. Побывав во Франции, Италии, Греции и Турции «простаки» прибыли в Россию. Мы «вошли» следовательно в книгу Твена, в начале второй ее части.

Изображение последовавших событий находим в «Одесском вестнике», имевшем, как сказано, в Ялте «бойкое перо». Обширная корреспонденция «бойкого пера» была напечатана 24 августа двумя днями позд-

нее, чем в николаевской газете. Приводим ее с начала:

«13-го августа ровно в полдень вступил на наш рейд массивный двухтрубный пароход под американским флагом, и бросив якорь, вблизи императорской паровой яхты «Тигр», сделал выстрел из орудия. Минуты через три после этого вызова уже были на борту «Quaker City» (название американского парохода) командир Таврической пограничной стражи, полковник Варпаховский, с одним обер-офицером того же ведомства и чиновником таможи. Эти официальные посетители были встречены владельцем парохода г. Лири, капитаном его г. Денкеном, американским консулом в Одессе г. Смитом и всеми туристами, в числе 24 дам и 42 мужчин, — самым восторженным образом. После приветствий, выраженных с живою радостью, в самых теплых сочувственных словах, заатлантические друзья наши тут же закрепили новое знакомство бокалами шампанского, и через 5 минут выслали на берег депутацию к его высокопревосходительству и начальнику края генерал-адмиралу Коцебу для исходатайствования дозволения иметь высокую честь быть представленными в Ливадии тому монарху великой нации, которого их соотечественник г. Фукс в прошлом году в Москве назвал: могущественным владыкой над сердцами своего народа. Когда воспоследовало соизволение государя императора, очастливленные депутаты возвратились на пароход. Вечером шесть американцев посетили наш клуб, где каждый из бывших в нем членов поспешил им заявить чувства радости и признания лучшим друзьям русского народа, своим ровесникам в подвигах доставления человечеству прав свободного труда. Объяснения шли большею частью на французском, но и звуки русской речи, видимо, достигали их сердец...»

Чтобы объяснить быстрее «соизволение» Александра II принять приехавших американцев, а также гражданский пафос корреспондента, нужно сделать несколько замечаний. В 1865 году закончилась война Севера и Юга в США, в результате которой были освобождены негры-невольники. Царское правительство по внешнеполитическим мотивам поддерживало Север против рабовладельческого Юга и потому излюбленной темой русско-американских формально-дипломатических любезностей было сравнение отмены крепостного права в России и освобождения негров в США. Российский самодержец очень мало походил на президента Линкольна. Выдающийся сторонник северян, вождь русской революционной демократии — Чернышевский, мечтавший, по примеру американцев разгромить российских плантаторов революционным путем, томился в царской тюрьме. Но, тем не менее, русское правительство не без самодовольства дружило с американцами. Правительство президента Джонсона в свою очередь было заинтересовано в поддержке Александра II. В описываемом случае беда корреспондента «Одесского вестника» была в том, что он не подозревал, что рисует очастливленными «соизволением государя императора»... героев книги Марка Твена, непочти-

тельных и беспардонных «простаков за границей».

Однако «простаки» были заинтригованы перспективой встречи с российским императором. «Представляю что за возня поднимется теперь у нас! — комментирует Твен в своей книге приглашение Александра II. — «Будут созданы важнейшие собрания, избраны ответственные комитеты... Когда эта картина представилась мне во всей своей величавой чудовищности, я почувствовал как владевшее мной страстное желание побеседовать с настоящим императором начинает понемногу улетучиваться».

Возня действительно поднялась немалая. Корреспондент «Одесского вестника» не знал, что происходило на «Квакер-Сити» в канун посещения царского дворца. Мы пополним этот пробел по книге Твена (цензура всегда кромсала эту главу в русских переводах «Простаков»).

«У нас на борту находится американский консул — мы возьмем его из Одессы» — пишет Твен. «Мы собрались в каюте и потребовали, чтобы он сказал нам, что нам делать, чтобы не осрамиться во дворце, сказал немедленно, сию же минуту. Первые его слова поразили нас как громом: он никогда не присутствовал на приеме у императора (мы простонали трижды). Но, — сказал он, — он бывал на приемах у одесского генерал-губернатора, кроме того, он не раз слышал от других о приемах при русском и при других дворах и потому может точно сказать, как нам нужно будет вести себя (мы немножко повеселели). Нас много, сказал консул, летний дворец императора невелик; нужно думать, нас примут по-летнему — в парке. Нам нужно будет выстроиться в шеренгу; мужчины во фраках, белых галстуках и белых лайковых перчатках, дамы в светлых шелковых платьях. В назначенный час выйдет император, в сопровождении свиты в блестящих придворных мундирах и медленно пройдет вдоль выстроенного ряда, здороваясь с одними, обращаясь со словом-другим к другим. В тот момент как император появится, на устах у всех должна засиять улыбка полная радости и энтузиазма, она должна высыпаться как сып на лице, улыбка любви, благодарности и восхищения. Как один мы должны склониться в поклоне, впрочем без подобоострастия, respectfully, с достоинством. Минут через пятнадцать император уйдет и мы можем ехать домой.

Мы почувствовали облегчение. Это было в конце концов несложно. Каждый был убежден, что немного поупражнявшись, он сумеет стоять в шеренге, тем более, что стоять он будет не один. Каждый был уверен, что он сумеет отвесить поклон не наступив при этом на фалду собственного фрака и не переломив себе позвоночника. Короче говоря, мы чувствовали, что все это нам по силам — если не считать упомянутой выразительной улыбки.

Консул сказал также, что мы должны составить императору адрес... Поэтому пять джентльменов были выбраны для составления адреса. Остальные пятьдесят принялись расхаживать по пароходу, меланхолически улыбаясь для практики».

Выяснив, что происходило на «Квакер-Сити», даем опять слово корреспонденту «Одесского вестника».

«На другой день утром ряд придворных экипажей, присланных из Ливадии, ждал у пристани американских посетителей. Около 10-ти часов все они, то-есть дамы и мужчины, отправились к очаровательному лепному убежищу царственной семьи, где были весьма милостиво приняты их Величествами. В приемной, прежде всего, государь император изволил выслушать адрес, составленный от лица всех представившихся американцев и прочтенный консулом Смитом, и тут же отвечал на него милостивыми словами... Потом его величество представил гостей государыне императрице и присутствующей в Ливадии августейшей семье». Дальше корреспондент подробно рассказывает как царь водил американцев по дворцу и по ливадийскому парку, показывая им портреты и замечательные растения, как гости, откланявшись, поехали в Орланду к великому князю Михаилу Николаевичу и завтракали там «в одной из обширных зал дворца и на террасе обращенной к морю», как царь приехал верхом в Орланду и снова имел с гостями «милостивый разговор».

«Возвращаясь отсюда на пароход,— пишет корреспондент,— заатлантические друзья наши не переставали во всю дорогу выражать восторг от оказанного им царской семьей благосклонного приема. Долго после того, на «Quaker City» ходил круговой бокал и не умолкали радостные клики и заявления. Вечером пароход был великолепно освещен и пускал ракеты».

Мы опускаем описание приема во дворце, так как он подробно изображен в 8 главе второй части «Простаков за границей», где читатель может его найти. Цензура пропустила в русском переводе все описание за вычетом двух деталей, приятно оживлявших его томительную корректность. Рассказав о речах, которыми император обменялся с гостями, Твен говорит, что по краткости и ясности они могли бы послужить в качестве образцов «при награждении отличившихся полисменов золотыми часами». Затем, рассказав о церемонии прощания, он пишет, что царская семья «пожелала нам всего хорошего и отправилась считать серебряные ложки».

Одной из речей, охарактеризованных Твеном, мы должны коснуться подробнее. Мы имеем в виду адрес, поднесенный Александру II пассажирами американского парохода и прочитанный от их лица консулом Смитом. Адрес приведен целиком в «Одесском вестнике».

Его Императорскому Величеству Александру II Императору Всероссийскому

«Составляя небольшое общество частных лиц, граждан Соединенных Штатов, путешествующих для развлечения, без всякой торжественности, как подобает нашему неофициальному положению, мы не имеем иного повода представиться Вашему императорскому величеству кроме желания заявить напе признательное почтение государю Империи, которая в счастье и несчастье была неизменным

другом страны, к которой мы исполнены любовью. Мы не осмелились бы сделать подобного шага, если бы не были уверены, что выражаемые нами слова и вызывающие их чувства — только слабый отголосок мыслей и чувств всех наших соотечественников, начиная от зеленых холмов Новой Англии до снежных вершин, окаймляющих далекий Тихий океан. Нас немного числом, но мы выражаем голос целой нации. Одна из светлейших страниц, которую начертала всемирная история, была вписана рукою Вашего императорского величества, когда эта рука расторгла узы двадцати миллионов людей. Американцы имеют особое право чествовать государя, совершившего столь великое дело. Мы воспользовались преподанным нам уроком, и в настоящее время представляем нацию, столь же свободную в действительности, какую она была прежде только по имени. Америка обязана многим России, она состоит должником России во многих отношениях, и в особенности за неизменную дружбу во время великих бедствий. С упованием молим бога, чтобы эта дружба продолжалась и на будущие времена».

«Почтительнейше поднесен от имени пассажиров американской яхты «Квакер Сити», августа 13/25 1867 года.

Члены адресного комитета:

С. С. Клеменс, из Калифорнии, Уиллиам Джобсон, из Пенсильвании, Тимофей Д. Крокер, из Огйо, А. С. Санфорд, из Клевланда, Н. Кинни, из Портсмута.

Хотя С. С. Клеменс фигурирует здесь лишь в качестве одного из подписавших адрес членов адресного комитета, опубликованные не так давно биографом Твена, Пейном, записные книжки Твена за этот период показывают, что автором адреса является сам Твен. Таким образом перед нами ни более ни менее как первое произведение Марка Твена, напечатанное в России. В то же время — это единственное произведение Марка Твена, появившееся в свет по-русски ранее, чем на языке подлинника. Американским собирателям первых изданий Твена придется с великим трудом разыскивать «Одесский вестник» за 24 августа 1867 г.

Этот адрес, в котором дружеское чувство американцев к русскому народу выражено в форме почтительного славословия царю, Твену не нравился. Он был демократом до мозга костей. Он был сатириком и юмористом. Прошло недолгое время и он стал известен как верный друг русской революции, жестоко бичевавший преступления царизма. О том, как критиками коротких отношений с царями и мстителями за поправное чувство юмора выступили матросы парохода «Квакер Сити», Твен рассказывает в одиннадцатой главе II части «Простаков». Царская цензура полностью вычеркнула эти две страницы в русском издании книги.

«Целыми днями матросы в кубрике увеселяли себя (я доводил до исступления нас) пародируя нашу аудиенцию у императора.



Наш адрес императору начинался так: «Составляя небольшое общество частных лиц, граждан Соединенных Штатов, путешествующих для развлечения, без всякой торжественности, как подобает нашему неофициальному положению, мы не имеем иного повода представиться Вашему императорскому величеству, кроме желанья заявить наше признательное почтение государю Империи, которая в счастья и несчастья была неизменным другом страны, к которой мы исполнены любовью».

Третий кок, надев на голову блистающий медный таз и величественно задрапировавшись в скатерть, усеянную жирными пятнами и следами пролитого кофе, со сканкетром в руке до странности напоминавшем скалку, шествовал по ветхому половику и взгромоздился на кабестан в ореоле морских брызг. Вокруг него толпились камергеры, князья и адмиралы, обветренные и просмоленные, в роскошных одеяниях из обрывков брезента и старых парусов. Затем появлялась вахтенная команда, преображенная в нежных леди и изысканных джентльменов с помощью самых странных подобию кринолинов, френчев фалд и лайковых перчаток. Гости торжественно поднимались по трапу и затем, низко кланяясь, начинали улыбаться столь замысловато и выразительно, что я не думаю, чтобы какой-либо монарх мог вынести это без непоправимого ущерба для здоровья. Затем «консул», перепачканный в известке палубный матрос, извлекал из кармана грязный ключок бумаги и начинал читать:

«Его императорскому величеству Александру II, императору всероссийскому. Составляя небольшое общество частных лиц, граждан Соединенных Штатов, путешествующих для развлечения, без всякой торжественности, как подобает нашему неофициальному положению, мы не имеем иного повода представиться Вашему императорскому величеству...»

И м п е р а т о р: Какого же дьявола вас принесло?

...«Кроме желанья заявить наше признательное почтение государю Империи, которая...»

И м п е р а т о р: А, к чорту этот адрес. Дочитайте моему полицейскому. Камергер, отведи их к моему брату, великому князю, пусть их там покормят. Прощайте. Я в восторге. Я восхищен. Я вне себя от радости. Вы мне надоели. Прощайте! Ну, сказано очистить помещение!.. Старший конюх, приказываю тебе приступить немедленно к проверке ценных вещей во дворце!..

На этом представление заканчивалось, но возобновлялось снова с каждой новой вахтой, постепенно обогащаясь новыми все более потрясающими деталями.

Не было часа, чтобы мы не слышали выдержек из этого злополучного адреса. Сумрачные матросы являлись с формарса, невозмутимо рекомендуясь как «небольшое общество частных лиц, путешествующих для развлечения и без всякой торжественности». Кочегары, подбрасывая в топки уголь, обясняли, что небрежность их одежды и немые лица следует приписать тому, что они «составляют небольшое общество частных лиц», и т. д. Когда в полночь раздавалась команда: «Восемь склянок! На вахту выходи!», — вахтенная команда выходила звая и потягиваясь с неизменной формулой на устах: — «Есть на вахту, сэр! Составляя небольшое общество частных лиц, путешествующих для развлечения, без всякой торжественности...»

Я был членом комитета, я помогал составлять адрес и насмешка меня задевала. Никогда ни одна фраза не действовала мне так на нервы, как эта sacramентальная фраза из обращения к императору всероссийскому в устах наших матросов...»

Твен несколько уклоняется от истины, когда он пишет, что лишь «помогал составлять адрес», однако эта авторская скромность искупается тем видимым удовольствием, чтобы не сказать, злорадством, с которым он рассказывает о постигшей его каре. Внутренняя симпатия его была не с царскими визитерами в лайковых перчатках, а с просмоленными насмешниками. Несколько забавных случаев произошло с самим Твеном, он о них рассказал впоследствии:

«На приеме было множество знатных особ. Они были одеты в большинстве в штатском платье, но я заметил, что многие носили в петличке маленькие цветные ленточки. Это выглядело нарядно, и я подумал, что было бы неплохо украсить и себя таким же образом. Я раздобыл красную ленточку и укрепил на лацкане своего сюртука. Начиная с этой минуты церемониймейстер, одетый в ослепительный придворный мундир, стал выказывать мне особые знаки почтения. Он был любезен, он был очарователен, он окружал меня заботами. Наконец, он спросил у меня, каков мой титул. Я сказал: «У меня нет титула». Вслед за этим он спросил меня: кавалером какого ордена являюсь. Я сказал: «Никакого». Тогда он спросил, что, собственно, означает ленточка в моей петлице. Тут я цокая, какую глупость я сделал, и смутился до крайности. Я сказал ему первое, что пришло мне в голову, — сказал, что это значок клуба журналистов, в котором я состою. Церемониймейстер больше не окружал меня заботами...»

Потом я подружился со старичком, который был, повидимому, чем-то вроде

старшего садовника. Я водил его по всему парку, ухватив под-руку, чему он нисколько не противился. Велико было мое смущение, когда выяснилось, что это был совсем не садовник. Это был морской министр!

Я подумал, что мне, пожалуй, не стоит водить компанию с царями».

«Американцы, несмотря на то, что пробыли у нас с 13-го по 16-е августа, успели осмотреть лучшие местности южного берега и подружиться со многими...» — пишет ялтинский корреспондент «Николаевского вестника». А в «Записных книжках» находим такую запись Твена: «Прелестная маленькая плутовка, с которой я отплясывал на банкете этот фантастический русский танец, не выходит у меня из головы. Ах, почему я не умею говорить по-русски!..»

16-го августа «Квакер-Сити» покинул Ялту. В «Одесском вестнике» читаем: «В 8 часов вечера, при громких салютах, американцы оставили ялтинский рейд. Спустя 5 минут, слышны были прощальные выстрелы противу Ливадии».

### КАК Я ПОМОГ ХИГБИ ПОЛУЧИТЬ РАБОТУ<sup>1</sup>

Хигби был первым, кто воспользовался моим гениальным и несравненным способом получать работу. За прошедшие с тех пор сорок лет я не раз подвергал этот способ строгой проверке. Насколько мне известно, он выдержал все испытания. Мало чем я так горжусь, как этим изобретением и тем, что основывая его на странностях человеческой природы, я оказался отчасти, достаточно проникательным психологом.

Мы с Хигби жили в кабушке у подножья большой горы. Наша квартира не была просторной втроем (считая пещку) мы еле вмещались в ней. Она не была также уютной — в промежутке от восьми вечера до восьми утра ртуть в нашем термометре совершала длинное и утомительное путешествие. Мы разрабатывали серебряную шахту на горе, в полумиле от нашего обиталища, в компании с Бобом Гаулендом и Горацио Филиппом. Каждое утро, захватив с собой завтрак, мы отправлялись туда и оставались там до вечера, копя и подрывая порогу, переходя от надежды к отчаянию и медленно, но верно закапывая в эту шахту наши последние деньги.

Наступил день, когда мы оказались без

<sup>1</sup> Отрывок взят из I тома Автобиографии Твена. Кальвин Хигби, о котором здесь идет речь, — друг Твена в годы старательства в Неваде. Этот период своей жизни Твен описал в «Закаленных» («Roughing It»)

Книга посвящена Хигби и сам он фигурирует в ней. Новелла возникла, когда Твен в 1907 году получил неожиданное письмо от старого приятеля и углубился в воспоминания о былых днях.

пропа; серебра между тем попрежнему не было видно и нам стало ясно, что нам придется добывать средства к жизни каким-нибудь другим способом. Мне удалось получить место на рудодобывальных работах. Я должен был просеивать песок при помощи лопаты с длинной ручкой. Должен сказать, что я никогда не пытал нежности к лопате с длинной ручкой. Я не мог научиться взмахивать ею надлежащим образом — это превышало мои способности. Довольно часто, — я думаю, в пяти случаях из десяти, — песок вовсе не достигал своего назначения, а сыпался мне на голову и затем вниз за шиворот. Это была самая отвратительная работа, какую мне приходилось делать, но за нее платили десять долларов в неделю, не считая хозяйских харчей. Последнее стоит упоминания, так как дело не ограничивалось ветчиной, бобами, кофе, хлебом и патокой каждый божий день нам давали компот из сушеных яблок, как если бы на неделе было семь воскресений.

Но эта роскошная жизнь, эта вакханалия чувственных наслаждений пришла к концу и тому были две причины, каждая из которых сама по себе была достаточной. Я видел, что не могу выдержать тяжести работы; компания же считала нецелесообразным платить мне жалование за то, что я буду сыпать песок себе за шиворот. Я был уволен как раз в тот момент, когда собрался заявить, что уйду.

Если бы на моем месте был Хигби, все обстояло бы благополучно и обе стороны были бы довольны. Хигби был мускулистый гигант. Он срадовал бы лопатой с длинной ручкой как император своим скипетром. Он махал бы этой лопатой двенадцать часов в день спокойно и невозмутимо, вы не нашли бы у него даже учащенного дыхания. Пока что Хигби был без работы и немного приуныл. «Если бы только мне получить место на «Пайонире!» — твердил он с тоскою в голосе.

Я спросил: «Какое место ты хочешь получить на «Пайонире?»

— Да хоть чернорабочего. Они платят там пять долларов в день.

Я сказал: «Если это все, что тебе нужно, я готов тебе услужить».

Хигби был поражен. Ты хочешь сказать, — воскликнул он — что ты знаешь тамошнего десятника, что ты мог достать мне через него место и все время молчал об этом?»

— Нет, — сказал я, — я не знаю тамошнего десятника.

— Кого же ты знаешь там? — спросил он. — Как ты хочешь достать мне работу?

— Для меня это сущие пустяки, — сказал я. — Если ты сделаешь в точности как я тебя научу, у тебя сегодня же будет работа.

— Я сделаю в точности, как ты мне скажешь,— сказал Хигби,— что бы это ни было.

— Хорошо,— сказал я. Ты пойдешь в «Пайонир» и заявишь, что хочешь получить место чернорабочего. Ты скажешь, что тебе надоело быть без работы, что ты с детских лет чувствуешь отвращение к праздности и не можешь жить без каждодневного труда, короче говоря, что ты просто хочешь работать и не просишь никакого вознаграждения.

— Никакого вознаграждения? — спросил Хигби.

— Да,— сказал я,— никакого вознаграждения.

— Работать бесплатно?

— Да, работать бесплатно.

— Даже без хозяйских харчей?

— Да, без хозяйских харчей. Ты будешь работать бесплатно. Заставь их понять это — что ты хочешь работать совершенно бесплатно. Когда они поглядят на твои мускулы, каждый десятник поймет, что ему превалило счастье. Работа тебе будет обеспечена.

— Да, работа будет выгодная! — сказал Хигби негодующим тоном.

— Ты только что обещал делать так, как я тебя научу,— сказал я,— и вот ты уже критикуешь. Ты сказал, что будешь выполнять мои указания, каковы бы они ни были. Ты всегда держал слово верным, Хигби. Иди, и получай работу.

Он сказал, что пойдет.

Ожидая, что получится из моей затеи, я очень волновался. Перед Хигби я скрывал свое волнение и делал вид, что ни мало не сомневаюсь в том, что он получит работу. Я разыграл перед ним полную уверенность. Но я волновался. Слова и снова повторял себе, что достаточно знаю людей, к которым я послал Хигби. Можно было не сомневаться, что они не откажутся получить в подарок труд рабочего такой гигантской физической силы. Час проходил за часом, Хигби не возвращался. Моя уверенность в успехе возрастала. На закате он вернулся и я с удовлетворением узнал, что мой расчет оказался правильным и увенчался полным успехом.

— Сколько это будет продолжаться? — спросил Хигби.

— Я сказал: «Ты обещал слушаться меня, не так ли? Так вот,— ты остаешься и работаешь так, как если бы ты получал за это полную плату. От тебя не должны слышать ни малейшей жалобы. Ты даже словом не намекаешь, что ты был бы не прочь получать хотя бы хозяйские харчи. Это будет продолжаться день, два, три, четыре, пять, шесть — в зависимости от характера твоего десятника. Некоторые десятники сдаются че-

рез два-три дня. Другие выдерживают укоры совести целую неделю. Найти десятника, который продержался бы две недели, не предлагая тебе платы за работу,— нелегкое дело. Предположим, однако, для верности, что ты имеешь дело с таким «двухнедельным» десятником. Даже в этом случае тебе не придется ждать две недели. По всем шахтам пойдет слух, что самый сильный рабочий в округе так любит трудиться, что с радостью выполняет бесплатно любую порученную ему работу. Ты станешь местной достопримечательностью. Люди будут приходить, чтобы поглядеть на тебя. Ты мог бы разбогатеть взяв с них входную плату, но не делай этого. Держи высоко свое знамя. Когда десятники с других шахт и заводов увидят твои мускулы и поймут, что ты один стоишь двоих, они предложат тебе работать у них за половину обычной платы. Ты сообщишь об этих предложениях своему десятнику. Дай ему возможность проявить благородство и предложи тебе не меньше. Если он этого не сделает, ты можешь принять первое предложение. Дальше будет то же самое. Помыни мое слово, Хигби, через три недели ты будешь десятником на любой шахте, какой захочешь и будешь получать высокую плату.

Все произошло так, как я изобразил ему — и я зажил припеваючи, ничего не делая и даже не помышляя о том, чтобы испытать свое гениальное открытие на собственной персоне. Пока Хигби работал, я не нуждался в работе. Его заработка хватало на наше маленькое семейство и много недель подряд я вел приятную жизнь светского человека, проводя время за чтением книг и газет и лакомясь каждый день компотом из сушеных яблок, как если бы на неделе было семь воскресений.

## СОБАКА<sup>1</sup>

В некоторых отношениях я был всегда крайне щепетильным человеком. Даже в самом юном возрасте я не мог заставить себя воспользоваться деньгами, добытыми сомнительным путем. Я пытался, и не раз, но добродетель всегда торжествовала.

Несколько месяцев тому назад генерал-лейтенант Нельсон А. Майльс давал в Нью-Йорке большой обед. Когда мы болтали вдвоем в гостиной, перед тем как идти к столу, он сказал: «Мы с вами знакомы уже лет тридцать, не правда ли?»

Я сказал: «Да, в этом роде!»

Он подумал минуту и сказал: «А ведь мы с вами могли встретиться в Вашингтоне в

<sup>1</sup> Рассказ взят из автобиографии Твена. Печатается по-русски впервые.

1867-м году. Мы там были в одно время».

Я сказал: «Да, но вы забываете, что я был тогда никому неизвестен. Я даже не подавал надежд. Вы же, прославленный генерал гражданской войны, только что вернулись с блистательной кампании на Дальнем Западе и ваше имя было у всех на устах. Все превозносили вас. Если бы вы меня и встретили тогда, эта встреча не сохранилась бы у вас в памяти, разве только если бы она была отмечена чем-нибудь необыкновенным. Прошло добрых сорок лет, разве можно сохранить в памяти случайную встречу за такой промежуток времени. Тут я переменял тему разговора и имел к этому достаточное основание. Мне не стоило бы ни малейшего труда напомнить генералу, что мы встречались в 1867 году в Вашингтоне, но я этого не сделал из боязни сконфузить себя и его. Я хорошо помню эту встречу. Вот как было дело.

Я только что вернулся тогда из поездки на «Квакер-Сити» и подписал договор с Элиша Блисе из Гартфорда на книгу о моем путешествии. Я был без гроша и отправился в Вашингтон поискать чего-нибудь, чтобы продержаться пока я буду писать свою книгу. В Вашингтоне я встретил Вильяма Суинтона и мы вместе с ним разработали план, как добывать свой хлеб насущный. Мы стали отцами и изобретателями предприятия, которое сейчас является столь обычной формой газетной работы. Мы создали первый на нашей планете газетный синдикат. Он был, правда, невелик, но — начинают с малого. В нашем списке значилось двенадцать периодических изданий. Это были еженедельники, влиятельные жалкое и безвестное существование в самых глухих углах нашей страны. Все эти журналы были чрезвычайно горды тем, что имеют собственного واشنطنского корреспондента, а мы были очень довольны, что могли явиться предметом их гордости. Каждый журнал получал от нас два письма в неделю, по доллару за письмо. Каждый из нас писал еженедельно по письму, и, размножив его в двенадцати экземплярах, посылал его нашим благодетелям, свискивая, таким образом, половину из общей суммы в 24 доллара, на которые, при наших скромных требованиях, мы могли жить беспечно.

Суинтон был одним из самых милых и очаровательных людей, каких мне приходилось встречать, и блаженство нашей совместной жизни не знало предела. Суинтон был деликатен от природы и воспитание развило в нем эту черту характера, он был джентльменом от природы и воспитание развило в нем и эту черту характера; он был высоко-

образованным человеком; он был автельски кроток; он был чист в помыслах и речах; он был сама искренность. Он был шотландец и пресвитерианец, пресвитерианец высокой марки — он нежно любил свою религию, относился к ней вполне серьезно и почерпал в ней утешение и душевное спокойствие. У Суинтона не было ни единого порока, если не считать бескорыстной и непреодолимой страсти к шотландскому виски. Я не считал этого пороком, потому что Суинтон был шотландцем, а шотландское виски для шотландца все равно, что молоко для человека другой национальности. Скорее это была добродетель, правда не из дешовых. Двадцать четыре доллара в неделю были бы для нас сотоварием, если бы не бутылка. Бутылка же была бездонной. Стоило одному денежному переводу задержаться и мы оказывались на краю пропасти.

Бы раз такой случай. Нам требовались три доллара. Они были нужны нам в этот вечер. Я уже не помню, на что нам были нужны сразу три доллара, я только помню, что они были нужны до-зареза. Суинтон сказал мне, чтобы я шел доставать три доллара, он сказал, что сам тоже пойдет. У него не было и тени сомнения, что мы достанем деньги, — такова была твердость его религиозных убеждений. Я, должен сказать, не разделял его уверенности. Я понятия не имел, где мне добыть эти три доллара и так ему и заявил. Я увидел, что ему стало стыдно за меня, за слабость моей веры. Он сказал мне, чтобы я не терзал себя сомнениями. Бог нам поможет. Он говорил об этом, как если бы это само собою разумелось. Я видел, что он действительно рассчитывает на божию помощь и хотел сказать ему, что насколько я знаком с этим предметом... — но промолчал. Его твердая вера подействовала на меня. Я выпел почти уверенный, что бог нам поможет.

В течение часа я блуждал по улицам, тщетно стараясь придумать, как мне достать эти три доллара. Я забрел в вестибюль Эббот Хауса, — это был новый отель, — и сел в кресло. Вскоре в вестибюль вбежала собачка. Она постояла, поглядела на меня и в глазах у нее я прочел вопрос: «Ты не обидишь меня?» Я ответил тоже глазами, что я ее друг. Она благодарно помахала хвостом, подошла, положила морду ко мне на колени и поглядела на меня неотразимыми, ласковыми карими глазами. Это было прелестное сознание, изящное, как молодая девушка и все укутанное в шелк и бархат. Я поглаживал ее шелковистую голову и ласкал ее свисающие уши — мы походили на влюбленную пару. В эту минуту генерал Майльс,

герой дня, вошел в вестибюль отеля мужественной походкой, весь залитый золотом, привлекая к себе общее внимание. Он увидел собаку и остановился, глаза его загорелись. Он наклонился и поглядел собаку:

— Какой чудный песик, просто красавец. Не продадите ли вы его?

Я был поражен. Предсказание Суинтона сбывалось.

Я сказал: Что ж, могу продать.

— Сколько вы хотите за него? — спросил генерал.

— Три доллара.

Генерал, видимо, удивился. Он сказал: «Три доллара? Всего три доллара? Но ведь это замечательная собака. Она должна стоить не меньше пятидесяти долларов. Если бы она была моя, я не продал бы ее и за сто. Боюсь, что вы не знаете ей настоящей цены. Подумайте. Я не хочу обидеть вас.

Если бы он знал действительное положение дела, он понял бы, что не может меня обидеть, так же как я не могу обидеть его. Я ответил твердо, как и в первый раз.

— Три доллара. Я прошу за собаку три доллара.

— Что же, если вы настаиваете, пусть будет по вашему — сказал генерал. Он уплатил мне три доллара, взял собаку и поднялся к себе наверх.

Минут через десять в вестибюль вошел пожилой человек с меланхолическим выражением лица и стал ходить взад и вперед, озираясь и заглядывая под столы и кресла. Я спросил его: «Вы ищете собаку?»

Его лицо было озабоченным и печальным. Теперь оно засветилось радостью и он воскликнул: «Да! Вы ее видели?»

— Видал, — сказал я. — Она только что была здесь. Я видел, как она пошла за одним джентльменом. Если вы пожелаете — я думаю, что мог бы ее разыскать.

Я никогда не встречал такого выражения благодарности. Дрожанием от признательности голосом он сказал, что просит меня поискать собаку. Я сказал, что готов быть ему полезным, но поиски собаки должны отнять у меня некоторое время, надеюсь, что он вознаградит меня за хлопоты. Он сказал, что сделает это с наслаждением, он повторил несколько раз: «с наслаждением» — и спросил, сколько я хочу.

Я сказал: «Три доллара».

Он был удивлен. Он сказал, что это же гроши. Я охотно уплатил вам десять.

Но я сказал: «Нет, я прошу три доллара» — и пошел к лестнице, ведущей наверх, не дожидаясь ответа, ибо божья помощь испрашивалась Суинтоном в размере трех долларов, и я считал бы кощунством

просить хотя бы на цент больше. Проходя мимо копировки портрета, я спросил у него номер комнаты, которую занимал генерал, и придя туда, застал генерала Майльса занятого веселой возней с собакой. Я сказал: «Мне очень жаль, но я пришел за собакой».

Он был поражен и сказал: «За собакой? Но это же моя собака. Вы продали ее мне и получили за нее столько, сколько просили».

— Да, — сказал я, — это верно, но мне придется ее забрать, потому что ее нужно вернуть хозяину.

— Какому хозяину?

— Хозяину собаки. Это не моя собака.

Генерал был изумлен еще более и на минуту, видимо, лишился, дара речи. Потом он сказал: «Вы хотите сказать, что вы продали чужую собаку, сделали это сознательно?»

— Да, я знал, что это чужая собака.

— Как же вы ее продали?

Я сказал: «Вы задаете странный вопрос. Я продал ее потому, что вы просили меня об этом. Вы предложили купить собаку — вы не можете этого отрицать. Я не навязывал ее вам, я вообще не помышлял о том, чтобы продавать ее — по мне казалось, что если мне представляется возможность оказать вам услугу...» Он прервал меня на полуслове: «Оказать мне услугу! Это самый поразительный способ оказывать услуги, о котором мне приходилось слышать. Подумать только! Продавать заведомо чужую собаку».

Тут я прервал его и сказал: «Вы спорите не по существу. Вы сами сказали мне, что такая собака может стоить сто долларов. Я взял с вас три доллара, — разве это не доказывает мое бескорыстие. Вы предлагали уплатить больше, вы это помните. Я же взял у вас три доллара, вы не можете этого отрицать?»

— Боже мой! Какое это имеет отношение к делу? Суть в том, что собака не ваша, неужели вы этого не понимаете? Вы, очевидно, полагаете, что в продаже чужой собаки нет ничего худого, если вы продаете ее по дешевой цене. В таком случае... Я сказал: — давайте прекратим этот спор. Что бы вы не говорили, вы не можете обойти тот факт, что цена, которую я назначил за собаку, была, — учитывая, что это чужая собака, — справедливой и честной ценой. Спорить об этом дальше — значит попусту тратить время. Сейчас я хочу забрать собаку, потому что хозяин ищет ее. — ясно, что я должен это сделать, мне ничего другого не остается. Поставьте себя на мое место. Допустим, что вы продали собаку, вам не принадлежащую. Представьте теперь...

— Послушайте, — сказал генерал, — не

сводите меня с ума своими idiotскими рассуждениями. Заберите собаку и оставьте меня в покое.

Тогда я отдал ему полученные с него за собаку три доллара, повел собаку вниз, передал владельцу и получил от него три доллара за хлопоты.

Я ушел с чистой совестью, заработок мой был честным. Я никогда не смог бы воспользоваться тремя долларами, которые я получил за собаку, потому что они не принадлежали мне по праву, но три доллара, которые я получил за то, что вернул собаку ее законному владельцу, были мои цеником и полностью, ибо я заработал их честным трудом. Если бы не я, этот человек мог не найти свою собаку и лишиться ее навсегда.

Мои правила не поколебались до сего дня. Я всегда был честен; я знаю, что не сойду с этой стези. Как я уже говорил, в начале, я никогда не мог заставить себя воспользоваться деньгами, добытыми сомнительным путем.

Так было дело. Кое что, впрочем, я выдумал.

#### ПОСЛЕДНИЕ ДНИ ТВЕНА<sup>1</sup>

Я не писал в Бермуду, что выезжаю, и, когда на второе утро пароход прибыл в Гамильтон, я тут же сошел на берег и быстрым шагом направился к дому Алленов. Как было заведено на этом «сладном» острове, дверь стояла настежь и никого не было видно. Я был знаком с расположением комнат и потому, не стуча, прошел прямо к Твену. Войдя в комнату, я увидел его. Он был один, в кресле, в своем старом халате.

Дом Алленов стоит у самого моря, и солнечный свет, отражаясь от воды, дает необычное освещение. Твен был еще небрит и показался мне страшно бледным и старым; сомнения не могло быть, он очень изменился. Я был слишком взволнован, чтобы вымолвить хоть слово. Когда он обернулся и заметил меня, он был изумлен.

— Как же так?— сказал он.— Вы ни разу не писали, что едете.

— Это вышло неожиданно,— сказал я,— меня немного беспокоили ваши последние письма.

<sup>1</sup> Печатаемый отрывок взят из знаменитой биографии Твена, написанной Альбертом Биглоу Пейном. Пейн, молодой американский литератор, для которого Твен был с детских лет кумиром, познакомился с Твеном впервые в начале девятисотых годов. В 1906 году он стал литературным секретарем Твена и близким к нему человеком.

Твен был болен грудной жабой. Зимой 1910 года он поехал на Бермудские острова к своим друзьям, Алленам, чтобы провести холодные месяцы в более мягком климате. Там ему стало хуже. Узнав об этом, Пейн, сильно встревоженный, немедленно выехал туда.

— Я ведь писал несерьезно,— возразил он с упреком.— Вам не следовало ехать ради меня.

Я сказал, что приехал ради самого себя, что я устал, переутомился и решил съездить отдохнуть и потом вернуться вместе с ним.

— Тогда — очень хорошо!— сказал он по своему обыкновению мягко и протяжно.— Теперь я рад вас видеть.

Ему принесли завтрак, и он с аппетитом поел. Когда его побили и заново устроили в кресле, обложив подушками, я решил, что мое первое впечатление было ошибочным. Он действительно похудел, но выглядел свежим, и глаза были ясными; совсем не было похоже, что его жизнь висит на волоске. Он рассказал мне о приступах, которые у него были, сказал, что боли были настолько жестокими, что пришлось прибегнуть к подкожным впрыскиваниям, для которых он придумал очень забавные названия. Он находил во всем смешную сторону и не отказался бы от этого, даже если бы сама смерть стояла тут собственной персоной.

От Алленов и затем от врача я узнал, что положение очень опасно и что нельзя поручиться даже за ближайшие дни. Мистер Аллен уже заказал каюту на «Ошеане» на 12-е, и нашей задачей теперь было укрепить его немного для путешествия.

В этот день, после обеда, мы, как в прежнее время, поехали в экипаже на прогулку, и он по-старому беседовал со мной на свои излюбленные темы. Он перечитывал недавно Маколея и рассказывал о лицемерии и интригах при дворе Якова II.

Прошло несколько дней, боли не беспокоили его. Он был в хорошем настроении, иногда выходил на лужайку перед домом, но мы больше ни разу не выезжали. Большею частью он сидел в постели, обложенный подушками, читал или курил, или беседовал в своей обычной манере. Когда я смотрел на него, полного энергии и веселости, я не мог не поддаться убеждению, что он еще переживет всех нас. Мне рассказали, что он был эти три месяца на Бермуде очень весел, более чем это могло быть полезно, ложился спать, когда вздумается, не соблюдал диеты, и ухудшение отчасти объяснялось этим.

Он ничего не писал, хотя сочинил несколько шуточных поздравлений и однажды, для развлечения, составил одно руководство — считалось, что для меня. Советы касались того, как следует себя вести у врат, где ключарем состоит святой Петр. Вот некоторые из них:

«Не пытайтесь завязать разговор со святым Петром. Подождите, пока он сам с вами заговорит. Вы не у себя дома».

«Не начинайте разговора с «послушайте-ка»».

«Когда будете получать билет, постарайтесь держать язык за зубами. Если вам не терпится, то, во всяком случае, воздержитесь от разговора о погоде. Святому Петру наплевать на погоду. Не вздумайте также спрашивать, поедете ли вы поездом. На небесах не ходят поезда, не считая некоторых транзитных, о которых чем меньше вы будете знать, тем лучше».

«Не вздумайте шелкать кодаком перед носом святого Петра. Ад полон людей, сделавших эту бестактность».

«Не берите с собой свою собаку. В рай пускают по протекции. Если бы пускали по заслугам, то собака попала бы туда раньше вас».

Такими советами он заполнил несколько страниц. Один абзац был написан стенографически. Я хотел попросить его расшифровать, но за хлопотами так и забыл.

Большую часть дня я проводил с ним, сидел рядом и читал. Он тоже читал или дремал. Ночью он не мог заснуть и отсыпался днем; он любил, чтобы кто-нибудь сидел возле него. Он начал читать «Джуда незаметного» Гарди, был от него в восторге и уговаривал меня тоже прочесть. Особенное впечатление на него производила мораль книги, точнее — отсутствие морали. Он читал роман все время и закончил в день нашего отъезда. Это была последняя прочитанная им книга.

Я видел, что, когда он спит, то дышит с трудом. Постепенно мне становилось все яснее, что его здоровье не поправляется. Но по вечерам он бывал неизменно оживлен и весел, звал всех к себе и смешил до упаду, комментируя события прошедшего дня.

Оставалось всего несколько дней до отъезда, когда случился грозный припадок. Ночь с седьмого на восьмое была очень тяжелой. Мы вызвали врачей, но боль удалось успокоить только после неоднократных впрыскиваний морфия. Когда ранним утром я вошел к нему, он сидел в своем кресле и по старой утренней привычке пытался напевать. Он взял меня за руку и сказал:

— Это была фантастическая ночь. Каждая боль выступала в своем репертуаре. Он посмотрел в окно на зеленые острова и бухту, освещенную солнцем.

— Я жду «Бермудца», — сказал он, — интересно, будет ли он сигнализировать. Капитан знает, что я болен, и дает два коротких свистка, когда проходит вот за тем островком. Здоровается со мной.

Он сказал, что ему будет легче дышать, если он сможет облокотиться, и я подвинул к нему ломберный столик. Принесли завтрак; вскоре он развеселился. Снова зашел разговор о Маколее. Он начал рассказывать о заговоре Якова против Вильгельма III и о том, как духовенство с легкостью усвоило взгляд, что убийство из-за угла ничем не греховнее убийства на поле сражения. Он сел к окну и стал дожидаться «Бермудца». Пароход вскоре показался в бухте; его ярко-красные трубы весело выплывали из-за зеленого острова. Утро было ослепительное. Твен пристально следил за пароходом, не произнося ни слова. Вдруг показались два облачка пара и слышались два хриплых свистка.

— Это мне, — сказал он со счастливым выражением лица. — Капитан Фрезер не забывает меня.

Ночью ему снова было плохо. Моя комната была рядом, и Клод<sup>1</sup> поднял меня. Нам казалось, что ему не дожить до утра.

Но в конце концов он успокоился и задремал.

На утро он сказал мне:

— Они работают посменно, боль в груди ночью, а удушье днем. Я теряю столько сил, что, думаю, их хватило бы на изнуренную армию. Мне теперь нужно по кувшину этих впрыскиваний каждый вечер и каждое утро.

Мы начали бояться, что к 12-му он будет еще слишком слаб, чтобы ехать. Но 11-го он чувствовал себя хорошо, и я стал снова надеяться, что, очутившись в Стормфильде, он станет бодрее, и близящийся конец, быть может, будет отсрочен.

В этот вечер он был необыкновенно хорошо настроен. Я зашел к нему с Алленами пожелать спокойной ночи. Ему очень не хотелось отпустить нас, но мы напомнили ему, что утром ему предстоит ехать и что доктор настаивал на полном отдыхе перед поездкой. Твен не любил подчиняться предписаниям. Немного погодя, сидя в гостиной, мы услышали мягкие шаги на веранде. Мы пошли поглядеть и увидели Твена, прогуливавшегося взад-вперед, в халате, с таким видом, словно он никогда не был болен. Он сказал, что ему не спалось, и он решил, что немного движения принесет ему пользу. Возможно, что он был прав — он спал эту ночь спокойно.

Аллены заказали катер, который должен был доставить Твена от пристани против их дома прямо на пароход. Его снесли к пристани на раскладном стуле. На катере он прекрасно чувствовал себя и ничем не походил на больного. Матросы внесли его на пароход, прямо в каюту. Он простился со своими бермудскими друзьями, и мы отплыли. Пока память не откажется мне служить, я не забуду ничего из нашего путешествия домой.

Сперва он чувствовал себя неплохо, попросил меня достать каталог паровой библиотеки и выбрал мемуары графини Карлиген. Он попросил также достать его собственный второй том «Французской революции» Карлейля. Но как только мы вышли в полосу Гольфштрема и воздух стал влажным и гнетущим, ему стало труднее дышать, потом он стал задыхаться. Я открыл оба иллюминатора, но он решил, что ему будет легче на воздухе. Палуба была рядом, и там не было ни души. Принесли шезлонг, мы с Клодом вывели его под руки, усадили и укрыли пледами. Но ему было все так же трудно дышать; воздух становился к тому же холодным и сырым. Он задыхался все сильнее, казалось, конек может наступить каждое мгновение. Очевидно, и он так думал, потому что, задыхаясь, пробормотал: «Я умираю, сейчас конец...»

Потом ему стало немного легче. Мне было ясно, что даже в каюте лучше, чем здесь. Я ответил ему обратно. Он попросил меня впрыснуть морфия и, хотя указанный врачом час еще не наступил, я не мог отказать ему. Он не мог лежать, не мог даже сидеть, откинувшись назад. Морфий вызывал у него сонливость; ему хотелось хоть немного поспать, но каждую минуту удушье заставляло его вскакивать.

Когда ему было немного лучше, он снова становился самим собой, начинал вести

<sup>1</sup> Камердинер Твена.

со мной свою обычную беседу, протягивал руку за трубкой или сигарой. Я подносил ему спичку, и он затягивался с наслаждением раз или два. Я поддерживал его, обняв его за спину, и он засыпал на минуту, но не больше, потому что дьявол удушья был настороже и возвращал его к новым мучениям. Это повторялось снова, и снова, он вскакивал, снова опускался, пересаживался на кресло. Несмотря на страдания, две главные черты его характера не изменяли ему: чувство юмора и забота об окружающих. Один раз, когда пароход качнуло и его шляпа, сорвавшись с вешалки, скользнула округлым движением по полу каюты, он сказал:

— Пароход подает шляпу.

Потом он сказал:

— Мне очень жаль вас, Пейн, но что же я могу поделать. Умирание — длинная история. Не можете ли вы впрыснуть мне побольше этой усыпляющей микстуры, чтобы она прикончила меня?

Он решил, что если переложить подушки по-новому, он сумеет сидеть без моей помощи, и я тогда смогу устроиться в кресле и читать книгу. Он постарается задремать. Он хотел, чтобы я прочитал роман Гарди и мы могли бы потом потолковать о нем. Я собрал подушки и обложил его со всех сторон, потом сел с книгой в кресло, и это доставило ему удовольствие. Он забывался на короткое время, потом, вздрогнув, просыпался, и его быстрые агатовые глаза искали меня — прежнему ли я здесь. Это повторялось раз за разом каждые три минуты. Когда ему становилось очень плохо, я впрыскивал морфия, но он слабо действовал и не приносил полного облегчения.

Так шло долго, без всякого перерыва; он вставал с постели, пересаживался в кресло, снова вскакивал, снова садился на постель, без единого слова жалобы и постоянно сокрушаясь о беспокойстве, которое он причиняет мне.

Один раз он сказал мне:

— Какая таинственная болезнь. Если бы я знал, что у меня болит, мне, по крайней мере, было бы что бранить.

Иногда он брал Карлейля или мемуары Кардиган и читал или пытался прочитать несколько строк, но книга выпадала из его рук, и он начинал дремать. Иногда, в полузабытьи, он подносил ко рту воображаемую сигару и шевелил губами, как бы затягиваясь.

Два сна преследовали его в его прерывающейся дремоте. Ему снилась пьеса, в которой главную роль, управляющего, некому было играть. Каждый раз как повторялся этот сон, он рассказывал мне. Этот сон забавлял его. Другой сон был тревожным. Какое-то ученое учреждение предлагало ему почетную степень, которую он не хотел принимать. Раз, еще не высвободившись из-под власти сновидения, он пытливо поглядел на меня и спросил:

— Что мне сделать, как отказаться? Они навязывают мне эту степень, но я не хочу принимать ее.

Потом, очнувшись, он сказал:

— Я, как птица в неволе: все пытаюсь вылететь и ударяюсь о прутья клетки.

Потом еще:

— Ах, как это непонятно и как долго тянется.

К вечеру, когда стемнело, Твен сказал:

— Сколько времени мы едем?

Я сказал, что первый день идет к концу.

— Сколько еще осталось ехать? — спросил он.

— Еще день и две ночи.

— Я не доеду, — сказал он. — Это бесконечно долго.

— Вспомните, что Клара тоже едет, — сказал я<sup>1</sup>. Она должна была сейчас находиться на половине пути в Америку.

— Это проигранные гонки, — сказал он. — Смерть обгонит пароход.

Рассказывают, не знаю, насколько верно, что многие известные люди, при жизни чуждавшиеся религии, изменяли себе на смертном одре и возвращались к старым верованиям. Я хочу здесь сказать, что Марк Твен, глядя прямо в глаза смерти, не дрогнул ни разу. Я рассказываю об этих часах, когда он страдал и жаждал конца, чтобы показать, что он и здесь оставался таким, каким был всю свою жизнь.

Раз, когда ему было лучше, он сказал мне:

— Когда будет видно, что я умираю, пусть не стараются вернуть меня к жизни. Я хочу умереть спокойно.

Он не хватался за соломинку, не утешался напрасными надеждами, не выказывал ни малейшего страха.

Так прошло два дня и две ночи.

На пристани нас ждали родные, врачи и газетные репортеры. Твен не спал, и свежий северный воздух бодрил его, хотя я думаю, что он простудился и простуда ускорила новый и последний припадок.

Для нас было заказано купе в радлинговом экспрессе. И когда мы уселись, Твен чувствовал себя хорошо и легко дышал. Полулежа на диване, он просматривал утренние газеты.

На станции нас ожидал экипаж. Мы ехали в Стормфильд в это тихое, ясное апрельское утро точно так, как мы ездили не раз два года тому назад. Он говорил, что весна запоздала: действительно, зелень еще только показывалась на деревьях.

С парохода и с поезда его снесли на руках, но когда мы подъехали к Стормфильду, где моя жена, Кэти Лири<sup>2</sup> и другие домашние собрались встретить его, Твен вышел сам из экипажа, с прежней легкостью и грацией, и пожал каждому руку.

Потом мы с Клодом перенесли его в пезлонге наверх в его комнату. Это было 14 апреля 1910 года (21 апреля Твен умер).

<sup>1</sup> Дочь Твена.

<sup>2</sup> Домашняя работница Твенных, близкий к семье человек.



А. ШТЕЙН

## С. Я. Маршак

I

Как редки люди, обладающие талантом, необходимым для детского писателя. История литературы подтверждает справедливость этих слов Белинского. Как мало книг, написанных для детей, вошло в обиход большой литературы.

Маршак — литератор, который долгое время писал только для детей, и все-таки вошел в большую литературу. В его лице советская литература имеет художника, чьи произведения, написанные для маленьких, стали явлениями большого искусства.

\* \* \*

Маршак чуть ли не единственный писатель, которому удалось воскресить старую народную сказку для детей. На фоне разнообразных подделок, на фоне вялых и безжизненных сказок русских писателей начала XX века и многих наших западных современников книжки Маршака выглядят полноправными и законными наследниками чудесной народной сказки.

Большинство произведений рассказывает о жизни детей в больших наших городках, фантастический элемент почти отсутствует в них, и действие сказок разворачивается в кругу явлений повседневной жизни.

Но в восприятии маленького ребенка самые обычные вещи часто превращаются в нечто очень увлекательное. Вспомните детство. Проходящие за окнами паровозы, зоологический сад и цирк, лошадь, запряженная в телегу, даже поездка на трамвае — все это полно глубочайшего интереса. Огромный неизведанный мир перед ребенком. Нужно, чтоб поэт, постигнув природу детского восприятия мира, рассказывая об окружающем, о вещах совсем обыкновенных, раскрыл бы их смысл, то новое, чудесное, что привлекает и занимает ребенка. Так написаны сказки и рассказы в стихах Маршака.

Какой увлекательный и полный приключений день, когда папа же идет на работу и проводит с мальчиком.

Вот портфель,  
Пальто и шляпа.

День у папы — выходной.  
Не ушел сегодня папа —  
Значит, будет он со мной.

Как приятно иметь своим товарищем папу и как много удивительных и разнообразных удовольствий заключено в поездке с ним по городу.

Сколько романтики и новизны заключает в себе день первого сентября, когда восьмилетний впервые отправляется в школу. Это поистине вступление в новую жизнь, в новый мир.

Первое  
Сентября —  
Первый день  
Календаря.  
Потому что в этот день  
Все девчонки  
И мальчишки  
Городов и деревень  
Взяли сумки,  
Взяли книжки,  
Взяли завтраки  
Подмышки  
И помчались в первый раз  
В класс!

В книжке для ребят старшего возраста «Мистер Твистер» Маршак описывает мир совсем в духе сказки. Знаменитого хозяина бюро путешествий мистера Кука поэт характеризует как всемогущего волшебника:

Есть  
За границей  
Контора  
Кука.  
Если  
Вас  
Одолеет  
Скука  
И вы захотите  
Увидеть мир —  
Остров Танти  
Париж и Памир, —  
Кук  
Для вас  
В одну минуту  
На корабле  
Приготовит каюту,

Или прикажет  
Подать самолет,  
Или верблюда  
За вами  
Пришлет.  
Даст вам  
Комнату  
В лучшем отеле,  
Теплую ванну  
И завтрак в постели.  
Горы и недра,  
Север и юг,  
Пальмы и кедры  
Покажет вам Кук.

Шикарная гостиница, в которой происходит действие, описана как замок, полный чудес:

Мимо зеркал  
По узорам ковра  
Медленным шагом  
Идут в номера.

Поэт увлекает ребят таким изображением мира, таким рассказом о нем, в котором детские представления незаметно соединяются с пониманием настоящего смысла явлений.

«Мистера Твистера» роднит со сказкой не только увлекательная сказочная обрисовка мира. В веселой проделке швейцаров, которые хотят наказать чванливого миллионера и не пускают его в гостиницу, есть та правда, справедливость, которая обязательно бывает на стороне сказочного героя.

Эта правда швейцаров, которые проучили Твистера за презрение к людям другой национальности, придает всему произведению социальный смысл. В своей статье о детской литературе Горький писал: «Надобно талантливо и весело показать детям пороки прошлого как уродство». Так именно показывает пороки прошлого в своем Твистере Маршак. Твистер презирал чернокожих и цветнокожих людей, над ним посмеялись весело и остроумно, и он выглядит противным, жалким и ничтожным. В этом поучительное значение сказки Маршака, в этом ее мудрость.

Морализация, поучение, как таковые, чужды творчеству Маршака, но в веселых его стихах всегда есть нравственная основа, какое-то раскрытие истинного смысла вещей, органически вытекающие из сюжета, описаний, из всего рассказа поэта.

Возьмите знаменитую сказку «Мороженое». Написана она на тему назидательную. Нельзя маленьким детям есть много мороженого.

Но «Мороженое» Маршака не аллегория, не тощее поучение. Перед нами увлекательная полуфантастическая история о том, как толстяк обелел мороженым и превратился в ледяную гору. Это очень далеко от скучного поучения, и все-таки маленькие любители мороженого получают наглядный урок.

Маршак показывает детям новые стороны жизни, его книжки дают большой познавательный материал. Они сообщают ребятам о колдунье и водопроводе, об электричестве и керосиновой лампе, о ра-

боте пожарных и почты. Сообщают интересно и увлекательно.

Книжки и лампы, стулья и столы, рубанок и ведра ссорятся друг с другом, воюют, возмущаются и обижаются. При всей причудливости этих событий свойства вещей обрисованы очень жизненно, логика действительности всегда присутствует в книжках Маршака.

Каждая его книжка не только рассказывает об увлекательных событиях и расширяет детское восприятие, конкретно и ясно рисуя мир, она содержит истину, имеющую большое воспитательное значение.

В прекрасной сказке Маршака «Почта» ребят пленяет увлекательная романтика дальних странствий, их смешит меткая и остроумная характеристика почтальонов разных национальностей. Но главное в сказке — хвала почтальонам, смело и безошибочно доставляющим письма во все концы земного шара:

По морям и горным склонам  
Добрело оно ко мне.  
Честь и слава почтальонам,  
Утомленным, запыленным,  
Слава честным почтальонам  
С толстой сумкой на ремне.

В «Пожаре» прославляется Кузьма, отважный пожарник, и его ученики, во «Вчера и сегодня» — достижения техники, в «В рассказе о неизвестном герое» — благородный подвиг неизвестного юноши.

Обращаясь к ребенку, Маршак не поучает, не грозит, большая социальная мысль выступает в его книжках в форме удивительно конкретной и увлекательной.

Маршак чудесно передал свободу, беспечность и радость жизни, характерные для здорового советского ребенка:

День стоял веселый.  
Раннею весной  
Шли мы после школы —  
Я да ты со мной.  
Куртки нараспашку,  
Шапки набекрень —  
Шли куда попало  
В первый теплый день.  
Шли куда попало —  
Просто наугад,  
Прямо и направо  
А потом назад.

А потом обратно,  
А потом кругом,  
А потом вприпрыжку,  
А потом бегом.

Весело бродили  
Я да ты со мной,  
Весело вернулись  
К вечеру домой.

Эти строки достойны сравнения с классическими страницами бессмертного «Тома Сойера».

«...Тома в настоящее время увлекала одна прелестная новинка. Он научился у знакомого негра свистать каким-то особенным способом, и ему уж давно хотелось поупражняться на свободе в этом деле. Читатель, вероятно, помнит, как это

делается, — если только он когда-нибудь был мальчиком. Настойчивость и усердие помогли Тому быстро овладеть новым искусством. Он весело запагал по улице, и рот его был полон сладкой музыки, а душа была полна благодарности. Он чувствовал себя, как астроном, открывший в небе новую планету, но радость его была непосредственнее, полнее и глубже!»

Свобода и радость жизни, оптимистическое отношение к миру свойственны нормальному здоровому ребенку, и особенно свойственны, характерны для ребенка советской страны. Поэтому книжки Маршака так популярны среди наших маленьких читателей.

Когда-то Гёте сказал о Шекспире: «Сила Шекспира — это сила его времени». Эти слова Гёте верны по отношению к каждому настоящему художнику, они верны по отношению к Маршаку.

Сила Маршака есть сила нашей замечательной эпохи, источник успехов Маршака в том, что он работает в советской стране на материале советской действительности.

Великие идеи коммунистического воспитания, которые лежат в основе советской книжки для детей, являются выводом, обобщением из нашей советской жизни, они воплощены в конкретных делах советских людей, в их подвигах борьбы и труда, в том героизме, с каким они защищают свободу и честь своей прекрасной родины. С талантом истинного поэта Маршак рассказывал нашим детям о нашей чудесной советской жизни, о нашей родине, рассказывал так просто, естественно, доходчиво и увлекательно, что есть все основания сказать: маленькие любители книг Маршака не случайно выросли патриотами. В воспитании чувств любви и преданности к родине нашей молодежи большую роль сыграли книжки Маршака.

## II

Великая народная война открывает в людях скрытые раньше способности, дает им новые профессии. Ученый, всю жизнь работавший над записью человеческого голоса, изобретает грозное боевое оружие. Стахановец сугубо мирного производства превращается в народного мстителя и с автоматом в руках отважно бродит по фашистским тылам.

Нечто подобное происходит с писателем. Прославленный детский писатель, Маршак выступил в дни войны с серией беспощадно резких сатирических стихов и подписей к плакатам. В этих стихах по-настоящему раскрылся политический темперамент писателя, его страстная благородная ненависть ко всему бесчеловечному и подлому, к подлым врагам нашей родины.

В облике художника Маршака появились новые, доселе ему несвойственные черты.

В своих красочно иллюстрированных детских книжках Маршак рассказывал о рассеянном с улицы Бассейнной, об отважных почтальонах, доставляющих письма во все концы света.

Теперь Маршак пишет о страшных, потерявших человеческий облик, солдатах и офицерах фашистской армии, о растленной фашистской прессе, об убийцах и провокаторах, которые управляют современной Германией.

Кто не помнит Макса и Морица, героев немецкого мещанского писателя Вильгельма Буша! Эти скверные мальчишки без конца пакостили, хулиганили и портили все на своем пути. Маршак, в духе известной формулы Горького, — от хулиганства до фашизма дистанция короче воробьиного носа, — превращает порочного немецкого мальчишку в настоящего фашиста.

Юный Фриц, любимец мамин,  
В класс пришел держать экзамен.

Задают ему вопрос:  
«Для чего фашисту нос?»  
Отвечает Фриц мгновенно:

«Чтоб вынюхивать измену  
И строчить на всех донос.  
Вот зачем фашисту нос».

Старый Буш относился к своим героям с добродушным юмором и одновременно, как добропорядочный мещанин, осуждал их за безнравственность. В остром и злом стихотворении Маршака звучат обращение и презрение.

Грязный фашистский шакал, сдирающий сапоги с убитых красноармейцев, поджарый бешеный котенок Гитлер, который хочет превзойти льва, глухой популай Антонеску и покорные собачки Маннергейм и Муссолини — вот зарисовки в галлерею саркастических, убийственно верных портретов наших врагов, Маршака-сатирика.

И однако, несмотря на расстояние, отделяющее сатирика от детского писателя, перед нами тот же художник ясной мысли, простой и доходчивой формы, светло и уверенно глядящий на мир. Мы узнаем в сатирических стихах Маршака старые интонации поэта, его абсолютную словесную точность, определенность и законченность каждой строфы и куплетов.

Попытаемся точнее обрисовать поэтический облик этого чудесного писателя и определить то своеобразие, которое сообщает единство и цельность его творческой личности.

Сатирические стихи Маршака неотделимы от его «взрослой» лирики, которая появилась в дни войны, неотделимы и от его детских стихов.

Писатель, который любит детей, любит жизнь, так страстно, сильно и смело ненавидит фашистских лодоедов, из детского писателя становится беспощадным сатириком.

Маршак пишет:

На площади опустошенной  
Разрушен вражеским огнем  
Приветливый, многооконный,  
С цветами в окнах детский дом.  
Что в мире может быть печальней  
Полуразрушенных печей  
На месте прежней детской спальни,  
Среди обломков кирпичей!

Это злодеяние фашистов, как и множество других их злодеяний, породили страстные, дышащие ненавистью сатирические стихи Маршака. Неслучайно параллельно со своими сатирическими стихами поэт с теплотой, с какой-то почти детской лирической непосредственностью пишет о героях, павших за наше правое дело, о мужественных детях Ленинграда, о нашем тыле, самоотверженно помогающем фронту.

Эпиграфом ко многим сатирическим стихам Маршака служат газетные строки. И это не случайность. Маршак-сатирик — политический поэт в лучшем смысле этого слова.

Каждый значительный факт, который приносит международная информация, находит сатирическое истолкование в стихах Маршака.

Как известно, Гитлер и его приближенные любят изображать румынских, венгерских и иных «союзников» в качестве своих верных друзей. Маршак остроумно и трезво показывает действительное положение вещей.

Гитлер вымолвит в Берлине:

«Муссолини, купи!» —

Ляжет в Риме Муссолини,

Толст и неуклюж.

В стихотворении «Цирк» поэт изобразил главарей фашизма фокусниками, жонглерами и другими участниками кровавого балагана.

И нельзя точнее, сильнее и беспощадней определить истинную роль Лавала — предателя, «премьера» Виши, чем это делает Маршак:

Вот стоит премьер Виши  
Грязный и всклокоченный  
И хохочет от души,  
Получив пощечины.

Рыжий у ковра, получающий пощечины и увеселяющий хозяев фашистского балагана, — таков Лаваль.

Сатирические стихи Маршака отличает победительная уверенность, презрение к подлым врагам, несокрушимый советский оптимизм. И в этом качестве своей сатиры Маршак продолжает многие традиции старой народной литературы — русских пословиц, присказок и каламбуров, английских народных баллад, которые он так блестяще переводит на русский язык.

Влияние народной поэзии легко проследить в стихах Маршака. В них — тот же четкий ритм, та же динамика и определенность, которая есть в русской народной сказке, в сказках Пушкина и Ершова, в произведениях английской народной поэзии, переведенных Маршаком.

Кличет Гитлер Риббентропа,  
Кличет Геббельса к себе:  
«Я хочу, чтоб вся Европа  
Помогала нам в борьбе».

Но традиции русской народной поэзии, веселого народного каламбура и присказки чувствуются не только в ритме стихов. Они проникают в самую их сердцевину, связаны с их содержанием и смыс-

лом. Народное выражение «остался на бобах» легло, например, в основу остроумного четверостишия о том, как фашисты хотели поестъ горохового супа.

Пообедал немец плохо —  
На чужих живет хлебах.  
Захотел поестъ гороха,  
А остался на бобах.

Старый каламбур оживает в стихах Маршака и приобретает остро антифашистский, современный характер.

Сверкая глазами полковник-барон,  
Скомандовал: «Руки по швам!»  
Но, видя, что чешется весь батальон,  
Скомандовал: «Руки по вшам!»

Продажный адмирал Дарлан готов для немцев на все услуги. Маршак бьет его грубоватой народной шуткой, издевательским дустишем:

Он все порты отдать готов  
И жить на свете без портов.

Маршак унаследовал от народной литературы веселое озорство, насмешливое и победительное отношение к врагу. Поэтому советские войны выглядят в его стихах похожими на веселых и смелых героев русских песен, которые не боятся ни стужи, ни пули, которые всегда побеждают своих врагов.

Шальная русская пурга  
И парни красношkie  
Неслись, преследуя врага,  
Через снега глубокие.

Маршака роднит со старой народной литературой оптимизм, чувство превосходства над подлым врагом.

Наш народ знает, что враг силен, но он уверенно смотрит вперед, непоколебимо верит в свою победу, в свою силу. Маршак выразил в своих сатирических стихах презрение нашего народа к взбесившимся фашистским пигмеям, в его подписях к плакатам и газетных стихах живет здоровый и веселый народный юмор.

Народная вера в победу, оптимизм, унаследованные Маршаком, получили современное выражение, политически переработаны и выражены поэтом. Именно в этом прелесть и оригинальность сатирических произведений Маршака.

Очень интересна переключка Маршака-сатирика с таким замечательным сатириком, бичевавшим немецкую реакцию, как Гейне. Гейне смеялся над немецкими черносотенцами начала XIX века, гордившимися своей породой и благородством крови. Он сравнивал их с ослами и видел в них нечто, подобное породистым жеребцам.

Замечал недаром свет  
В каждом прусском властелине  
Лопадиной крови след:  
Грубость речи и обжорство,  
Засмеется — словно ржет,  
Прямо конское упорство,  
В каждом дюйме виден скот.

Фашистские мракобесы чудовищно раздули мракобесие реакционеров XIX века. Чванство прусских дворян своей породой доведено до абсурда в «расовых теориях». Маршак пишет:

Обеспечим все условия,  
Чтоб отныне по-коровьи  
Наша кровь была чиста,  
Чтобы жить нам  
По-коровьи  
И любить нам  
По-коровьи,  
Создавая поголовье  
Чистокровного скота.

Чтоб отец, взглянув на сына,  
Мог с достоинством сказать:  
— Настоящая скотина!  
Целиком в отца и мать!

Маршак возрождает причудливые примы сатиры Гейне. Немецкие солдаты, убитые на советско-германском фронте, предъявляют у Маршака претензии к Гитлеру и Геббельсу:

Между трупов,  
Как в мертвецкой,  
Гитлер с Геббельсом бродили,  
Вдруг, чуть слышно,  
По-немецки  
Череза заговорили:

«Мы на Гитлера сердиты  
И за то,  
Что мы убиты,  
И за то,  
Что он в газете  
Сожрал нас на две трети!».

Маршак написал киносценарий под названием «Юный фриц, или сентиментальное воспитание». В этот сценарий поэт переносит многие образы и сцены, разбросанные в его стихотворениях. Перед нами сатирическое произведение, в котором Маршак хочет дать типическую фигуру фрица, того самого фрица, который известен нам по фельетонам Эренбурга и о котором с такой ненавистью говорят наши бойцы на фронте.

Маршак прибегает к острой условной форме. О том, какова жизнь истинного, стопроцентного фашиста, рассказывает зрителю ученый арийский профессор. Жизнь фрица проходит перед нами с колыбели и до того момента, когда он попадает в плен под Москвой.

Чистокровные предки образцового арийца так охарактеризованы в сценарии:

Говорят, будто все его предки  
Были агентами контрразведки.  
Первый предок — Готфрид курносый  
Был разведчиком у Барбароссы.  
А последний из предков — папа,  
Жив поныне и служит в гестапо.

Сынок проходит все этапы фашистской карьеры. Он начинает с доноса на родителей, мучает детей в детском отделении гестапо, женится на чистокровной арийской девице, тупой и здоровой, как королева, и, наконец, уходит на войну.

Со свежим и язвительным юмором описывает Маршак поведение фрица и Франца в Лувре.

Фриц. Сколько статуй в этом зале?  
Франц. Да не меньше сотни штук.  
Фриц. Наши здесь уж побывали,  
Видишь — статуя без рук!  
Догола ее раздели  
С головы до самых ног;  
Ни сорочки нет на теле,  
Ни юбочки, ни сапог.  
Я ее — из револьвера  
Или по лбу молотком!  
Франц. Знаешь, Фриц, она —  
Венера,  
И Милосская притом!  
Фриц. Эту куколку Милосскую  
Угощу я папироскою.

Похождения Фрица оканчиваются на советско-германском фронте. Кончилась война. Но Фриц сохранил в неприкосновенном виде, он посажен в клетку и представлен на обозрение всем желающим, как живой экспонат — фашист в натуральную величину.

Перед нами интересное совпадение сюжета сценария с сюжетом знаменитой комедии Маяковского «Клоп». Фашист в клетке — тот же самый клоп, посаженный как редкостный экземпляр для обозрения.

Это совпадение — не случайность. Маяковский и Маршак — поэты разной школы, разной литературной манеры. И все-таки Маяковского постоянно тянуло к Маршаку, он увлекался его стихами. Из двух писателей, которые неизменно привлекали внимание Маяковского в Ленинграде, один был Маршак.

Маяковского тянуло к четкой форме Маршака, к тем элементам простонародного балаганного искусства, которые так хороши в творчестве Маршака.

Творческие пути Маршака и Маяковского скрестились на «Окнах ТАСС». Творческое, боевое служение народу, которое привело Маяковского к работе в «Окнах Роста», превратило Маршака в замечательного сатирического поэта, автора текстов и подписей к плакатам.

Глубокой ненавистью исполнена с первых дней войны гневная поэзия Маршака. Многие его стихи звучат как приговор фашистам:

Ружейным выстрелом в упор  
Над неостывшим трупом детским  
Эрзац-мерзавец, мародер  
Расстрелян воином советским.

Стих Маршака, простой и ясный, бойкий и точный, легко запоминается и сразу обретает огромную аудиторию.

Его сатирические стихи, напечатанные в «Правде» под карикатурами Кукрыниксы или размноженные на плакатах «Окон ТАСС», приобрели подлинно массовую аудиторию.

Во время войны Маршак с одинаковой тщательностью и любовью делает лобную работу. Он пишет надписи на махорке, которая идет на фронт к бойцам, надписи веселые, дружеские, ободряющие:

Бойцу махорка дорога —  
Кури и выкури врага.

Сколько выдумки и остроумия проявляет он в сочинении стихотворных лозунгов, посвященных сбору железного лома:

Лом железный соберем  
Для мартена и вагранки,  
Чтобы вражеские танки  
Превратить в железный лом.

Его стихи играют важную роль в агитационной работе. Высокая награда — премия имени Сталина, — увенчавшая поэтическую работу Самуила Яковлевича Маршак, достойно вознаграждает его труд.

В своем выступлении по радио в день награждения Сталинской премией Мар-

шак вспомнил знаменитое четверостишие Маяковского:

Я хочу,  
чтоб к штыку  
приравняли перо.  
С чугуном чтоб  
и с выделкой стали  
О работе стихов  
от Политбюро  
чтобы делал  
доклады Сталин.

Перо Маршак — одного из лучших поэтов нашей страны — приравняли к штыку. В грозный год военных испытаний его поэтический труд оценен как важное и нужное родине дело.

---

## Герои отечественной войны

В серии «Герои отечественной войны» издательства «Молодая гвардия» опубликованы очерки и рассказы о подвигах замечательных людей нашей страны, которым за отвагу и героизм в боях за родину присвоено звание Героя Советского Союза<sup>1</sup>.

Авторы очерков и рассказов о героях отечественной войны неоднократно напоминают, что люди эти — обыкновенные советские люди. Ел. Кононенко в рассказе о Герое Советского Союза В. Талалихине пишет: «Наутро все увидели в газетах портрет Виктора Талалихина... У Виктора оказалось совсем юное лицо. Комсомолец. Двадцатитрехлетний простой парень. Таких у нас тысячи...»

В защите отечества, во всенародном патриотическом подъеме проявился массовый, подлинный народный героизм; ежедневно, ежечасно рождаются новые тысячи и тысячи героев, покрывающие себя неуязвимой славой. Еще вчера рядовой боец и «обыкновенный», «средний» человек, сегодня — герой, о подвигах которого говорит вся страна. Советский строй, освободив творческие силы народа, создал в нашей стране условия для проявления широкого массового героизма.

В очерках и рассказах, в биографических портретах, опубликованных в серии «Герои отечественной войны», описаны жизнь и подвиги лучших представителей народов Советского Союза, доказавших своими замечательными делами на полях сражений волю народа к свободе, к защите своего отечества, его уверенность в победе. Среди них — командиры и бойцы различных родов оружия и частей войск: летчики, танкисты, стрелки, пехотинцы, разведчики, партизаны. Петр Сокур, Василий Кисляков, Зоя Космодемьянская, Лиза Чайкина и другие — славные представители боевого сталинского племени, фронтового комсомола, имена которых войдут в историю великой освободитель-

ной войны. Среди них и люди более старшего поколения, также воспитанники большевистской партии и комсомола, Герои Советского Союза — генерал-лейтенант В. А. Мишулин, командир эскадрильи бомбардировщиков, капитан Н. Ф. Гастелло, летчик-истребитель капитан А. К. Антоненко.

Жизнь и судьба каждого из этих героев отечественной войны глубоко своеобразны, их подвиги незабываемы. Но есть и много общего, типического в их человеческих качествах, в формировании их характеров, в их жизненном пути. Все они — люди труда, дети тружеников, люди, которым советская власть открыла новую, радостную дорогу в жизнь и счастливую возможность проявить и развернуть свои творческие силы. Все они отличаются не только бесстрашием, отвагой и инициативой, великолепным презрением к опасности и смерти, но и военным мастерством, они владеют своим оружием, советской военной техникой, искусством и обороны и стремительного наступательного порыва. Это люди, усвоившие старое суворовское правило «воевать не числом, а умением».

Задача советской литературы — показать этих людей так, чтобы им захотели подражать тысячи, миллионы советских людей, а особенно советской молодежи, такой отзывчивой и чуткой ко всему героическому и великому. Задача советской литературы также в том, чтобы не только рассказать народу о подвиге героя, но изобразить его как человека, в живых чертах, дать ощущение его внутреннего мира, показать условия, в которых обыкновенный человек вырастает в героя, способного на самоотвержение и подвиг во имя своей родины.

Рассказы и очерки, опубликованные в серии брошюр «Молодой гвардии», представляют собой первый опыт издания биографической популярной литературы о героях отечественной войны. Написанные часто в условиях издательской спешки, по первым, очень неполным материалам, рассказы эти большей частью дают лишь первое, поверхностное представление о людях, совершивших незабываемые подвиги доблести.

В биографическом рассказе Ел. Кононенко «Герой Советского Союза младший лейтенант В. Талалихин» показан славный сталинский сокол, летчик-истребитель комсомолец Виктор Талалихин, сокрушивший тараном фашистский бомбардировщик и уничтоживший четырех гитлеровских летчиков, среди них подполковника, «прославленного асса». Автор дает пор-

<sup>1</sup> Елена Кононенко. Герой Советского Союза младший лейтенант В. Талалихин, 1941 г. Ф. Гастелло, А. Гастелло и А. Гастелло. Герой Советского Союза капитан Н. Гастелло, 1941 г. Н. Лидов. Таня, 1942 г. Вл. Рудный. В секретном окопе, 1942 г. В. Сытин. Герой Советского Союза А. Антоненко. Н. Михайлов. Лиза Чайкина, 1942 г. В. Орлов. Василий Кисляков, 1942 г. М. Карцман. Герой Советского Союза генерал-лейтенант В. Мишулин, 1941 г.

Издательство «Молодая гвардия». Серия «Герои отечественной войны». Тираж 30—250 тысяч экземпляров.